

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2016

№ 1 (39)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук", Высшей аттестационной комиссии



***Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

***Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

***Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Дж.Ф. Бейлин Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Вартанова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)

М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)
А.С. Янушкевич (Томск, Россия)

***Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, United King-
dom)
M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Ефанова Л.Г. Контаминация. Часть 2. Основные разновидности контаминации	5
Лутфуллина Г.Ф. Контекстуальное взаимодействие формы претерита с маркерами многократности во французском языке	15
Новикова В.П. Переосмысление университета через призму метафоры	22
Прокопова Н.Л. Речевая культура в контексте социалистического реализма	35
Рабенко Т.Г., Лебедева Н.Б. К соотношению жанров естественного и художественного дискурсов: постановка проблемы (на примере жанра «письмо в редакцию»)	50
Резанова З.И., Когут С.В. Функционирование дискурсивных маркеров в научном тексте: этнокультурные и дискурсивные детерминации	62
Шкуропацкая М.Г., Даваа Ундармаа. Национальная языковая картина мира как компонент языкового сознания русской и монгольской языковой личности (сопоставительный аспект)	80

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Ащеулова И.В. Травестия мессианского сюжета в романе В. Короткевича «Христос приземлился в Гродно» и романе В. Шарова «Репетиции»	96
Гончарова Н.В., Янушкевич А.С. В.А. Жуковский и А.В. Никитенко: к истории личных и творческих отношений	108
Жилякова Э.М. А.П. Елагина и чешские слависты	122
Пасько Ю.В. «Вселенная внутри нас»: «Гамлет» Б. Пастернака через призму философии немецкого романтизма	130
Стринюк С.А. Отражение эпистемологического кризиса в романах Грэма Свифта «Водоземье» и «Последние распоряжения»	140
Турышева О.Н. Прагматический подход в литературной науке	150
Хованская Е.С. Процесс пробуждения этнического сознания и особенности художественной структуры романа Джулии Оцука «Когда император был богом»	160

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Шубникова-Гусева Н.И. Рецензия на монографию: Хило Е.С., Никонова Н.Е. Восприятие поэзии С.А. Есенина в Германии (1920–2010 гг.): переводы, издания, критика, литературоведение	172
--	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	177
----------------------------------	-----

CONTENTS

LINGUISTICS

Efanova L.G. Blending. Part 2. Main varieties of blending.....	5
Lutfullina G.F. Contextual interaction of the Preterit tense and multiplicity markers in the French language.....	15
Novikova V.P. Rethinking university through the prism of metaphor	22
Prokopova N.L. Speech culture in the context of socialist realism.....	35
Rabenko T.G., Lebedeva N.B. On the correlation of genres of natural and artistic discourses: setting the problem (in the genre “letter to the editor”).....	50
Rezanova Z.I., Kogut S.V. The functioning of discourse markers in the academic text: ethno-cultural and discursive determinations.....	62
Shkuropatskaya M.G., Davaa Undarmaa. National linguistic world image as a component of linguistic consciousness of a Russian and Mongolian language personality (a comparative aspect)	80

LITERATURE STUDIES

Ashcheulova I.V. The travesty of the Messianic plot in U. Karatkevich’s <i>Christ Has Landed in Grodno</i> and V. Sharov’s <i>Rehearsals</i>	96
Goncharova N.V., Yanushkevich A.S. V.A. Zhukovsky and A.V. Nikitenko: the history of personal and creative relationship.....	108
Zhilyakova E.M. A.P. Elagina and Czech Slavists.....	122
Pasko Yu.V. “The universe in us”: “Hamlet” by Boris Pasternak in the light of German romantic philosophy	130
Strinyuk S.A. Epistemological crisis in Graham Swift’s novels <i>Waterland</i> and <i>Last Orders</i>	140
Turysheva O.N. A pragmatic approach in literary science.....	150
Khovanskaya E.S. The awakening of ethnic consciousness and features of the artistic structure of Julie Otsuka’s <i>When the Emperor was Divine</i>	160

REVIEWS, CRITIQUES, BIBLIOGRAPHY

Shubnikova-Guseva N.I. Book Review: Hilo, E.S. & Nikonova, N.E. (2015) <i>Vospriyatie poezii S.A. Esenina v Germanii (1920–2010 gg.): perevody, izdaniya, kritika, literaturovedenie</i> [The Perception of S.A. Yesenin’s Poetry in Germany (1920s–2010s): Translations, Editions, Criticism, Literature Studies]	172
---	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	177
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 81 (038)

DOI: 10.17223/19986645/39/1

Л.Г. Ефанова

КОНТАМИНАЦИЯ. ЧАСТЬ 2. ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОНТАМИНАЦИИ

Статья посвящена определению содержания термина «контаминация» в русистике и анализу обозначенного им явления. Данная статья является продолжением ранее опубликованной работы, в которой проанализированы представления о широком и узком понимании контаминации, отраженные в трудах современных исследователей. На основании данных из истории изучения контаминации уточняется значение называющего это явление термина, сформулирована его новая дефиниция и описаны основные разновидности контаминации, выделяемые при ее узком понимании.

Ключевые слова: контаминация языковых единиц, контаминант, скрещивание языковых единиц, одноместное наложение, многоместное наложение.

В лингвистике и стилистике контаминацией называют разные виды взаимодействия близких по значению, структуре, ассоциативно или функционально языковых единиц или их частей, приводящего к семантическому или формальному изменению этих единиц, а также к образованию на их базе нового слова или выражения, называемого контаминантом [1. С. 206; 2. С. 238; 3. С. 197; 4. С. 159]. Современные русисты приписывают данному термину разные значения, одно из которых может быть названо широким, а другое – узким [5]. В то время как узкое понимание контаминации распространяется лишь на наложение или скрещивание лексических или фразеологических единиц, морфологических парадигм и синтаксических конструкций [2], при широком понимании контаминации к ней относят также образование аффрикат, морфонологическую аппликацию морфем, смешанные способы словообразования [6. С. 269] и сложение [7. С. 273], образование слов по аналогии [8. С. 137; 7. С. 272] и вследствие ложной этимологии [2. С. 238], возникновение синкретичных грамматических классов слов [6. С. 269], а также любое нарушение границ словосочетаний и стандартного порядка слов в результате взаимодействия разных синтаксических моделей [4. С. 159].

Целью данной статьи является доказательство преимуществ так называемого узкого подхода к явлению, обозначенному термином «контаминация», а также описание основных разновидностей контаминации, выделяемых при этом подходе. Достижение данной цели требует обращения к истории изучения контаминации для выявления того, какие свойства исходных языковых единиц, способствующие образованию на их основе контаминантов, были тем или иным способом отмечены исследователями этого явления. Цель исследования предопределила выбор его материала, в качестве которого используются не только сами контаминанты и исходные языковые единицы, но

и высказывания о них исследователей контаминации или самих создателей контаминантов.

На необычный по сравнению с другими производными словами, фразеологизмами и синтаксическими конструкциями способ соединения компонентов контаминанта указывал уже в XIX в. немецкий младограмматик Г. Пауль [9], впервые употребивший термин «контаминация» по отношению к явлениям, при которых «две синонимичные или в чем-то родственные формы выражения мысли» взаимодействуют таким образом, что «ни одна из них не реализуется в чистом виде, элементы одной формы смешиваются с другой» [10. С. 191]. Таким образом, «контаминация – это создание новой формы путем слияния двух форм, которые возникают в сознании одновременно» (Е. Герцог) [Там же]. Это означает, что компоненты контаминированной единицы не связаны друг с другом подчинительной связью и взаимодействие между ними основывается на отношениях иного рода. Для нас в наблюдениях младограмматиков не менее важно то, что этот вид взаимодействия они обнаружили во многих индоевропейских языках, причем не только в лексике, но и в грамматике, т.е. на тех уровнях языка, основные единицы которых обладают самостоятельным значением и структурной оформленностью.

Первое название одной из разновидностей лексических контаминантов – слова-бумажники, или слова-портмоне, – принадлежит Л. Кэрроллу, активно использовавшему контаминацию как инструмент языковой игры. Например, слово-бумажник *slithy* (в переводе Д.Г. Орловской ему соответствует *хливкий*) в стихотворении из «Алисы в стране чудес», согласно объяснению самого Кэрролла, значит *slimy* ‘скользкий’ и *lithe* ‘гибкий’; слово-портмоне *mimsy* – это *miserable* и *flimsy*. Название стихотворения в русском переводе *Бармаглот* (*Барма-лей* + *живо-глот*) также представляет собой контаминант, но образованный другим способом.

Являясь двусторонними единицами языка, исходные компоненты контаминанта обладают как формальными, так и семантическими особенностями. Н.А. Янко-Триницкая в качестве важного признака формальной стороны контаминанта отметила компрессию языковых единиц, от которых он образован, достигаемую за счет того, что при контаминации происходит «проникновение компонентов одной единицы языка в другую... с непременным вытеснением какого-либо компонента данной единицы» [11. С. 258]. Даже в том случае, если одна или обе взаимодействующие единицы включаются в контаминант целиком, его объем оказывается меньшим, чем сумма объемов исходных единиц, хотя значения обеих этих единиц в контаминанте сохраняются (напр.: *моя* + *ягода* = *моягода* (С. Кирсанов), не по *Сеньке шапка* + *шапка Мономаха* = не по *Сеньке шапка Мономаха*). Это свойство контаминантов дает основание исключить из их числа производные слова, фразеологизмы и предложения, образованные путем обычного линейного соединения языковых единиц, в том числе в результате образования слов по аналогии, при котором взаимодействуют не две равноправные языковые единицы, а основа слова и словообразовательная модель (напр.: *раскультурить* от *окультурить* по аналогии с *расчеловечить* от *очеловечить*).

Членение исходных единиц при контаминации также имеет свои особенности. Неоднократно отмечалось, что взаимодействующие при лексической

контаминации части слов, как правило, не являются морфемами [12. С. 66] и соединяются друг с другом «способом словообразовательного коллажа» [7. С. 272]. Общей чертой лексических контаминантов является фузионность. В контаминированных окказионализмах «морфемы не свинчены, а сплавлены. Такое строение нетипично для неологизмов», образованных по регулярным словообразовательным моделям [13. Т. 2. С. 216].

Некоторые семантические особенности контаминантов на примере слов-бумажников Л. Кэрролла описал французский философ Жиль Делёз (1969) [14]. В частности, он обратил внимание на то, что к числу этих слов не относятся те окказионализмы, которые служат «лишь целям простого сокращения или синтеза соединяющей [коннективной] последовательности» (например, слово *вашство*, заменяющее словосочетание *Ваше королевское высочество* [15. С. 72]. В отличие от них слова-портмоне, выполняя функцию «двойного опосредования», одновременно «сокращают несколько слов и сворачивают в себе несколько смыслов» [15. С. 70]. Одни из них «относятся к синтезам сосуществования и нацелены на то, чтобы обеспечить конъюнкцию двух серий разнородных предложений» [15. С. 69]; слова, от которых они образованы, могут быть соединены сочинительным союзом, например: *зловасный* = *злой* и *опасный*). В другую группу контаминантов входят «дизъюнктивные слова», образованные от языковых единиц, способных объединяться друг с другом разделительными союзами. Пример дизъюнктивного слова Ж. Делёз находит в предисловии к *Охоте на Снарка*, в котором на вопрос: «Кто король? Говори, голодранец, или умри!» – спрашиваемый, зная, что это должен быть либо *Вильям*, либо *Ричард*, но не будучи в состоянии сделать выбор, отвечает: «*Рильям!*»

Не менее важным для нас является замечание Ж. Делёза о том, что при лексической контаминации соединяются семантически узнаваемые элементы слов. Узнаваемость компонентов контаминантов позволяет исключить из числа причин их возникновения народную этимологию, результатом которой является «метаязыковое высказывание, попытка установить соответствие между формой и содержанием, скорректировать внутреннюю форму слова: *гульвар* – место для гуляния [не: *бульвар* + *гулять*], *мелкоскоп* – устройство для наблюдения за мелкими предметами [не: *микроскоп* + *мелкий*]]» [16. С. 167]. В отличие от народной этимологии, целью которой является поиск в незнакомом слове семантически значимых компонентов, при контаминации соединяемые части исходных единиц могут совпадать только по форме (напр.: *ТолСТОевский*), а возникающие в результате такого соединения новые смыслы являются результатом взаимодействия значений не отдельных компонентов, а обеих исходных единиц в целом, в том числе имеющихся у них экспрессивных, культурных и т.п. смыслов (напр.: *Толстой* и *Достоевский* – писатели-современники, классики русской и мировой литературы, выдающиеся романисты и т.д.).

Наблюдения Ж. Делёза позволяют также провести различие между лексической контаминацией и аббревиацией, которое заключается в отсутствии синтагматической связи между исходными языковыми единицами при контаминации, в то время как аббревиатуры образуются на базе словосочетаний. Единицы, компоненты которых объединяются в контаминанте, могут быть

связаны друг с другом разнообразными парадигматическими отношениями, в том числе отношениями семантического тождества (напр.: *нутро* + *утроба* = *нутроба*, *пороть чушь* + *морозить чепуху* = *морозить дичь*) или противопоставления (ср. *людоед* и *душегуб* с *людовед* и *душелюб*), являться согипонимами по отношению друг к другу (напр.: *Вильям* и *Ричард*) и т.д., но могут иметь между собой только ассоциативное сходство (напр.: *зловонный*) или функциональную близость (напр.: *поднять тост* = *поднять бокал* + *предложить* или *провозгласить тост*).

Образованные путем последовательного соединения и вставки окказиональные слова и синтаксические конструкции не обладают, на наш взгляд, свойствами контаминантов, поскольку базируются лишь на синтагматических отношениях между образующими их единицами и не имеют весьма существенной для контаминантов способности служить средством компрессии текста; каждому структурному компоненту созданных таким образом слов и конструкций соответствует лишь одно узвальное значение, поэтому отмеченного многими исследователями в качестве обязательного для контаминации смешивания значений двух языковых единиц не происходит.

Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые случаи взаимодействия лексических единиц представляют собой сочетание внутрисловной вставки и одноместного или многоместного наложения друг на друга исходных слов (напр.: *углупиться* ‘поглупеть, углубившись во что-л.’).

Отметим те из выделенных разными исследователями контаминации свойств этого явления, которые мы считаем наиболее существенными:

1) контаминация представляет собой явление, свойственное многим языкам (Г. Пауль) [11];

2) контаминируемые единицы обладают самостоятельным значением и структурной оформленностью (Ю.А. Бельчиков) [2], что позволяет объединять в их составе семантически узнаваемые части исходных единиц (Ж. Делез) [15];

3) деление исходных единиц при контаминации может не соответствовать их членимости на морфемы в слове, на словные компоненты во фразеологизме и на словосочетания в предложении (М.В. Панов, А.П. Сковородников) [14, 9];

4) при контаминации происходит компрессия исходных языковых единиц (Н.А. Янко-Триницкая, Ж. Делез) [12, 15];

5) контаминируемые единицы не связаны друг с другом подчинительной связью, т.е. не образуют слова, фразеологизмы, словосочетания или предложения (Г. Пауль, Е. Герцог) [11 Пауль]. Связь между ними может быть только сочинительной, основанной на отношениях конъюнкции или дизъюнкции (Ж. Делез) [15].

На основании перечисленных свойств и признаков контаминантов можно сформулировать следующее определение контаминации.

Контаминация – универсальный для разных языков и их единиц, обладающих структурной организацией (слов, словоформ, фразеологизмов, синтаксических конструкций, морфологических парадигм), принцип взаимодействия друг с другом единиц одного системного уровня вследствие исторических изменений в языке, а также в результате ошибочного употребления или

сознательного преобразования исходных единиц с целью языковой игры или создания стилистического приема. Результатом контаминации является создание комбинированной языковой или речевой единицы – контаминанта.

Контаминация может осуществляться способом наложения или скрещивания. Скрещивание представляет собой замену структурного компонента одной единицы компонентом другой по модели $[AB + av = Av \text{ или } aB]$ на основании их структурного подобия или тождества и семантической, ассоциативной или функциональной близости, например: *мафрунция* (*мафия* + *коррупция*), *плести напаслину* (*плести вздор* + *возводить напаслину*), Мы вправе *рассчитывать от него* хорошего результата (*рассчитывать на хороший результат* + *ожидать от него* хорошего результата).

Основным условием наложения является наличие у контаминируемых единиц совпадающего компонента ($A = v$ или $B = c$ и т.д.) или, при многоместном наложении, компонентов, например: *во всеорУЖасе* (*В. Высоцкий*) (*во всеоружии* + *в ужасе*), *КвАСсицизм* (*Даниил Аль*) (*квас* + *классицизм*), *с открытой ДУШОЙ нараспаику* (*с открытой душой* + *с душой нараспаику*), Мы должны обратить ВНИМАНИЕ общества к этой проблеме (*обратить внимание на* + *привлечь внимание к*).

При таком понимании контаминации можно выделить восемь ее разновидностей.

1. Лексическое наложение представляет собой взаимодействие двух слов ($[AB]$ и $[av]$), имеющих совпадающие звуки или комплексы звуков ($B = a$ или $A = a$ и т.д.). Самой распространенной разновидностью наложения является взаимодействие конца одного слова с началом совпадающего с ним по форме другого слова ($v = A$): $[ab + AB = a (b = A) B]$, например: *хана* + *анастезиолог* (x - $[a]$ -ана $[b]$ + ана- $[A]$ -стезиолог $[B]$) = *ханастезиолог* (*Д. Буттлер*). Лексическое наложение может быть одноместным или многоместным. При одноместном наложении конечная часть одного слова «накладывается» на совпадающую с ней по звуковому составу начальную часть другого слова, например: *моЯблоня* (*С. Кирсанов*), в этом случае конец первого из контаминируемых слов, как правило, усекается, например: *ДириЖА-воронок*, *дириЖАбрами дыша...* (*С. Кирсанов*) (*дирижабль* + *жаворонок* и *дирижабль* + *жабры*). При многоместном наложении совпадают два или несколько звуков или их комплексов в разных частях слов, например: в контаминанте *операТяВКА* (*оперативка* + *тявкать*) имеет место двукратное наложение в середине слова ($b=A$) и ($d=C$): *опера*- $[a]$ -т- $[b]$ -и- $[c]$ -вка $[d]$ + т- $[A]$ -я- $[B]$ -вка- $[C]$ -ть = $[a + (b=A) + B + (d=C)]$.

2. При фразеологическом наложении взаимодействуют устойчивые сочетания слов, имеющие общий словный компонент [17. С. 81; 18], например: *сменить гнев на милость* + *сдаться на милость победителя* = *сменить гнев НА МИЛОСТЬ победителя*. Поскольку число словных компонентов во фразеологизме невелико, фразеологическое наложение может быть только одноместным.

Лексическое и фразеологическое наложение используется, как правило, с целью языковой игры, а также в качестве стилистического приема [18, 19].

3. Морфологическое наложение возникает при совпадении одной или нескольких форм разных слов или лексико-семантических вариантов одного

слова в парадигме словоизменения. Примером может служить совпадение форм инфинитива *двигаться*, а также форм прошедшего времени у глаголов, имеющих разные формы настоящего времени: *поезд двигается (с места)* и *поезд движется (по мосту)*. Этот вид наложения может быть результатом исторических изменений в языке или речевой ошибки.

4. **Синтаксическое наложение** чаще всего возникает между конструкциями с прямой и косвенной речью. Этот вид контаминации характерен для разговорной речи [20. С. 67] и, как и другие разновидности контаминации, может использоваться в качестве стилистического приема при передаче собственного разговорному стилю смешения прямой и косвенной речи. Синтаксическое наложение нередко используется, в частности, в сказке А. Милна о Винни-Пухе (в переводе Б. Заходера) при имитации разговорной речи. Например, фраза *Кристофер Робин сказал, что не может быть такого имени – Посторонним В., а Пятачок ответил, что нет, может, нет, может, потому что дедушку же так звали!* представляет собой контаминант конструкций с косвенной и прямой речью: *Пятачок ответил, что может, потому что его дедушку так звали и Пятачок ответил: «Нет, может, нет, может, потому что дедушку же так звали!»*. В процитированной фразе элемент *ответил, что* является показателем косвенной речи, а повтор *нет, может*, усилительная частица *же* и восклицательная интонация (!) указывают на прямую речь, в то время как первое *Нет, может* и *потому что дедушку... так звали* представляют собой накладывающиеся друг на друга фрагменты, свойственные как прямой, так и косвенной речи. Синтаксическое наложение при контаминации прямой и косвенной речи всегда является множественным. Одноместное синтаксическое наложение иногда встречается в художественном тексте, где оно служит в качестве одного из способов его компрессии, а также средством выразительности [21], например: *Она замолчала тоже и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только сломанный гребешок (В. Набоков. Защита Лужина)*.

5. **Лексическое скрещивание** осуществляется при соединении начальной части одного слова и конечной части другого (напр.: *мопед*), реже – при соединении начальных частей двух слов, не являющихся словосочетанием (напр.: *бестер*). Такие контаминанты образуются искусственно, чаще всего для обозначения новых понятий или вновь созданных артефактов, и особенно активно используются в терминосистемах.

6. **Фразеологическое скрещивание** осуществляется между двумя устойчивыми сочетаниями слов и состоит в соединении начальной части одного из этих словосочетаний с концом другого. Поскольку в результате усечения фразеологизмы могут перестать быть узнаваемыми, скрещивание происходит чаще всего между синонимичными или близкими по значению оборотами. Как и другие преобразования фразеологизмов, этот вид контаминации используется обычно для языковой игры (напр.: *Не плюй в колодез, вылетит – не поймашь (В. Маяковский)*) или с другими стилистическими целями [22. С. 123; 23; 24. С. 126], но может также стать причиной возникновения новой фразеологической единицы, например: *кануть в Лету + отойти в вечность = кануть в вечность*).

7. **Морфологическое скрещивание** представляет собой довольно редкое явление, возникающее при замещении парадигмы словоизменения (или ее части) одного слова элементами парадигмы другого слова, как правило, близкого ему семантически. Этот вид контаминации возникает вследствие исторических изменений в языке или речевой ошибки. В качестве примера может быть упомянуто ошибочное замещение отсутствующей парадигмы словоизменения местоимений *некто* и *нечто* формами отрицательных местоимений *некого*, *нечего* и т.д.

8. **Синтаксическое скрещивание**, как правило, является результатом речевой ошибки, возникшей в результате смешивания близких по значению синтаксических конструкций, например: *Продуктов дают впроголодь* (*Продуктов дают мало* + *Люди живут впроголодь*), и может быть использовано также в стилистических целях. Например, в романе В. Набокова «Дар» речевая ошибка используется как средство речевой характеристики одного из персонажей и способствует выражению иронии со стороны автора: *Я на повестках по ошибке написала “Блок и война”, – говорила Александра Яковлевна, – но ведь это не играет значения? – Нет, напротив, очень даже играет, – с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, отвечал инженер. – “Блок на войне” выражает то, что нужно, – персональность собственных наблюдений докладчика, – а “Блок и война” это, извините, – философия* [25].

Сделанные в статье наблюдения над особенностями языковых единиц, вступающих друг с другом в отношения наложения или скрещивания, а также описание истории изучения контаминантов дают, как мы полагаем, достаточные основания для того, чтобы считать контаминацию по принципу наложения или скрещивания особым видом взаимодействия языковых единиц. Такое понимание контаминации позволяет провести границу между контаминантами и языковыми единицами, возникшими в результате фонетических и морфонологических процессов, а также отличить контаминацию от способов словообразования, основанных на линейном соединении морфем, случаев грамматического синкретизма и образования разнообразных нестандартных синтаксических форм. Все перечисленные явления, не относящиеся, на наш взгляд к контаминации, либо уже описаны в лингвистических исследованиях, где они получили свое название и объяснение причин их возникновения (например, словообразование по аналогии, словообразование вследствие ложной этимологии, синкретизм грамматических моделей и т.д.), либо еще ждут своего исследователя.

Литература

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцикл., 1969. 608 с.
2. Бельчиков Ю.А. Контаминация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 238.
3. Силина В.Б. Контаминация // Русский язык: энцикл. М., 1997. С. 197–198.
4. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 562 с.
5. Ефанова Л.Г. Контаминация: Материалы к словарю лингвистических терминов. Ч. 1: Широкое и узкое понимание термина контаминация // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2015. № 2 (34). С. 14–22.

6. Пекарская И.В. Контаминация // Культура русской речи : энцикл. словарь-справочник. М., 2007. С. 269–272.
7. Сковородников А.П. Контаминация словообразовательная // Культура русской речи: Энцикл. словарь-справочник. М.: Флинта, 2007. С. 272–274.
8. Bussmann H. Dictionary of Language and Linguistics. / Translated and edited by G. Trauth and K. Kazzazi. London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2006. 1304 p.
9. Hermann Paul. Prinzipien der Sprachgeschichte <http://gutenberg.spiegel.de/buch/prinzipien-der-sprachgeschichte-2742/1>
10. Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 502 с.
11. Янко-Триницкая Н.А. Междусловное наложение // Развитие современного русского языка. Словообразование. Членимость слова. М., 1975. С. 254–258.
12. Щепин А.Г. О лексической контаминации // Русская речь. 1978. № 5. С. 66–69.
13. Панов М.В. Труды по общему языкознанию и русскому языку: в 2 т. М.: Языки славянской культуры, 2007. Т. 2. 848 с.
14. Gilles Deleuze. Logique du sens. Material description. Paris: Éditions de Minuit, 1969. 394 p.
15. Делёз Ж. Логика смысла. Фуко М. Theatrum philosophicum / пер. с фр. Москва: Паритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 480 с.
16. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002. 552 с.
17. Ефанова Л.Г. Фразеологические трансформации в аспекте системных особенностей лексики и фразеологии // Сиб. филол. журн. 2006. № 3. С. 77–86.
18. Шамянунова М.Д. Лексическая контаминация как стилистический прием и ее использование в прозе В. Набокова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 393. С. 43–47.
19. Савченко А.В. Фразеология сферы спорта как пример языковой игры // Вестн. С.-Петербурга. ун-та. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2014. Вып. 1. С. 21–227.
20. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М.: Наука, 1981. 278 с.
21. Шамянунова М.Д., Ефанова Л.Г. Прием контаминации в прозе В.В. Набокова // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте: сб. науч. тр. Томск, 2000. С. 100–116.
22. Ефанова Л.Г. Фразеологические трансформации в речи и тексте // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2005. № 3. С. 123–127.
23. Ефанова Л.Г. Фразеологические трансформации в речи и художественном тексте // Текст и языковая личность : Материалы V Всерос науч. конф. с междунар. участием, 26–27 октября 2007 г. Томск, 2007. С. 77–86.
24. Гусейнова Т.С. Трансформация фразеологических единиц: основные способы реализации сверхфразового единства (на материале современной газеты) // Вестн. Моск. гос. лингв. ун-та. 2010. Вып. 5 (584). С. 123–135.
25. Шамянунова М.Д. Прием контаминации в романе В. Набокова «Дар» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6–1. С. 140–144.

BLENDING. PART 2. MAIN VARIETIES OF BLENDING

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 5–14. DOI: 10.17223/19986645/39/1
 Efanova Larisa G., Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: efanova@sibmail.com

Keywords: interaction of language units, blend, clipping of language units, single overlap, plural overlap.

Blending is a universal principle of language units interaction for various languages and for their units having structural organization (words, morphological forms, set expressions, morphological paradigms and syntactic constructions). As a result of blending, new combined language units called *blends* are formed. Blends may develop from an unconscious misspeaking, or through stylistic intent and also as a result of historical alterations in language.

There are eight varieties of blending: lexical overlap, phraseological overlap, morphological overlap, syntactic overlap, lexical clipping, phraseological clipping, morphological clipping and syntactic clipping.

1. Lexical overlap is an interaction of two words (AB and ab), having identical sounds or complexes of sounds [A = a or A = b etc.]. Lexical overlap may be single, when the last part of the first word and the first part of the second word are identical in their phoneme composition (*MoYagoda, streKOZel*), and plural. In the latter case, two or several sounds or complexes of sounds are identical and placed in diverse parts of the blend (*operaTyaVKa = operaTiVKa + TyaVKa*).

2. When phraseological overlap takes place, two set expressions having an identical word-component interact (*smenit' gnev na milost' + sdai'sya na milost' pobeditelya = smenit' gnev NA MILOST' pobeditelya*). Phraseological overlap can be single only because of the small number of word-components in set expressions.

Lexical overlap and phraseological overlap are used with a stylistic intent as a rule.

3. Morphological overlap appears when one or several forms of different words or of lexical-semantic variants of one word coincide. Morphological overlap may develop as a result of historical alterations in language or of unintentional misspeaking.

4. Syntactic overlap is regular between constructions with direct speech and indirect speech in colloquial style (*On govorit, chto net, nel'zha = On govorit, chto nel'zha i On govorit: net, nel'zha*).

5. Lexical clipping may develop when the first part of one word and the last part of another word are combined: [AB + ab = Ab] (*moped*). Lexical clipping sometimes appears between first parts of two words did not forming a combination of words: [AB + ab = Aa]. In the latter case, blend are usually formed to name new artifacts (*bester*).

6. Phraseological clipping between two set expressions with similar senses consists in connecting of the first part of one expression to the last part of another expression. This variety of blending, as a rule, is used with a stylistic intent (*Ne plyuy v kolodets, vyletit – ne poymaesh'*) and sometimes may cause a new language unit to appear (*kanut' v Letu + otoyti v vechnost' = kanut' v vechnost'*).

7. Morphological clipping takes place when one part of the grammatical paradigm of one word is substituted with elements of the grammatical paradigm of another word due to a speech error or a historical alteration in the language.

8. Syntactic clipping usually develops as a result of speech error when two synonymic syntactic constructions are mixed (*Produktov dayut vprogolod' = Produktov dayut malo + zhit' vprogolod'*).

References

1. Akhmanova, O.S. (1969) *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
2. Bel'chikov, Yu.A. (1990) Kontaminatsiya [Blending]. In: Yartseva, V.N. (ed.) *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
3. Silina, V.B. (1997) Kontaminatsiya [Blending]. In: Karaulov, Yu.N. (ed.) *Russkiy yazyk. Entsiklopediya* [Russian language. Encyclopedia]. Moscow: Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya: Drofa.
4. Matveeva, T.V. (2010) *Polnyy slovar' lingvisticheskikh terminov* [Complete Dictionary of linguistic terms]. Rostov-on-Don: Feniks.
5. Efanova L.G. (2015) Blending (data for a linguistic terminological dictionary). Part 1. The broad and the narrow interpretation of blending. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 2 (34). pp. 14–22. (In Russian).
6. Pekarskaya, I.V. (2007) Kontaminatsiya [Blending]. In: Ivanov, L.Yu. (ed.) *Kul'tura russkoy rechi: Entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik* [Culture of Russian speech: Collegiate Reference Dictionary]. Moscow: Flinta: Nauka.
7. Skovorodnikov, A.P. Kontaminatsiya slovoobrazovatel'naya [Word-formative Blending]. In: Ivanov, L.Yu. (ed.) *Kul'tura russkoy rechi: Entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik* [Culture of Russian speech: Collegiate Reference Dictionary]. Moscow: Flinta: Nauka.
8. Bussmann, H. (2006) *Dictionary of Language and Linguistics*. Translated and edited by G. Trauth and K. Kazzazi. London and New York: Taylor & Francis e-Library.
9. Paul, H. (1880) *Prinzipien der Sprachgeschichte*. [Online]. Available from: <http://gutenberg.spiegel.de/buch/prinzipien-der-sprachgeschichte-2742/1>.
10. Paul, H. (1960) *Printsipy istorii yazyka* [Principles of the history of language]. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury.
11. Yanko-Trinitskaya, N.A. (1975) Mezhduslovnoe nalozenie [Word overlap]. In: *Razvitie sovremennoy russkoy yazyka. Slovoobrazovanie. Chlenimost' slova* [The development of modern

Russian language. Word formation. Word division]. Moscow: Nauka.

12. Shchepin, A.G. (1978) O leksicheskoy kontaminatsii [On lexical blending]. *Russkaya rech'*. 5. pp. 66–69.

13. Panov, M.V. (2007) *Trudy po obshchemu yazykoznaniyu i russkomu yazyku. V 2-kh tt.* [Works on general linguistics and Russian language. In 2 vols]. Moscow: Yazyki slavyan. kul'tury.

14. Deleuze, G. (1969) *Logique du sens. Material description*. Paris: Éditions de Minuit.

15. Foucault, M. (1998) *Theatrum philosophicum*. Translated from French. Moscow: Raritet, Ekaterinburg: Delovaya kniga.

16. Sannikov, V.Z. (2002) *Russkiy yazyk v zerkale yazykovoy igry* [Russian language in the mirror of the language game]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

17. Efanova, L.G. (2006) Frazеologicheskie transformatsii v aspekte sistemnykh osobennostey leksiki i frazeologii [Phraseology transformations in the aspect of system features of vocabulary and phraseology]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 77–86.

18. Shamyayunova, M.D. (2015) Lexical blending as a stylistic device in the prose of Vladimir Nabokov. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 393. pp. 43–47. (In Russian).

19. Savchenko, A.V. (2014) Sport sphere phraseology as an example of language game. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo un-ta. Ser. 9. Filologiya. Vostokovedenie. Zhurnalistika – Vestnik of St. Petersburg State University. Series 9. PHILOLOGY. ASIAN STUDIES. JOURNALISM*. 1. pp. 221–227. (In Russian).

20. Zemskaya, E.A., Kitaygorodskaya, M.V. & Shiryayev, E.N. (1981) *Russkaya razgovornaya rech'. Obshchie voprosy. Slovoobrazovanie. Sintaksis* [Russian colloquial speech. General issues. Word formation. Syntax]. Moscow: Nauka.

21. Shamyayunova, M.D. & Efanova, L.G. (2000) Priem kontaminatsii v proze V.V. Nabokova [Blending in the prose of V.V. Nabokov]. In: *Kommunikativno-pragmaticheskie aspekty slova v khudozhestvennom tekste* [Communicative and pragmatic aspects of the word in a literary text]. Tomsk: TsNTI. pp. 100–116.

22. Efanova, L.G. (2005) Frazеologicheskie transformatsii v rechi i tekste [Phraseology transformation in speech and text]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. 3. pp. 123–127.

23. Efanova, L.G. (2007) [Phraseology transformation in speech and artistic text]. *Tekst i yazykovaya lichnost'* [Text and language personality]. Proceedings of the V All-Russian Scientific Conference with International Participation. 26–27 October 2007. Tomsk. pp. 77–86. (In Russian).

24. Guseynova, T.S. (2010) Transformatsiya frazeologicheskikh edinit: osnovnye sposoby realizatsii sverkhfrazovogo edinstva (na materiale sovremennoy gazety) [Transformation of phraseological units: main ways to implement super-phrasal unities (in the modern newspaper)]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta – MSLU Vestnik*. 5 (584). pp. 123–135.

25. Shamyayunova, M.D. (2015) Priem kontaminatsii v romane V. Nabokova “Dar” [Blending in Vladimir Nabokov’s *The Gift*]. *Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovaniy*. 6-1. pp. 140–144.

УДК 811.133.1

DOI: 10.17223/19986645/39/2

Г.Ф. Лутфуллина

КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМЫ ПРЕТЕРИТА С МАРКЕРАМИ МНОГОКРАТНОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются особенности взаимодействия значения формы претерита с маркерами многократности во французском языке. Качественно-темпоральное значение определяет временную расположенность многократного процесса в ограниченном временном интервале в плане прошлого. Количественно темпорально-аспектуальное значение заключается в наличии ограниченного интервала совершения процесса, ограниченной длительности, благоприятной для выражения определенной многократности. Определенная многократность предполагает ограниченное количество повторов действия, а неопределенная – неограниченное. В соответствующих контекстуальных условиях претерит оказывается способен актуализировать все значения определенной и неопределенной многократности при общей склонности к определенной многократности. В иерархии средств темпорального контекста количественно темпорально-аспектуальное значение ограниченной длительности претерита доминирует над маркерами многократности, тогда как последние доминируют над значением неопределенности глаголов.

Ключевые слова: аспектuality, темпоральный контекст, многократность, претерит.

Во французском языке *Passé simple* (PS) является формой, используемой в письменной речи, в литературе и характеризуемой как «чистое прошедшее» – *le passé pur*. На современном этапе анализ данной формы сосредоточен на многообразии ее функционирования в разных контекстуальных условиях. Жак Бре, выражая аспектuality интерпретацию претерита, пишет, что с точки зрения выражения прогрессивности / непрогрессивности события «претерит более приспособлен для выражения прогресса внешнего – чередования событий, а не внутренней прогрессивности действия. Претерит представляет имплицитное время завершенного процесса» [1. С. 79]. Х. Нолке и М. Олсен заявляют, что претерит выделяется своим аспектuality значением. «Любая глагольная синтагма отсылает нас к тому, что называется событием: это может быть и действие, и деятельность, и ситуация. Событие разворачивается во времени (на оси времени). Видовое или аспектuality значение указывает на то, как событие должно быть воспринято. Используя претерит, говорящий представляет событие как имеющее одну или две границы. Речь идет о точке, о начале, о конце, о закрытом интервале или об ограниченном повторении (*répétition limitée*)» [2. С. 77]. Л. Ю-Чанг и Ф. Карон пишут, что «претерит выражает действие, происходившее, разворачивавшееся в указанной зоне прошлого» [3. С. 45]. Д. Леман отмечает, что претерит выражает «определенный тип внутреннего разворачивания процесса, не имеющего ничего общего с завершенностью длительности или интервалом, который занимает тот или иной процесс, т.е. ни о какой «точности» не мо-

жет быть и речи» [4. С. 25]. «Речь идет о синтетическом представлении события, абстрагировании от этапов его развертывания, представлении его как компактного блока» [4. С. 24]. В.Г. Гак главным парадигматическим значением *Passé simple* выделяет способность выразить действие в его неделимости: «PS охватывает весь отрезок времени и носит глобальный («непресекающий») характер» [5. С. 134]. «Целостность действия, изображаемая французскими точечными временами, касается не столько внутренней завершенности процесса, достижения им внутреннего предела, сколько внешних условий его протекания, его ограниченности во времени» [5. С. 135]. «Значение временных рамок действия представлено всегда, значение завершенности действия – не во всех случаях», – утверждает В.Г. Гак [5. С. 130]. Свободная сочетаемость претерита с наречиями, указывающими на ограниченный период времени, свидетельствует в пользу этого утверждения.

Задача исследования заключается в анализе взаимодействия значения количественного темпорально-аспектуального значения ограниченной длительности формы претерита со значениями определенной и неопределенной многократности в контексте.

Темпоральный контекст многократности требует рассмотрения взаимодействия следующих композантов: 1) качественного темпорального значения временной формы; 2) количественного темпорально-аспектуального значения временной формы; 3) значения неглагольных маркеров квантификации. Качественно-темпоральное значение определяет временную локализацию серии ситуаций в плане прошлого, настоящего или будущего. Количественное темпорально-аспектуальное значение временной граммы имплицитно указывает на наличие или отсутствие ограниченного интервала субъектно-предикатно-объектной ситуации. Обстоятельства количественной семантики выражают ограниченность или неограниченность серии повторов, их последовательность.

Статья Ж. Бре посвящена исследованию временных форм в аспекте выражения категории временного порядка. Ж. Бре выступает против определения их значений исходя из контекстных реализаций; против рассмотрения контекстных реализаций как составляющих элементов значения временных грамм, против жесткой детерминации контекста и временной формы. Он убежден, что временная форма несет лишь инструкции о соотносительности с определенным временным ориентиром и о видовых особенностях. Ж. Бре рассматривает три типа взаимодействия формы с контекстом: *согласовательное* (concordante), *предрасположенное к несогласованию* (tendanciellement discordante), *фронтально несогласованное* (frontalement discordante) [6. С. 145]. Временные граммы, по мнению Ж. Бре, представляют процесс определенным образом для того, чтобы они могли взаимодействовать с тем или иным видом контекста, участвовать в его создании. Следовательно, с темпоральной точки зрения претерит – это форма прошлого временного плана, с аспектуальной точки зрения эта форма представляет процесс как *ограниченный временным интервалом*. Значение формы согласуется с требованиями контекста в выражении ограниченного временем действия. Процесс, представленный завершенным на определенный момент *temps*, является ограниченным во времени с начала и с конца.

Качественно-темпоральное значение *Passé Simple* определяет временную расположенность множества действий в ограниченном временном интервале в плане прошлого. Количественное темпорально-аспектуальное значение подразумевает наличие ограниченного временного интервала совершения процесса, ограниченную длительность, благоприятную для выражения определенной многократности [7. С. 78].

Неопределенная многократность. В случае репрезентации неопределенными глаголами [*avoir carence* / *иметь приступ печали* (1), *penser* / *думать* (2), *entendre* / *слышать* (3)] выражается ограниченность серии интервалом, имплицитным временной граммемой, однако множественность ситуаций эксплицируется только благодаря наречиям частотности [*souvent* / *часто* (1), *une fois de plus* / *еще раз* (4)]. Дуративность **неопределенных глаголов** изменяется не только под влиянием системного значения временной формы *Passé Simple*, но и наречий частотности и хабитуальности. **Наблюдается доминирование маркеров многократности над неопределенной семантикой глагола.**

В случае репрезентации предельными глаголами [глагол с заполненной объектной валентностью *rallumer* / *снова зажечь* (4)] выражается ограниченность серии интервалом, имплицитным временной граммемой, однако множественность ситуаций не только эксплицируется благодаря наречиям частотности, а имплицитно и семантикой глагола. Предельными глаголами выражается дополнительное аспектуальное значение завершенности.

Passé Simple, обозначая определенную и неопределенную многократность через частотность, всегда имеет свое парадигматическое значение перфективности: прекращение серии ситуаций. Количественное темпорально-аспектуальное значение ограниченной длительности имплицитно подразумевает наличие общего интервала серии, ограничивая количество ситуаций темпорально. **Наблюдается доминирование значения временной формы над контекстуальными маркерами многократности.**

В некоторых случаях ограниченность серии диахронных ситуаций во времени выражается эксплицитно. Значение неопределенной многократности является нетипичным, что объясняет редкость его реализации в *Passé Simple*. Маркеры неограниченного количества ситуаций и интервальности / частотности не могут преодолеть значение ограниченной длительности *Passé Simple* и изменяют свое значение.

(1) *Il y eut souvent carence véritable mais...* / У него часто были приступы настоящей печали [8. С. 89].

(2) *...pensa-t-il toujours sans se retourner et elle se sourit un instant* / ...он всегда думал о ней не поворачиваясь к ней, а она вдруг улыбалась [8. С. 311].

(3) *Françoise entendit peut-être parfois...* / Франсуа, возможно, слышал иногда... [9. С. 130].

(4) *Il... ralluma la lampe de chevet une fois de plus...* / Он... еще раз зажег лампу у изголовья [9. С. 104].

Е.Е. Корди, И.С. Никольская и М.К. Сабанеева считают, что не встречаются сочетания *Passé Simple* с наречиями хабитуальности [10. С. 221], например: *d'habitude* / *обычно*, *d'ordinaire*, хотя возможны комбинации с маркерами тотальности *toujours* / *всегда* [(2)] и частотности [*parfois* / *иногда* (3)].

В примере 1 *souvent* / *часто* + PS обозначает '*plusieurs fois* / *несколько раз*', т.е. повтор ситуаций несколько раз за интервал времени и их прекращение. В примере 2 *toujours* / *всегда* + PS обозначает '*une nouvelle fois* / *другой раз*', выражая связь с определенной референциальной точкой, причем эта связь подчеркивается данным наречием. В случае сочетания с наречиями частотности *Passé Simple* обозначает ограниченную серию ситуаций. П. Имбс считает, что претерит не исключает возможности обозначения ситуации, неограниченно повторяющейся во времени, но при наличии лексических средств [11. С. 45]. Неопределенная многократность часто представлена значением повторного воспроизведения. Значение целостности противится сочетанию с наречиями, характеризующими хабикулярность, обозначающими постоянство действия на весь временной план прошлого. Претерит, обозначая частотность, определенную и неопределенную многократность ситуаций, всегда репрезентирует парадигматическое значение завершенности действия: прекращение серии ситуаций. В некоторых случаях ограниченность ситуаций во времени выражается эксплицитно. Значения неопределенной многократности являются нетипичными, что объясняет редкость их репрезентации в *Passé Simple*.

Таким образом, при выражении неопределенной многократности наблюдается доминирование значения временной формы над контекстуальными маркерами многократности, а также доминирование последних над неопредельной семантикой глагола.

Однократность. Являясь главным членом оппозиции точечность / линейность, *Passé Simple* семантически согласуется с репрезентацией однократности. Полное согласование происходит на семантическом уровне при выражении однократности в *Passé Simple* (5, 6) с реализацией завершенности у предельных глаголов [*retentir* / *удержать* (5), *regarder quelqu'un* / *взглянуть на кого-либо* (заполненная объектная валентность) (6)] и нейтрализацией семантики неопредельных глаголов. Неглагольными конкретизаторами однократности глагола в *Passé Simple* являются обстоятельства точечной семантики [*à cet instant* / *в этот момент* (5)], которые усиливают значение ограниченной длительности данной формы, сводя ее к точке.

(5) A cet instant *retentit* un cri que Maigret avait déjà entendu / В этот момент раздался крик, который Мерге уже слышал [12. С. 76].

(6) ...Simon le *regarda* un instant... / Симон на мгновение взглянул на него [13. С. 45].

Наблюдается согласование значения временной формы и контекстуальных маркеров однократности.

Определенная многократность. *Passé Simple* идеально подходит для выражения определенной многократности, так как значение временной формы уже предполагает ограниченную длительность серии и достаточно лишь указать лимитированное количество ситуаций. «Сочетанием временной формы предельного глагола с обстоятельством реализовано качественно-количественное значение исчисления действия. Значения многократности являются вторичными темпорально-аспектуальными относительно ядерного временного значения нонкального предшествования, поскольку в актуализации их принимают участие временные сирконстанты» [14. С. 145]. «При

употреблении неопределенного глагола в выраженном интервале времени, когда действие представлено как ограниченное во времени, причем ограничение может касаться начала действия, его конца либо охватывать отрезок действия с обеих сторон. Неопределенный глагол наряду с другими значениями итеративное значение приобретает. Глагол соответственно приобретает начинательное ($| \rightarrow$ *il chanta / спел*), терминативное ($\rightarrow |$ *il chanta une chanson / спел песню*), ограничительное ($| \text{---} |$ *il chanta une heure / он пел один час*) или итеративное ($| \text{---} \text{---} |$ *il chanta la même chanson trois fois / он пел ту же песню три раза*) значение» [13]. Ограниченная длительность формы *Passé Simple*, обстоятельства начально-лимитированной (7, 8) и финально-лимитированной (9) многократности, имплицитующие интервал единичной ситуации, предельная семантика глагола [*refermer / снова закрыть* (7)], реализующая видовую целостность, позволяют говорить о семантическом согласовании на всех уровнях высказывания. Неопределенная семантика глагола *regarder / смотреть* (8) нейтрализуется, реализуя временное предшествование относительно определенной референциальной точки. *Passé Simple* идеально подходит для выражения определено-лимитированной многократности (9, 10), так как семантическое содержание претерита уже предполагает ограниченную длительность и достаточно лишь указать конкретное количество совершенных повторов. Предельные глаголы указывают на повторение ситуаций с реализацией видовой целостности [*téléphoner / позвонить* (10)], глагол с заполненной объектной валентностью: *esquisser le geste / прожестукивать* (10)]. Маркеры определенного количества ситуаций делят ограниченную значением *Passé Simple* длительность на интервалы единичных ситуаций.

(7) ...et pour la première fois elle *referma* vraiment la porte / ... в первый раз она по-настоящему закрыла дверь [11. С. 148].

(8) ...elle *regarda* attentivement pour la première fois / ... она внимательно смотрела в первый раз [12. С. 79].

(9) Le dernier jour, il lui *annonça* son retour / В последний день, он ему объявил о своем возвращении [12. С. 79].

(10) ...il...consulta quelques dossiers, *téléphona* six fois à Paule... / ...он...просмотрел несколько досье, позвонил шесть раз Полю [12. С. 92].

(11) Deux fois sa main *esquissa* le geste de repousser quelque chose de son visage / Два раза его рука изогнулась в жесте, выражающем желание оттолкнуть что-то от лица [11. С. 149].

При выражении определенной многократности наблюдается согласование значения временной формы с контекстуальными маркерами ограниченной многократности, а также доминирование последних над неопредельной семантикой глагола.

Таким образом, при поддержке неглагольных средств претерит во французском языке способен выражать значения определенной и неопределенной многократности, при общей склонности к однократности и определенной многократности. Анализ примеров на выражение многократности показывает, что все ситуации воспринимаются единым блоком, актуальным на обозначенный момент времени в прошлом или лишенным точной временной локализации, актуальным для обширного периода прошлого. Серия интервалов ситуаций полностью занимает интервал, имплицитуемый временной

формой, – полное совпадение. Приведенные примеры демонстрируют возможность объединения количественным темпорально-аспектуальным значением ограниченной длительности формы претерита единичных ситуаций с импликацией их временных интервалов. Непредельные глаголы в форме претерита выражают многократность только при участии маркеров частотности/интервальности. **В иерархии средств темпорального контекста количественное темпорально-аспектуальное значение ограниченной длительности претерита доминирует над маркерами многократности, тогда как последние доминируют над значением непредельности глаголов.**

Литература

1. Bres J. Habiter le temps: le couple imparfait/passé simple en français // *Langages*. Paris, 1997. Vol. 31. No 127. P. 78–85.
2. Nolke H., Olsen M. Le passé simple subjectivisé // *Langue française*. Paris, 2003. Vol. 138. No 1. P. 76–83.
3. Caron Ph., Yu-Chang Liu. Nouvelles données sur la concurrence du passé simple et du passé composé dans la littérature épistolaire // *L'Information Grammaticale*. Paris, 1999. Vol. 82. No 1. P. 40–47.
4. Leeman D. Le passé simple et son co-texte: examen de quelques distributions // *Langue française*. Paris, 2003. Vol. 138. No 1. P. 23–31.
5. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., 2000. 564 с.
6. Bres J. Et plus si affinité... Des relations entre les instructions du plus-que-parfait et les relations d'ordre temporel // *Information temporelle, procédures et ordre discursif* L. de Saussure, J. Moeschler, G. Puskas. – Cahiers Chronos 18. Amsterdam; New York, NY 2007. P. 140–150.
7. Лутфуллина Г.Ф. Квантификация как средство презентации полиситуативности (на материале французского и татарского языков). Казань, 2010. 123 с.
8. Saint-Exupéry A. Le pilote de guerre. М., 2001. 231 с.
9. Proust M. A la recherche du temps perdu. М., 1976. Т. 1. 311 с.
10. Корди Е.Е., Никольская И.С., Сабанеева М.К. Выражение множественности ситуаций во французском языке // Типология итеративных конструкций. СПб., 1992. С. 221–236.
11. Imbs P. L'emploi des temps verbaux en français moderne: Essai de grammaire descriptive. P.: Klincksieck, 1960. С. 45.
12. Simonon G. L'ombre chinoise. М., 2001. 176 с.
13. Sagan Fr. Aimez-vous Brahms? М., 2000. 145 с.
14. Закамулина М.Н. Темпоральность во французском и татарском языках: слово, высказывание, текст (сопоставительное исследование). Казань, 2000. 145 с.

CONTEXTUAL INTERACTION OF THE PRETERIT TENSE AND MULTIPLICITY MARKERS IN THE FRENCH LANGUAGE

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 15–21. DOI: 10.17223/19986645/39/2
Lutfullina Gulnara F., Kazan State Power Engineering University (Kazan, Russian Federation).
E-mail: gflutfullina@mail.ru

Keywords: aspect, temporal context, multiplicity, preterit.

This article deals with investigating the interaction of the Preterit tense and multiplicity markers in the French language. The qualitative-temporal meaning defines the temporal location of the process in the past. The quantitative temporal-aspectual meaning implies a strict representation of the time interval of the process, a limited duration favorable for the expression of iterative actions. When representing general or single intervals of diachronic situation series, one should take into account the hierarchy of means, which is the following: 1) terminative / non-terminative semantics of the verb; 2) quantitative temporal-aspectual meaning of the terminative / non-terminative duration of the tense form; 3) non-verb means. Passé Simple denotes the definite and indefinite multiplicity through frequency, and always has its paradigmatic meaning of action perfectivity: end of situations series. The meaning of integrity resists combinations with habitual adverbs that denote action constancy for the

whole past time. The meanings of unlimited multiplicity are not typical, which explains their rarity in *Passé Simple*. The quantitative temporal-aspectual meaning of limited duration implies the existence of a common interval of action series, limiting the number of situations temporally. In some cases, the limited number of diachronic actions is expressed explicitly. As a key member of the opposition of point tenses / linear tenses, *Passé Simple* is semantically consistent with representing a single action. *Passé Simple* is ideal for the expression of a definite multiplicity, because the meaning of the tense already assumes limited duration of the action series, and it is necessary only to specify the limited number of actions. Limited iterative actions involve a limited number of action repetitions, and unlimited no limitations. In accordance with relevant contextual conditions Preterit is able to express limited or unlimited iterative actions, with the total tendency to express limited iterative actions. In the hierarchy of temporal context means, the quantitative temporal-aspectual meaning of limited duration of the Preterit tense dominates multiplicity markers, whereas the latter dominate the meaning of unlimited verbs.

References

1. Bres, J. (1997) Habiter le temps: le couple imparfait/passé simple en français. *Langages*. 31:127. pp. 78–85.
2. Nolke, H. & Olsen, M. (2003) Le passé simple subjectivisé. *Langue française*. 138:1. pp. 76–83.
3. Caron, Ph. & Yu-Chang, Liu. (1999) Nouvelles données sur la concurrence du passé simple et du passé composé dans la littérature épistolaire. *L'Information Grammaticale*. 82:1. pp. 40–47.
4. Leeman, D. (2003) Le passé simple et son co-texte: examen de quelques distributions. *Langue française*. 138:1. pp. 23–31.
5. Gak, V.G. (2000) *Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyka* [Theoretical grammar of the French language]. Moscow: Dobrosvet.
6. Bres, J. (2007) Et plus si affinité... Des relations entre les instructions du plus-que-parfait et les relations d'ordre temporal. In: Saussure, L. de, Moeschler, J. & Puskas, G. *Information temporelle, procédures et ordre discursif. Cahiers Chronos* 18. Amsterdam – New York, NY.
7. Lutfullina, G.F. (2010) *Kvantifikatsiya kak sredstvo prezentatsii polisituativnosti (na materiale frantsuzskogo i tatarskogo yazykov)* [Quantification as a means of presentation polysituativity (based on the French and Tatar languages)]. Kazan: Kazan State Energy University.
8. Saint-Exupéry, A. (2001) *Le pilote de guerre*. Moscow: Menedzher.
9. Proust, M. (1976) *A la recherche du temps perdu*. Vol. 1. Moscow: Progress.
10. Kordi, E.E., Nikol'skaya, I.S. & Sabaneeva, M.K. (1989) Vyrashenie mnozhestvennosti situatsiy vo frantsuzskom yazyke [Expression of the multiplicity of situations in French]. In: Khrakovskiy, V.S. (ed.) *Tipologiya iterativnykh konstruksiy* [Typology of iterative constructions]. Leningrad: Nauka.
11. Imbs, P. (1960) *L'emplois des temps verbaux en français moderne: Essai de grammaire descriptive*. Paris: Klincksieck.
12. Simenon, G. (2001) *L'ombre chinoise*. Moscow: Menedzher.
13. Sagan, Fr. (2000) *Aimez-vous Brahms?* Moscow: Menedzher.
14. Zakamulina, M.N. (2000) *Temporal'nost' vo frantsuzskom i tatarskom yazykakh: slovo, vyskazyvanie, tekst (sopostavitel'noe issledovanie)* [Temporality in the French and Tatar languages: word, utterance, text (a comparative study)]. Kazan: Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo.

УДК 81'373.612.2

DOI: 10.17223/19986645/39/3

В.П. Новикова

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕТАФОРЫ

Статья посвящена изучению метафорических моделей смыслообразования, участвующих в выражении авторского представления о современном университете. В качестве материала использованы англоязычные работы исследователей высшего образования последнего десятилетия. С одной стороны, метафоры служат отражением того, как ученые видят исследовательский университет в контексте современной жизни общества; с другой стороны, с помощью метафор формируются стереотипы восприятия университета у читателей. С помощью метафор переосмысливается и оценивается роль университета в обществе, высвечиваются проблемные зоны, намечаются дальнейшие перспективы развития.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая метафора, метафорическая модель, высшее образование, исследовательский университет.

Современный мир созрел для нового тектонического сдвига в понимании университета как учреждения.

Капитл Сибал

Университет наряду с церковью и государством стал одним из важнейших институтов, созданных человеческой цивилизацией и выдержавших испытание временем. Исследовательский университет современного типа (именно об этом типе университета пойдет речь в этой статье) появился всего лишь в начале XIX в., и этот термин может быть впервые применен к реформированному Вильгельмом Гумбольдтом Берлинскому университету [1]. В наши дни исследовательские университеты занимают центральное место в глобальной экономике знаний XXI в. и выступают в роли «флагманов» развития высшего образования по всему миру. Ключевыми для XXI в. реалиями высшего образования по всему миру становятся следующие факторы: массификация образования; роль частного сектора и приватизация государственных учебных заведений высшего образования; бурное развитие азиатских стран как научных центров; экономический кризис и его влияние на высшее образование [2. С. 11]. Несмотря на существующие вызовы, надежды на лучшее будущее связаны во многих странах именно с развитием передовых инновационных университетов, ориентированных на то, чтобы быть на переднем крае проведения научных исследований, имеющих важное значение не только для отдельно взятого города, страны, но и человечества в целом. Осознавая столь важную миссию этого общественного института, большое количество ученых пытается переосмыслить роль университета в современном обществе, дать оценку его деятельности, указать пути и сценарии дальнейшего развития. Данная проблема является, безусловно, концептуально сложной и не может обсуждаться без помощи такого явления в мышлении и

языке, как метафора. Таким образом, объектом исследования в данной статье стали языковые средства реализации метафоры, которые используют ведущие специалисты современности в области образования и социальных наук в работах, посвященных университетам. Ведущие когнитивные метафорические модели, служащие отражением того, как переосмысливается учёными устоявшийся феномен университета в контексте современной жизни общества, послужили предметом исследования. Изучение метафор помогло наглядно показать ту роль, которую играет университет в современном обществе, высветить проблемные зоны и наметить перспективы развития.

Ортега-и-Гассет, знаменитый испанский философ и социолог, объясняет необходимость использования метафоры для процесса познания следующим образом: «...не все объекты легко доступны для нашего мышления, не обо всем мы можем составить отдельное, ясное и четкое представление. Наш дух вынужден поэтому обращаться к легко доступным объектам, чтобы, приняв их за отправную точку, составить себе понятие об объектах сложных и трудно уловимых. Именно эта магическая сила метафоры и остается тайной: «...метафора, давая некоторое буквальное утверждение, заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что влечет за собой прозрение» [3. С. 73].

Изучением понятия метафоры занимались и занимаются многие отечественные и зарубежные лингвисты. В XIX в. Ницше, изучавший метафору как философ и филолог, провозгласил необходимость раскрытия роли метафоры в мыслительной деятельности. Из рассуждений Ницше метафору следует рассматривать не только как частичку процесса обучения, но как базис всего знания, всех когнитивных процессов [6. С. 5]. Разные версии и рефлексии такого подхода к роли метафоры в познании встречаются во всех философских концепциях, которые отмечены печатью субъективизма, антропоцентричности, интуитивизма, интереса к мифопоэтическому мышлению и национальным картинам мира [6]. Одним из направлений когнитивистики (комплекс наук, изучающий ментальные аспекты человеческой деятельности: познание мира, усвоение, хранение и переработка информации, классификация, категоризация и оценка действительности) является когнитивная лингвистика, «в центре внимания которой находится язык как общий когнитивный механизм» [5. С. 54]. Центральное место в когнитивной лингвистике занимает проблема категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет метафора как проявление аналоговых возможностей человеческого разума. Метафору в современной когнитивистике принято определять как ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мироустройства.

В основе когнитивной метафоры лежит идея о том, что метафора – это феномен не лингвистический, а ментальный: языковой уровень лишь отражает мыслительные процессы. Метафоры в языке – это не украшение мыслей, а лишь поверхностное отражение концептуальных метафор, заложенных в понятийной системе человека и структурирующих его восприятие, мышление и деятельность.

Хосе Ортега-и-Гассет обращает внимание на способность метафоры совмещать абстрактное и конкретное и синтезировать такого рода сведения в

новые концепты. Поэтому метафора может рассматриваться как механизм, который приводит во взаимодействие познавательные процессы, эмпирический опыт, культурное достояние коллектива, его языковую компетенцию. Цель механизма-метафоры – отобразить в языковой форме чувственно не воспринимаемые объекты и сделать наглядной невидимую картину мира – создать ее языковую картину, воспринимаемую за счет вербально-образных ассоциаций составляющих ее слов и выражений [3–4].

Наиболее четко концептуальная теория метафоры сформулирована у Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Они описали концептуальную метафору как пересечение знаний одной концептуальной области в другой концептуальной области [6]. Классическое определение метафоры в свете когнитивистской теории дает Стивен Харнрад: «...метафора – это когнитивный механизм, посредством которого непрерывные, аналоговые и сенсорно-обоснованные восприятия, которые уже прошли процесс категоризации (символообразования), подвергаются переоценке в новых *концептуальных контекстах*» [7].

Для того чтобы рассмотреть, каким образом переосмысливается идея университета через призму метафор, целесообразно воспользоваться когнитивной теорией метафорического моделирования, предложенной Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, и разработанной на ее основе концепцией А.П. Чудинова [8]. Для описания метафорических моделей необходимо охарактеризовать следующие компоненты модели: исходную понятийную область, понятийную сферу, цель метафорической экспансии, базовый концепт – элемент, служащий основанием для переноса, – фреймо-словотворческую структуру модели, оценку продуктивности и частности модели. Вариативность метафоры университета может иметь два ракурса рассмотрения:

- корреляция между изменениями глобальной и локальной политики в сфере образования и количеством метафор в соответствующем дискурсе;
- доминирование отдельных метафорических моделей в различные исторические периоды.

Применение второй методики позволило нам выявить наиболее распространенные модели смыслообразования, которые, с одной стороны, служат отражением того, как ученые видят данный феномен в контексте современной жизни общества, а с другой – формируют картину мира у рецепторов метафорических высказываний.

Неоспорим тот факт, что, находясь в рамках системы высшего образования, исследовательские университеты играют ключевую роль в подготовке специалистов высокого уровня, учёных и исследователей, а также в производстве новых знаний для поддержания инновационных систем многих стран. В этой связи метафора «башни из слоновой кости», «бархатной перчатки» для увековечивания власти элит, в терминах которых часто описывался не только средневековый университет, но и зачастую современный, метафора «разрушения и упадка» уступает место метафоре «созидания». Основываясь на анализе более 50 англоязычных публикаций последнего десятилетия, посвящённых проблемам высшего образования, мы выделили наиболее продуктивную исходную понятийную область, которая служит источником для многочисленных метафор. Условно её можно обозначить как «движущая сила»:

The day of the university as an ivory tower pursuing knowledge for its own sake is drawing to a close, and the dawn of one in which it becomes a driver of regional and city economies beckons.

(Времена университета, выступающего в роли башни из слоновой кости, производящей знания для собственного блага, подходят к концу. Университет находится на заре того дня, когда он становится движущей силой регионального и городского развития [9] (перевод мой. – В.Н.).

Данные метафоры имеют положительную коннотацию, их сопровождают такие эпитеты, как *important* (важный), *key* (ключевой):

Regions with stake holder oriented strategy are often more open to seeing universities as important actors for regional development and allow them to delegate faculty and administrators to regional government boards (...видят университеты как важное действующее лицо).

Key-drivers for sustainable development (Ключевая движущая сила устойчивого развития) [10] (перевод мой. – В.Н.).

Университеты подталкивают общество на новые свершения, являются помощниками в экономической жизни, способствуют его устойчивому развитию:

Universities act as facilitators for sustainable development at the regional level.

Именно этот сектор должен приводить к повышению практической значимости результатов обучения и исследований, справедливости, экономичности и удовлетворенности студентов:

Higher education is not seen only as an engine for social and economic innovation but a sector that should innovate to improve learning outcomes, research outcomes, equity, cost efficiency, and student satisfaction [9].

Университеты, безусловно, выполняют или должны выполнять роль «посредника», находиться на переднем крае не только интеллектуального и научного развития, но и социальных изменений:

Higher education has been a principal medium for successive transformations: the civil rights movement, 1960s–1970s student power and grass-roots democracy, 1970s feminism, gay liberation, anti-nuclear and pro-ecology movements and the 1990s–2000s anti-globalisation protests against global injustice, power and violations of national sovereignty [11]¹.

Таким образом, университет и его функции переосмысливаются за счет использования существительных: *medium* (средство), *driver* (ведущий элемент двигателя), *actor* (действующий субъект), *engine* (двигатель), *facilitator* (помощник), *catalyst* (катализатор) имеющих семантический компонент участия, движения, а также глаголов, характеризующих активное действие, стимул к движению, совершенствование: *to innovate* (преобразовывать), *to improve* (улучшать), *to delegate* (делегировать), *to trigger* (запускать механизм), *to mobilize* (мобилизовать), *to foster* (взрачивать). От современ-

¹ Высшие учебные заведения являются и являлись проводником социальных изменений. Вспомним движение за гражданские права, рост студенческой активности в 60–70-е гг. XX в. наряду с ростом демократического движения на местах, кампании против распространения ядерного оружия и в защиту экологии, а в 1990–2000-е выступления против глобализации, несправедливости, насилия сверхдержав и нарушения национального суверенитета (перевод мой. – В.Н.).

ного университета требуется, чтобы он выделялся на фоне остальных вузов своим уникальным видением и жизненной силой, был своего рода электростанцией, производящей интеллектуальную энергию. Понятийная сфера «электростанция» выступает как источник метафоры, а университет как цель метафорической экспансии:

Universities are society's premier knowledge-generating organizations (Университеты – это организации по выработке знаний) [12].

The university of San Diego is a powerhouse and economic engine... (Университет Сан-Диего – это энергетическая станция и экономический двигатель) [13].

Тем не менее некоторые отголоски университета как института, приносящего пользу только самому себе, ещё существуют. Бизнесу не всегда легко найти способы взаимодействия с научной базой университета. Понятийное пространство чего-то непостижимого и загадочного используется как источник метафоры, а университет как цель. Так, в приведённом ниже примере констатируется, что малым предприятиям очень трудно получить доступ к «чёрному ящику» университета. Напомним, что чёрный ящик – это термин, используемый для обозначения системы, внутреннее устройство и механизм работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в рамках определённой задачи:

To help SMEs (the small and medium-sized enterprises) open the black box of higher education, different types of entry points have been created in the regions. One of the oldest is Knowledge House. Knowledge house offers soup-to – nuts service, stretching from the receipt and circulation of enquiries through project management and delivery to post-completion evaluation¹ [9].

Университет завершает формирование личности, готовит её к гражданству, в рамках которого человек идентифицирует себя не только с семьёй или городом, но и с целой нацией и которое в более общем смысле формируется в интересах человечества. Большое количество метафор демонстрируют нам неразрывную связь университета и общества, помогают понять положение университета в сложной иерархии общественных отношений. Понятийная сфера «положение в пространстве» выступает источником второй по продуктивности метафорической модели, целью которой является университет:

In their role as regional institutions universities are embedded in regional networks. The embeddedness of regional institutions facilitates cooperation between regional stakeholders, which is an important element of social capital (...университеты встроены в региональную сеть. Именно эта включённость упрощает сотрудничество между региональными стейкхолдерами, которые являются важнейшим элементом социального капитала).

Universities are embedded in communities, cities and nations and, in Europe, in a global region. (Университеты встроены в небольшие сообщества, города и страны, а в Европе ещё и в мировое пространство) [9].

¹ Чтобы помочь бизнесу добраться до черного ящика высшего образования, в регионах реализуются различные программы взаимодействия. Научный домик – одна из тех программ, которая существует довольно давно. Она предполагает полное руководство проектом, начиная с получения запроса и заканчивая постпроектной оценкой результата (перевод мой. – В.Н.).

Universities are nested within regional civilization... (вмонтированы в устройство локальной культуры...) [14].

Public higher education must be slotted into a landscape already occupied by established ways of imagining and practising higher education (Бесплатное высшее образование должно идеально вписаться в ландшафт уже существующего пазла...) [11].

Перед университетом остро стоит вопрос понимания своей миссии в пространстве глобального общественного блага:

Research universities are integral parts of the global higher education and societal environment (Исследовательские университеты являются неотъемлемой частью глобального высшего образования и общества) [2].

Один из первых президентов знаменитого американского исследовательского университета Висконсин-Мэдисон провозгласил, что «граница университета – это граница государства» [2. С.108–109]. Это высказывание-метафора символизирует идеал служения обществу, а также принцип создания и распространения знаний:

Higher education has lost rationale and needs to re-ground itself in the social. It will need to find the way to make visible global public goods, if it is not to follow the monasteries into oblivion [11]¹.

Universities are soaked in transmitting, studying and creating knowledge and part of a larger network of institutions (Университеты погружены в передачу, изучение и создание знаний и являются частью сети социальных институтов) [11].

Глаголы *to embed* (внедряться), *to slot* (вставлять), *to re-ground* (обосноваться), *to nest* (встраиваться) указывают на местоположение в пространстве, помогают сориентироваться в системе ценностей. Некоторые из приведённых метафорических высказываний носят распространённый характер: например, когда сфера образования сравнивается с пазлом или ландшафтом. Использование глагола *to soak* (пропитывать, погружать) довольно необычно. Знания в данном контексте рассматриваются как текучая материя, а университет – как нечто способное её создавать, изучать и распространять.

Пространственная метафора позволяет понять и основное противоречие университетского устройства: локальность наряду с мобильностью, включение в жизнь местного сообщества наряду с функционированием на глобальном уровне:

Its founding antinomy (locality joined to mobility, embeddedness joined to universality) remains essential to it [9].

Неоспоримым является тот факт, что в университете производится большой объём новой информации, а также проводится исследовательская работа, результаты которой приводят к новым открытиям в различных областях. Базируясь в той или иной стране, университеты встроены в местную экономику и напрямую способствуют внедрению инноваций на локальном уровне. Для описания этих функций университет часто сравнивается с мостом, со-

¹ Высшие образовательные учреждения потеряли всякий смысл и должны вновь обрести своё место в социальном устройстве общества. Они должны найти способ создавать явные глобальные общественные блага, если не хотят вслед за монастырями кануть в небытие (перевод мой. – В.Н.).

единающим различные социальные институты. Метафора функционирует благодаря использованию глагола *to bridge* (соединять мостом), прилагательного *bridging* (соединяющий), существительных *a bridge* (мост), *a link* (связующее звено). Источником метафорического употребления является понятийная сфера «строительство»:

Universities are important in bridging the gap between government and society. ...A bridging institution between academia and society (Роль университетов в налаживании связи между правительством и обществом чрезвычайно важна... Связующий элемент между учёными и обществом) [10] (перевод мой. – В.Н.).

They provide the key link between global science and scholarship and a nation's scientific and knowledge system [2].

Занимая важное место в глобальной экономике знаний XXI в., университеты, наряду с локальными задачами осуществляют основную связь между национальными научными системами, мировой наукой и научным сообществом. В этом качестве они образно описываются как «*two-way street*» (улица с двусторонним движением) [2] или как часть огромной сети, охватывающей все мировое сообщество. В приведённом ниже примере метафора носит развёрнутый характер за счет использования существительного *network* (сеть), эпитета *networked* (объединённый сетью), глаголов *to pattern* (распределять по шаблону, моделировать), *to expand* (расширяться):

The third imaginary is the networked and potentially more egalitarian university world patterned by communications, collegiality, linkages, partnerships and global consortia. The network imaginary embodies permanent collaboration. It has an egalitarian, inclusive economic logic: as the network expands, each member receives ever increasing benefits, tending to global universality [11]¹.

Research universities are at the center of global knowledge communication and networks (Исследовательские университеты находятся в центре глобальной коммуникации и сообществ людей, распространяющих знания) [2].

Несмотря на сотрудничество и сетевое взаимодействие по вертикали и горизонтали, между университетами присутствует постоянная естественная конкуренция:

Networks can be annexed to competitive strategies. They are configured vertically as well as horizontally ('networking up'). Some are closed to broader connections and foster the interests of members on an exclusive basis. Universities are like sibling rivals, collaborating and competing with the same institutions... (...Университеты напоминают детей в семье, которые помогают друг другу, но в тоже время соперничают в рамках одного учреждения) [11] (перевод мой. – В.Н.).

Как известно, конкуренция – неотъемлемая составляющая рыночных отношений, предпринимательства и производства, в рамках которых часто опи-

¹ Следующий образ – это взаимосвязанный и потенциально более равноправный мир университета, сформированный благодаря взаимодействию, коллегиальности, контактам, партнёрским отношениям и объединению учебных заведений. Образ сети или системы подразумевает постоянное сотрудничество. Он наделён инклюзивной, экономически выгодной для всех участников логикой: по мере того как сеть расширяется, каждый член получает растущие блага, стремясь к глобальному универсализму.

сывается университет. Понятийные сферы «Рынок и предпринимательская деятельность» выступают как источник многочисленных метафор, целью которых являются различные аспекты университетской жизни.

The first imaginary is the idea of higher education as an economic market: education and research as products, higher education as national economic competition, universities as business firms, the WTO-GATS vision of a one-world free trade zone in learning and intellectual property. Higher education is seen as a system for producing and distributing economic values and for augmenting value created in other sectors [11]¹.

В этом контексте уникальным продуктом, который должен продавать университет, часто является он сам как некая целостность, которая пропагандирует интеграцию исследований и обучения. А его «предпринимательство» заключается в систематическом превращении социального капитала в общественное благо. Фуллер, перефразируя определение предпринимательства, данное Джозефом Шумпетером, заявляет, что университеты производят знание как общественное благо путем созидательного разрушения социального капитала [15. С. 31]. А историческую роль университета он видит как роль клапана предохранителя, позволяющего выпустить лишний пар. Хирш заявляет, что знание – это «позиционный товар», чья ценность связана с относительным преимуществом, которое приобретают его обладатели. Таким образом, распространение знания может быть уподоблено валютной инфляции [15. С. 32]. Новая агрессивная эра экономики знаний, быстроменяющаяся политическая обстановка действительно заставляют университеты действовать подобно корпорациям: искусно планировать наём высококласного профессорско-преподавательского состава, защищать свою уникальность, искать свою нишу в уже существующей системе высшего образования, грамотно распределять финансовые ресурсы. Однако чрезмерное использование метафор, связанных с предпринимательской деятельностью, может привести к неправильному восприятию университета как корпорации по производству лишь личного, а не общественного блага. По мнению Марджинсона, подобная опасная риторика привела к тому, что в 2010 г. правительство Великобритании отказалось финансировать гуманитарные и социальные науки:

Higher education institutions held in the public mind to be factories for producing private status goods and private knowledge goods come to focus largely on those functions alone. Increasingly, universities that come to see themselves as private firms catering for other private economic interests will embrace the producer/consumer mindset [11. С. 414]².

¹ Первый образ представляет высшее образование в виде рынка: образование и исследовательская деятельность – это товары, высшее образование предстаёт в виде национального экономического соревнования, университеты – в виде компаний. Таково видение ВТО и ГАТС единого торгового образовательного пространства и интеллектуальной собственности. Высшее образование рассматривается как система, производящая и распределяющая экономические ценности и повышающая стоимость ценностей, произведённых в других сферах экономики. (перевод мой. – В.Н.).

² Высшие учебные заведения, которые в глазах общественности ассоциировались с фабриками, производящими личные блага и знания частного характера, стали фокусироваться исключительно на этих функциях. В самом деле, университеты, которые позиционируют себя как частные компании,

Рыночной метафоре очень близка по своей сути спортивная метафора. Обе имеют в своём концептуальном поле-источнике игроков, конкуренцию, противостояние:

Universities are key-players in both the individual as well as the social learning spheres (Университеты – ключевые игроки с личным зачётом и в социальной сфере...) [10].

This is higher education as a field of status ranking and competition (Высшее образование представляет собой поле для определения статуса и конкуренции) [11. С. 421].

В настоящее время существует довольно много рейтингов, оценивающих высшие учебные заведения. Руководство стран и университетов используют инструмент рейтинга для того, чтобы позиционировать свои высшие учебные заведения на глобальном рынке образовательных услуг, а также как внутренние механизмы стимулирования. Именно рейтинги превращают исследовательские университеты в участников ожесточённой гонки. По словам Джамила Салми, бывшего координатора Всемирного банка по вопросам образования, «это марафон, а не спринт». Получение высокого рейтинга подразумевает инвестирование в исследования, что не может привести к мгновенным результатам. Естественно, что не все выдерживают эту гонку, да и немногие в научном сообществе уверены в том, что эта «гонка» ведётся по правилам. Чаще всего в выигрыше оказываются университеты, устроенные по англо-американской или западноевропейской модели. Топ-100 не только стимулирует развитие национальной системы науки, но и подрывает её. Успеха добиваются немногие, а состояние беспокойства охватывает всех.

Now, global rankings have caught all universities, all over the world, in the same status-incentive trap. Status competition plays out not only between universities but between national systems. The neighbourhood becomes fairer in higher education when the main game is not winner take-all and, instead, is the production of shared and collective benefits [11. С. 429]¹.

Критикуется подход к составлению рейтингов, где подсчитывается лишь количество публикаций, патентов на изобретения, грантов и библиотечных томов. Такой формальный метод оценки отбрасывает университеты назад, в «меркантильное прошлое»:

Current measures of academic achievements tend to be open-ended “Extensional magnitudes” that stress sheer numbers of publications, patents, students grant income, library volumes. Thus, we are back to academic bullionism [16].

В идеале все университеты стремятся к академическому совершенству, выбирая различные пути и стратегии для достижения своих целей. Понятийная сфера «путешествие» служит источником многих метафор, указывающих на то, что дороги эти разные и не всегда простые.

удовлетворяющие частные экономические потребности, полностью перенимают тип мышления «поставщик/потребитель» (перевод мой. – В.Н.).

¹ Глобальные рейтинги поймали все университеты в один и тот же капкан, дарующий им статус. Эти соревнования разыгрываются не только между университетами, но и между национальными системами образования. Общество выигрывает от соседства с университетом, если суть игры не в том, что победитель получает все, а в том, чтобы производить коллективные блага для всех (перевод мой. – В.Н.).

It may require a journey of internal reform for a university to take some responsibility for generating that prosperity (Может потребоваться путь внутренних трансформаций для того, чтобы университет взял на себя обязанность создания благосостояния) [9].

The entrepreneurial road to university self reliance (Предпринимательская дорога к университету, который может полагаться на свои силы) [17] (перевод мой. – В.Н.).

The transformation of a university to match a new vision and new targets is a courageous endeavor. It also requires the political will to stay the course over the long term, bringing together “national policies, institutional capabilities, and knowledge integration” [18. С. 163]¹.

Выводы

Индийский философ и учёный Рабиндранат Тагор сказал, что «высшее образование не просто даёт нам информацию, но приводит нашу жизнь в гармонию со всем сущим» [19. С. XIV]. В данном выражении высшему образованию приписывается роль надёжного посредника, позволяющего человеку ориентироваться в системе ценностей и определять своё место в ней. Анализ ведущих когнитивных метафорических моделей дискурса, посвящённого проблемам университета, позволил наглядно продемонстрировать то, как переосмысливается роль высшего образования в современном контексте. Университет выступает в качестве движущей силы общества, подталкивает его на новые свершения, является помощником в экономической жизни, локальной и глобальной сетью, мостом, осуществляющим связь на всех уровнях, гарантом устойчивого развития. Перед университетами современности стоит много трудноразрешимых задач: преодоление разрыва между гуманитарной, естественно-научной и деловой культурами, нахождение на переднем крае интеллектуального и научного развития, улучшение понимания человеческой природы посредством развития социальных и гуманитарных наук, сочетание серьёзной научной подготовки и глубоких гуманистических убеждений. С помощью метафор высвечиваются и проблемные зоны университета, такие как сохраняющаяся закрытость университета, недостаточная гибкость, излишняя коммерциализация, погоня за формальными показателями.

Сейчас, когда в России идет реформирование образования, когда выстраивается определённая «архитектура» высшего образования и стоит задача завоевания международного рынка образовательных услуг, понимание существующих проблем очень важно. Безусловно, конкурсные механизмы поддержки программ развития вузов и их инициатив, запущенные государством, стимулируют переосмысление места российских университетов среди других университетов страны и мира. Хорошим подспорьем может стать и изучение опыта зарубежных исследовательских университетов, чьи достижения и просчёты переосмысливаются посредством приведённых

¹ Преобразование университета, ведущее к новому видению и новым целям, является смелым предприятием. Для его реализации требуется политическая воля следовать выбранным курсом, объединяя национальные стратегии, институциональные возможности и накопленные знания. (перевод мой. – В.Н.).

вые метафор. Критический анализ позволит не только избежать ошибок, но даст толчок к порождению новых смыслов, новым шагам в трансформации и развитии университетов как образовательного пространства.

Литература

1. Fallon D. The German University: A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World. Boulder: Colorado Associated University Press. 1980. 72 p.
2. Altbach Ph. G. The past, present and future of the research university // The road to academic excellence: the making of world-class research universities/ edited by Philip G. Altbach and Jamil Salmi. World Bank. 2011. P. 11–29.
3. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С. 68–81.
4. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 5–32.
5. Демьянков В.З., Кубрякова Е.С. Когнитивная лингвистика // Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. С. 53–55.
6. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990. С. 387–415.
7. Харнард С. Философы о метафоре. URL: http://www.metaphor.narod.ru/review/phil_review.htm
8. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. 238 с.
9. Ischinger B., Puukka J. Universities for Cities and Regions: Lessons From the OECD Reviews. Change. 2009. P. 8–13.
10. Sedlacek S. The role of universities in fostering sustainable development at the regional level // Journal of Cleaner Production. No. 48. 2013. P. 74–84.
11. Marginson S. Higher Education and Public Good. University of MHigher Education Quarterly. Vol. 65, No. 4, October 2011. P. 411–433.
12. Lowe Gr.S. Universities as Healthy Work Environments. URL: <http://www.grahamlowe.ca/documents/138/Healthy%20Universities.pdf>
13. URL:<http://eap.ucop.edu/Documents/ReciprocalExchanges/SpotlightUCSD.pdf>
14. Postiligne G.A. The rise of research universities: the Hong Kong University of Science and Technology // The road to academic excellence: the making of world-class research universities/ edited by Philip G. Altbach and Jamil Salmi. World Bank. 2011. P. 63–101.
15. Fuller S. What makes universities unique? Updating the ideal for an entrepreneurial age. Higher education management and policy. 2005. Vol. 17. No 3. P. 27–51
16. Fuller S. The governance of science in an age of Knowledge Management. URL: <http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528>HYPERLINK "http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=iatul"&HYPERLINK "http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=iatul"context=iatul
17. Clark B. R. Sustaining Change in Universities: *Continuities in Case Studies and Concepts*. The Journal of Higher Education. 2006. Vol. 77. No. 5. P. 932–934.
18. Mukherjee H., Poh Kam Wong. The National University of Singapore and the University of Malaya: Common Roots and Different Paths // The road to academic excellence: the making of world-class research universities/ edited by Philip G. Altbach and Jamil Salmi. World Bank. 2011. P. 129–167.
19. The road to academic excellence: the making of world-class research universities/ edited by Philip G. Altbach and Jamil Salmi. World Bank. 2011. P. XIV.

RETHINKING UNIVERSITY THROUGH THE PRISM OF METAPHOR

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 22–34. DOI: 10.17223/19986645/39/3

Novikova Vera P., Chelyabinsk State Pedagogical University (Chelyabinsk, Russian Federation).

E-mail: veranovik@mail.ru

Keywords: cognitive linguistics, language metaphor, metaphorical model, tertiary education, research university.

Modern tertiary education has to face such realities as massification of enrollement, the on-growing role of private sector, the rise of Asian countries as academic centers, the changing nature of the universities' functional goals, physical and logistical structure. Global knowledge economy of the 21st century relies heavily on research universities which serve as flagships for post-secondary education worldwide. Within this framework there are a lot of challenges to solve for a research university: to bridge the gaps dividing scientific, humanitarian and business cultures, to operate at the cutting edge of intellectual and scientific development, to contribute to better understanding of human nature through social sciences and humanities, to combine profound scientific background and humanitarian beliefs. Being situated in this or that country, universities are embedded in local economy, contributing to innovation advancement on a local level. However, the role of the university as global goods disseminator is of great importance. Undoubtedly, peoples' aspirations for the future are connected with universities worldwide. Being aware of this mission, prominent thinkers and scholars within the world of academia try to reflect on the role of a modern university, assess its activity and show new pathways to progress and development. On the basis of fifty publications of the recent decade, dedicated to the problems of tertiary education, the author discerned and described metaphorical models contributing to meaning formation. Though research universities have their distinctive national features, quite similar images are used to portray them: they are presented as a driving force, a bridge, a powerhouse necessary to change the society and man; a market, a corporation, a factory, a participant of competition, hunting and race, satisfying the needs of the demanding consumers. On the one hand, the array of diverse metaphors reflects how the authors perceive the functions of a research university within the modern society, on the other hand, they form deeply rooted stereotypes in readers who serve as recipients of these metaphors. Though the general perception of the role of universities is rather positive, metaphors help to highlight and analyze their problem zones: universities' isolation, bullionism, unclear vision of one's mission. Being a powerful mechanism of meaning generation, metaphors can help to compartmentalize the existing challenges universities face and set the tone for their future development.

References

1. Fallon, D. (1980). *The German University: A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World*. Boulder: Colorado Associated University Press.
2. Altbach, Ph.G. (2011) The past, present and future of the research university. In: Altbach, Ph.G. & Salmi, J. (eds) *The road to academic excellence: the making of world-class research universities*. World Bank.
3. Ortega y Gasset, J. (1990) *Dve velikie metafory* [Two great metaphors]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
4. Arutyunova, N.D. (1990) Metafora i diskurs [Metaphor and discourse]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
5. Dem'yankov, V.Z. & Kubryakova, E.S. (1996) Kognitivnaya lingvistika [Cognitive linguistics]. In: Kubryakova, E.S. (ed.) *Kratkij slovar' kognitivnykh terminov* [Concise dictionary of cognitive terminology]. Moscow: Moscow State University Faculty of Philology.
6. Lakoff, J. & Johnson, M. (2004) Metafor, kotorymi my zhivem [Metaphors we live by]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
7. Harnard, S. (n.d.) *Filosofy o metafore* [Philosophers about metaphor]. [Online]. Available from: http://www.metaphor.narod.ru/review/phil_review.htm.
8. Chudinov, A.P. (2001) *Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory* [Russia in metaphorical mirror: the research of a political metaphor (1991–2000)]. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University.
9. Ischinger, B. & Puukka, J. (2009) *Universities for Cities and Regions: Lessons From the OECD Reviews*. Change.
10. Sedlacek, S. (2013) The role of universities in fostering sustainable development at the regional level. *Journal of Cleaner Production*. 48. pp. 74–84.
11. Marginson, S. (2011) Higher Education and Public Good. *Higher Education Quarterly*. 65:4. pp 411–433. DOI: 10.1111/j.1468-2273.2011.00496.x
12. Lowe, G.S. (2005) Universities as Healthy Work Environments. [Online]. Available from: <http://www.grahamlowe.ca/documents/138/Healthy%20Universities.pdf>.
13. UC San Diego. (2016) *Spotlight UCSD*. [Online]. Available from: <http://eap.ucop.edu/Documents/ReciprocalExchanges/SpotlightUCSD.pdf>.

14. Postiliogne, G.A.(2011) The rise of research universities: the Hong Kong University of Science and Technology. In: Altbach, Ph.G. & Salmi, J. (eds) *The road to academic excellence: the making of world-class research universities*. World Bank.
15. Fuller, S. (2005) What makes universities unique? Updating the ideal for an entrepreneurial age. *Higher Education Management and Policy*. 17:3. pp. 27–51.
16. Fuller, S. (2001) *The governance of science in an age of Knowledge Management*. [Online]. Available at: <http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1528&context=iatul>.
17. Clark, B. (2006) Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and Concepts. *The Journal of Higher Education*. 77:5. pp. 932–934.
18. Mukherjee, H. & Poh Kam Wong. (2011) The National University of Singapore and the University of Malaya: Common Roots and Different Paths. In: Altbach, Ph.G. & Salmi, J. (eds) *The road to academic excellence: the making of world-class research universities*. World Bank.
19. Altbach, Ph.G. & Salmi, J. (eds) (2011) *The road to academic excellence: the making of world-class research universities*. World Bank.

УДК 7.091.1; 130.2; 7.011.3
DOI: 10.17223/19986645/39/4

Н.Л. Прокопова

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА¹

В статье рассматривается часть советской речевой культуры, соответствующая положениям социалистического реализма. Аргументируются обусловленные методом социалистического реализма ценностные установки и технологические каноны речевой культуры. Формулируются дифференцированные критерии, предназначенные для выявления образцов речевой культуры, соответствующих положениям социалистического реализма. Приводится разбор образца советского речевого искусства.

Ключевые слова: речевая культура, советская официальная культура, метод социалистического реализма, ценностные установки, логико-стилистические каноны, интонационно-мелодические каноны.

Введение

Если изменения в языке советского периода получили освещение в работах лингвистов, то модификации публичной речи и особенности ее сценического (а также кинематографического) варианта еще не обрели исчерпывающей научной рефлексии, в то время как представляют несомненный интерес. Привлекательность феномена сценического речевого искусства советского периода объясняется двумя особенностями – отсутствием однородности и подчиненностью идеологическим канонам. Речевая культура в целом и речевое искусство в частности, безусловно, зависимы от тенденций национального языка, поэтому имеет смысл заметить, что исследователи указывают на разделение языка советского периода и при этом используют многообразие формулировок. Однако «большинство языковедов предпочитают все-таки говорить не об особом языке или даже субъязыке, а о вариантах языка, о лексике и фразеологии сопротивления, о лексике неравенства, об официозном и антиофициозном стиле и т.п.» [1]. Разделение на официальную и неофициальную культуру нашло свое выражение также в речевом искусстве сцены и кинематографа.

Конечно, ставить знак тождества между речью сценической и речью кинематографа было бы неверно. Однако близость этих двух видов речевого искусства обусловлена рядом факторов. Во-первых, в вузах подготовка актеров театра и кино осуществляется в соответствии с одной учебной специализацией, именуемой «артист драматического театра и кино», посредством одних и тех же дисциплин – «Сценической речи» и «Сценической речи в драматическом театре и кино». Во-вторых, и тот и другой вид речевого искусства опираются на принятые в конкретный культурно-исторический период

¹ Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ и коллегии администрации Кемеровской области в рамках научно-исследовательского проекта №15-14-42001 «Искусство Кузбасса в контексте развития региона (период 1990–2010 гг.)».

орфоэпические требования. В-третьих, актеры, как правило, сочетают деятельность в театре и кино, а значит и в том и в другом видах речевого искусства проявляются одинаковые мелодические тенденции. В-четвертых, мелодика речи, как в театре, так и в кинематографе, формируется под воздействием особенностей культурно-исторического периода, а также благодаря индивидуальности актера и выполняемым действенным задачам роли в спектакле или фильме. Различия этих двух видов речевого искусства раскрываются в большей степени в вопросах посыла звука (в театре хороший посыл звука необходим, тогда как в кинематографе он не имеет большого значения в связи с отдельным этапом работы – озвучиванием фильма). Кроме того, в отличие от речи кинематографа, речевое искусство сцены фиксируется значительно реже. В связи с этим именно благодаря кинематографу у потомков имеется возможность анализа мелодических тенденций того или иного культурно-исторического периода. Названные аргументы объясняют использование при анализе речевого искусства в качестве эмпирического материала образцов речи кинематографа. В статье будет намеренно предпринято обращение к известному примеру речевого искусства кинематографа, а не к записям речевого искусства спектакля. В отличие от редких записей спектаклей, хранящихся в центральных государственных архивах литературы и искусства, как правило не оцифрованных и не размещенных в сети Интернет, речь кинематографа, даже прошлых лет доступна читателям данной статьи и может быть прослушана. Обстоятельство доступности такого образца речевого искусства кинематографа как чтение в кадре стихов Василием Качаловым (заметим в скобках – актера Московского Художественного театра), послужило причиной его использования в качестве эмпирического материала данной статьи. Кроме того, факт присутствия актера Василия Качалова именно в кадре (а не закадровое чтение) также благоприятствует обращению к этому примеру. Данный образец речевого искусства принадлежит официальной художественной культуре советского периода, которая и является объектом рассмотрения данной статьи.

Принципы соцреализма в ценностных установках речевой культуры советского периода

Осмысление речевого искусства, развивавшегося в контексте официальной культуры, невозможно вне метода социалистического реализма и его принципов. Они послужили установками для сценического речевого искусства, принадлежащего этой ветви. Пожалуй, **принцип конкретности** следует считать определяющим для таких образцов сценического речевого искусства. Идеологическая цензура Советского государства определила сжатие смысловых уровней звучащего слова до единственного идеологически разрешенного значения. Поэтому содержательная основа подтекста сценической речи (даже в лирике), как правило, опиралась на конкретный, общепринятый (во многом социально окрашенный) смысл. Смысловому значению, наполнявшему речевое искусство актеров и чтецов, были не свойственны множественность, обтекаемость, расплывчатость. Напротив, сценическое речевое высказывание отличалось однозначностью смысла. **Принцип конкретности** нашел выражение в *ценностной установке «однозначность смысла»* высказывания.

Ценностная установка «однозначность смысла» отличалась своими плюсами и минусами. В настоящее время, в современном культурном контексте второго десятилетия XXI столетия, в условиях утраты идеалов, размытости нравственных ценностей безусловным плюсом видится предельная ясность личностной позиции художника (режиссера, актера, чтеца, оратора). Эта максимальная внятность отношения к действительности исключала, блокировала путаницу в этических, эстетических, художественных ценностях и служила формированию отчетливой личностной позиции, которая так значима в речевом искусстве. Однако в *ценностной установке «однозначность смысла»* имелся и свой минус. Однозначность смысла вероятна при условии уже принятого решения (сформированной позиции), а принятое решение – это финальная стадия процесса, в то время как сам процесс мышления невозможен без метаний, проб и промахов. Его протекание всегда сопряжено с отсутствием окончательной ясности в понимании того или иного события и сопровождается муками нахождения точного решения, истинно верной позиции. Именно эти обстоятельства способствуют вариативности восприятия, провокации нескольких смысловых рядов (что крайне важно в искусстве), а значит, возникновению в сценических условиях интересных и сложных голосо-речевых подтекстов, тогда как ход размышлений в изначальной опоре на известный канон (в данном случае – установки советской идеологии) влек за собой однозначность транслируемого смысла, предельную понятность, абсолютную ясность мысли и (зачастую!) наивность и неорганичность сценической рефлексии. И эти последствия, безусловно, являются «минусом» *ценностной установки «однозначность смысла»*.

Если *принцип конкретности* находил выражение в *ценностной установке «однозначность смысла»*, то *принцип партийности* – в *ценностной установке «пафосная воодушевленность»*. Эта ценностная установка более всего корреспондировалась с такой категорией классической эстетики, как категория возвышенного. Сценическому речевому искусству, принадлежащему официальной ветви советской художественной культуры, оказалась свойственна именно торжественная эстетика (ср.: «Оптимистическая трагедия», «Последний решительный» Вс. Вишневского). Патетика советского речевого искусства имела социальную, агитационную опору и служила инструментом партийной идеологии. А. Синявский отмечал: «Социалистический реализм исходит из идеального образца, которому он уподобляет реальную действительность. Наше требование – правдиво изображать жизнь в ее революционном развитии ничего другого не означает, как призыв изображать правду в идеальном освещении, давать идеальную интерпретацию реальному, писать должное как действительное. Ведь под «революционным развитием» мы имеем в виду неизбежное продвижение к коммунизму, к нашему идеалу, в преображающем свете которого и предстает перед нами реальность. Мы изображаем жизнь такой, какой нам хочется ее видеть и какой она обязана стать, повинаясь логике марксизма» [2. С. 50]. В сценическом речевом искусстве, принадлежащем официальной ветви советской культуры, это стремление нашло свое выражение в идеальной интерпретации реальной действительности. Изображение жизни в ореоле «революционного развития», утверждение наступления «светлого будущего», акцентирование героических по-

ступков создавали почву для культивирования торжественной эстетики, актуализации пафосного звучания. Внутренним эмоциональным основанием для мелодики воодушевления социально-идеологической природы служила не эмпирически найденная актером, а внушенная действующей идеологией оценка событий действительности.

Третий принцип социалистического реализма (*принцип народности*) также проявился в сценическом речевом искусстве, принадлежащем официальной ветви советской художественной культуры, через *ценностную установку «внешнее изящество (или благозвучие)»*. Эта ценностная установка соотносится с произносительным благозвучием, указывает на эстетизм формы. Казалось бы, *принцип народности* должен блокировать *ценностную установку «внешнее изящество (или благозвучие)»*, традиционную для сценического речевого искусства. Однако он внес лишь редакцию в ее понимание и содержательное значение благозвучия речевого искусства, скорректировал выбор репертуара и тип чтеца (тип лирического героя).

Таким образом, ценностные установки (заметим, имеющие крепкую связь друг с другом) *«однозначность смысла»*, *«пафосная воодушевленность»*, *«внешнее изящество (или благозвучие)»* выразили позиции социалистического реализма в тех секторах речевой культуры в целом и сценического речевого искусства в частности, которые принадлежали официальной ветви художественной культуры советского периода. Названные ценностные установки в одной из своих работ мы аргументировали как дифференцированные критерии, предназначенные для выявления образцов речевого искусства, соответствующих системе стандартов «Парадигма красноречия» (риторическому типу) (см.: [3]). Здесь подчеркнем, что в данном случае указанные ценностные установки также выполняют функцию критериев, позволяющих определить принадлежность образца к определенному типу речевого искусства. *«Однозначность смысла»*, *«пафосная воодушевленность»*, *«внешнее изящество (или благозвучие)»* являются одновременно и ценностными установками и критериями. Рассмотрим подробнее указанные ценностные установки и те каноны, которые утвердились в соответствии с ними в сценическом речевом искусстве, принадлежащем ветви советской официальной культуры.

Ценностная установка «однозначность смысла» и технологический канон «приоритет текста»

Так, *ценностная установка «однозначность смысла»* получала реализацию, прежде всего, посредством канона «приоритет текста». (В скобках заметим, что жесткая идеологическая регламентация, свойственная этому периоду, обуславливает использование термина «канон».) Действие этой ценностной установки начиналось уже на этапе выбора литературного текста, далее проявлялось в процессе его воплощения, выражалось в сценическом стиле и получало завершение в театральной критике. Как известно, отбор текстов для публичного звучания (в спектакле, на эстраде, в кинематографе) подвергался серьезной фильтрации, проверялся на соответствие принятому идеологическому курсу. Содержание литературных текстов обязано было отвечать избранным мировоззренческим положениям – идейным принципам строитель-

ства коммунизма. Этот подход изначально обуславливал приоритет текста как такового в процессе сценического воплощения.

Нужно заметить, что истоки формирования канона «приоритет текста» следует искать даже не в ранней театральной традиции, а в предшествующей ей церковной декламации. И здесь в самый раз привести пример тех областей речевого искусства, в которых сохраняется не только приоритет, но абсолютный пиетет перед текстом (словом-первоисточником). Уточним, что имеем в виду церковную декламацию, в которой и в настоящее время слово-первоисточник решает все. В церковной декламации любой конфессии чтение духовных текстов требует главенства слова над индивидуальным отношением того, кто его произносит. Для того чтобы не уйти от главной линии своих рассуждений (то есть от речевой культуры и сценического речевого искусства советского периода), избежим подробных исторически подкрепленных доводов, но аргументируем свою мысль фактами современной культуры. Приведем примеры из духовно-религиозной культуры, которые на первый взгляд могут показаться анахронизмами, а также не имеющими ничего общего с культурой социалистического реализма. Однако в размышлениях о каноне «приоритет текста» действенна аргументация образцами, убедительно демонстрирующими обусловленность пиетета перед словом, идеей, идеологией. В светской культуре начала XXI столетия примеры такого рода найти довольно трудно, в то время как речевое искусство, относимое к духовно-религиозной культуре, содержит примеры пиетета перед текстом. Так, в настоящее время абсолютное почтение к тексту (слову-первоисточнику) подтверждают не конкурсы художественного чтения (имеющие место в светской культуре), а конкурсы чтецов Корана в мусульманской культуре (крайне популярные сейчас!) (см.: [4]), а также и деканальные съезды чтецов в культуре католичества. На значимость и главенство духовного текста указывают Положения международных конкурсов чтецов Корана и высказывания участников деканальных съездов чтецов. Так, одна из участниц четвертого деканального съезда чтецов в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (г. Кемерово, март 2014 г.) отмечает: «Чтец – это пророк в современном мире, выходя к амвону, его задача донести Божье Слово всем людям – он говорит не от себя, а то, что уже сказал Бог. Донести Бога... И здесь важно все: твой внешний вид и твои жесты, то, как ты говоришь, или поешь, но самое главное твое осознание — ты читаешь Его послание к народу» [5]. Если в церковной декламации действие канона «приоритет текста» обосновано духовно-религиозной идеей, то в случае со сценическим речевым искусством советского периода (светским, но идеологически ориентированным) – социалистическим мировоззрением. Как видим, и в том и в другом случае (и в церковной, и в светской областях коммуникации) следование канону «приоритет текста» продиктовано функцией трансляции содержащихся в тексте идейных смыслов. В контексте метода социалистического реализма названный канон решает задачи продвижения, популяризации, пропаганды совершенно определенного и конкретного мировоззрения и, конечно, несет в себе однозначность смысла. Если в обстоятельствах церковной коммуникации необходимость в выборе текста отсутствует (это Коран и Библия), то в условиях сценического речевого искусства, принадлежащего ветви советской официаль-

ной культуры, поиск текста в опоре на требование популяризации идеалов социализма и коммунизма актуален. В связи с этим важно отметить, что предпочтение при выборе текста для сценического воплощения отдавалось стихотворному, прозаическому и публицистическому материалу, имеющему абсолютно ясную идеологическую направленность и однозначную позицию. Наряду с каноном «приоритет текста» ценностная установка «однозначность смысла» получала реализацию и благодаря канону «иллюстративность».

**Ценностная установка «однозначность смысла»
и технологический канон «иллюстративность»**

Значимость в государственной системе ревностно охраняемой идеологии, задачи продвижения, популяризации идеалов социализма и коммунизма оказали влияние на язык (его лексику, синтаксис), а уже через него на устную речь и ее сценическую реализацию. Как уже было отмечено выше, об изменениях в языке советского периода написано немало работ. Этот аспект привлек внимание исследователей уже в 1920-е гг., и нашел отражение в публикациях по лингвистической советологии, в которых предметом изучения послужила языковая политика в СССР.

Так, например, любопытны выводы известного лингвиста С.И. Ожегова относительно особенностей языка советского периода. В статье «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», указывая на некоторые явления в истории русской лексики послереволюционного периода, он отмечал, что необычайное развитие получили новые устойчивые словосочетания. По убеждению С.И. Ожегова, они отражали «новые оттенки мысли, новые отношения действительности (*проверка исполнения, дело чести, чувство нового, поджигатели войны, темпы роста, резервы производства, новатор производства, мастер чего-нибудь*, например *мастер меткого выстрела, производственный ритм, узловые вопросы, торговая сеть, полевой стан, не сдавать темпов, успокаиваться на достигнутом, делиться опытом, подхватить инициативу*)» [6]. Все приведенные устойчивые словосочетания содержат явную смысловую идеологическую окраску и доподлинно передают социально-культурный контекст советского периода. Конечно, не только идеологически окрашенные слова и обороты выражали ментальность советского периода. Однако именно они использовались особенно часто и в связи с этим выполняли функцию активного словарного запаса, а значит, задавали ракурс в отношении к действительности. Безусловно, особенности ритмического и фонетического строя слов и устойчивых оборотов, составляющих активный словарный запас языка, влияют на интонационно-мелодические особенности звучащей речи, на стиль сценического речевого искусства. Факт актуализации такого рода устойчивых словосочетаний не мог не отразиться на идеологизации советского сценического речевого искусства. Правда, в указанной статье «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху» С.И. Ожегов не касается этого вопроса, анализ черт идеологии в сценическом речевом искусстве не входил в его задачи.

Этот аспект косвенно раскрывается в работе С. Якобсона и Г.Д. Лассвелла «Первомайские лозунги в Советской России (1918–1943)». Авторы статьи,

анализируя первомайские лозунги, выявляют так называемые «символы действия». Они отмечают: «**Символы действия** – глаголы и выражения, использующиеся в заявлениях, требующих участия аудитории: *Победа, победный, Успех, Да здравствует...! Долой...! <...>* Некоторые лозунги адресованы определенным группам. Именно это, по-видимому, усиливает воздействие на аудиторию ("адресация", "обращение"). Другое средство "интенсивности", "усиления воздействия на аудиторию" – использование "обвинения" или "одобрения" вместо "утверждения как факта"» [7]. Далее авторы формулируют шесть категорий, относимых к символам действия, которые для размышлений о речевой культуре в целом и о сценическом речевом искусстве советского периода в частности содержат особый интерес. Во-первых, названные символы действия подтверждают факт идеологизации сценического речевого искусства (и здесь, как видим, не только **принцип конкретности** и **ценностная установка «однозначность смысла»**, но и **принцип партийности** с его **ценностной установкой «пафосная воодушевленность»** играли значимую роль). Во-вторых, указанные С. Якобсоном и Г.Д. Лассвеллом символы действия позволяют удостовериться в правомерности канонов, действующих в области технологии сценического речевого искусства, принадлежащего ветви официальной культуры советского периода. Дело в том, что в мастерстве актера XX столетия (имеющего прямое отношение к сценическому речевому искусству) именно категория «действие» постепенно заняла ведущую позицию (правда, заметим, немаловажен и сам характер действия). Приведем символы действия так, как они сформулированы С. Якобсоном и Г.Д. Лассвеллом:

- «I. Описание: "1 Мая – праздник трудящихся"
- II. Одобрение: "Да здравствует коммунистическая партия России"
- III. Обвинение: "Долой армии империализма"
- IV. Призыв: "Внимательно следите за заговорами наших врагов"
- V. Адресация: "Рабочие, крестьяне, красноармейцы..."
- VI. Самоидентификация: "...Коммунистическая партия России – партия рабочего класса, партия Ленина"» [7].

При условии осведомленности развития педагогики сценической речи нетрудно прийти к выводу, что символы действия, выявленные лингвистами С. Якобсоном и Г.Д. Лассвеллом в первомайских лозунгах, очень близки мировоззренческим основам части сценического речевого искусства советского периода. Например, в очерках развития советского искусства художественного чтения Н.Ю. Верховский отмечал в 1950 г.: «В условиях все большего распространения марксизма-ленинизма <...> советские чтецы стали активными участниками культурной революции, научились глубоко осмысливать и толковать исполняемые ими произведения в духе советской социалистической идеологии» [8. С. 7.] Как видим, по своему эмоциональному посылу выводы лингвистов С. Якобсона и Г.Д. Лассвелла совпадают с замечаниями театрального критика, исследователя искусства художественного слова Н.Ю. Верховского. Кроме того, названные С. Якобсоном и Г.Д. Лассвеллом символы действия («описание», «обвинение», «одобрение», «призыв») имеют свои аналоги в технологиях обучения мастерству актера и сценической речи. Они зафиксированы в учебных пособиях XX столетия как так называемые

«простые речевые задачи», к которым относятся действия: «описать», «обвинить», «одобрить», «призвать». Закономерным следствием опоры на простые речевые задачи становится иллюстрация текста, иллюстрация авторского сюжета. «Канон «иллюстративность» утвердился в сценическом речевом искусстве, принадлежащем ветви советской официальной культуры, и выражал себя через наглядное озвучивание текста, его «показ» изобразительно-выразительными средствами голоса и речи.

Здесь хотелось бы уточнить, что под иллюстративностью сценического речевого искусства мы понимаем повествовательность, сосредоточенность на сюжете как на основном объекте внимания при сценической трансляции авторского текста. Именно сюжет воспринимается в первую очередь и поэтому выступает как наиболее легко «считываемый» смысл, а значит, как поверхностный слой текста. Сосредоточенность на сюжете отчасти обуславливал литературоцентризм, влияние которого обеспечивало самодостаточность авторского слова. Иллюстративность звучащего слова в системе координат парадигмы красноречия выступала в качестве нормы. В речевом искусстве канон «иллюстративность» подвергся мощной ревизии лишь в XX столетии, при оформлении новой системы стандартов – парадигмы драматизма. Однако в речевом искусстве любого культурно-исторического периода всегда находятся образцы, главная ценность которых состоит в иллюстрации сюжета, а значит, в трансляции легко «считываемого» смысла, поверхностного слоя текста.

В образцах сценического речевого искусства, принадлежащих ветви советской официальной культуры, иллюстративный подход состоял в озвучивании художественного текста с акцентом на определенных словах, речевых тактах (словосочетаниях, фразах), транслирующих ценности социализма без глубинного вникания в его довербальные связи. Упрощенно иллюстративный подход продемонстрирован в кинофильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (режиссер Элем Климов). Вспомним ту сцену, в которой дети учат стихи о лагере. В этот момент директор лагеря – товарищ Дынин (которого играет актер Евгений Евстигнеев) делает замечание относительно выразительности произнесения текста: «Мы бодры, веселы». Он формулирует свое замечание как риторический вопрос, обращенный к детям: «“Бодры” надо говорить бодрее, а “веселы”?»). И здесь догадливый мальчишка отвечает: «Веселее!». Если это перевести на язык методики речевого обучения, то мы имеем дело с буквальным пониманием смысла текста, с примером иллюстративного подхода к его сценическому воплощению. Подчеркнем, канон «иллюстративность», реализуемый посредством простых речевых задач и отражающий *ценностную установку «однозначность смысла»*, формирует стиль образцов речевой культуры и сценического речевого искусства, принадлежащих ветви советской официальной культуры.

Ценностная установка «внешнее изящество (или благозвучие)» и технологический канон «интонационно-мелодическая простота»

Прежде всего, заметим, что «внешнее изящество (или благозвучие)» в ряде опубликованных нами работ используется как критерий идентификации образцов сценического речевого искусства риторического типа. По отноше-

нию к образцам речевой культуры и искусства официальной ветви советской культуры этот критерий также актуален. Правда, как и отмечалось уже в начале статьи, **принцип народности** внес коррекцию в понимание традиционной *ценностной установки* «*внешнее изящество (или благозвучие)*». В контексте принципов социалистического реализма в соответствии с **принципом народности** требования детальной проработанности интонационно-мелодической стороны звучания, ее вычурности, изощренности, утонченности (традиционно значимые для сценического речевого искусства) утратили актуальность. Задача выражения времени и реализация установок официальной советской культуры уже потребовали соотнесения понятия «благозвучие» с такими качествами звучащего слова, как простота, естественность и гармоничность. И если при анализе речевого искусства французского театра «Комеди Франсез», отличающегося риторичностью, уместнее использовать вариант «внешнее изящество», то по отношению к речевому искусству, принадлежащему ветви советской официальной культуры, более применим термин «благозвучие» (или «эстетизм формы»). Но и в том и в другом варианте именовании этого критерия («внешнее изящество (или благозвучие)»), характеризующего риторический тип, общим является опора на красоту тембра, широту динамического и звуковысотного диапазонов. И дело вот в чем: ориентация на предельную ясность мысли, приоритет литературного текста, его сценическое воплощение средствами иллюстрации, курс на формирование волевого посыла сужают спектр внутренних эмоциональных переживаний, обедняют диапазон актерских поступков и содержат в себе опасность повторяемости и однообразия звучащей речи. В подобных условиях воздействие на зрителя при помощи слова, удержание его внимания возможны лишь при наличии яркой актерской личности, могучего сценического темперамента, сильного (физически здорового) голосо-речевого аппарата и красивого природного тембра. Благозвучие (красота тембра, широта динамического и звуковысотного диапазонов) в условиях иллюстративного подхода к сценическому воплощению авторского текста словно выполняет компенсаторную функцию, как бы возмещая недостаток актерской импровизации, восполняя купированный процесс возникновения, развития мысли-слова и чувства-слова в момент сценического исполнения.

Ориентация на благозвучие при осмыслении особенностей сценического речевого искусства, принадлежащего ветви советской официальной культуры, обусловлена его соотнесенностью с эстетикой и идеологией. Эстетическими и идеологическими опорами благозвучия, определяющего специфику образцов сценического речевого искусства, принадлежащих ветви советской официальной культуры, служат две категории: категория прекрасного и категория возвышенного. Во-первых, в советский период категория прекрасного оказалась востребованной материализмом, получившим чрезвычайную популярность в художественной культуре. «Много внимания проблеме прекрасного уделяла марксистско-ленинская эстетика, акцентировавшая внимание на общественно-трудовой природе красоты и манифестировавшая смысл эстетической деятельности в преобразовании действительности «по законам красоты»; красота определялась как «совершенное в своем роде», как «соотнесение с общественным идеалом», как высшая эстетическая ценность; доказыва-

лась историческая, социальная, этническая относительность прекрасного» [9. С. 141]. Полагаем, в этом высказывании ключевым является соотнесенность красоты с общественным идеалом, обусловившим социальную направленность ветви советской официальной речевой культуры и искусства. Ориентация советской цензуры на родственность дефиниций «красота» и «общественный идеал» позволяла воспринимать в качестве официально одобренного сценического искусства лишь варианты чистого звучания голоса (т.е. лишённого хрипоты, осиплости) и безупречного произношения (с точки зрения оформления согласных и гласных). Поэтому в соответствии с требованиями советской официальной культуры «зеленый свет» зажигался для актеров с красивыми (приятными для слуха) тембрами, комфортной для восприятия и понимания речью. Повторим, что комфорт восприятия соотносился уже не с изощренностью мелодики, а в большей степени с природной красотой самого тембра и естественным и органичным оформлением согласных и гласных звуков.

Требование естественности и простоты оказалось доминирующим не только в отношении мелодики звучащей речи, но также лексики и синтаксиса. Эту мысль наглядно демонстрирует реплика героя повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» – Шарикова (словно представляющего собой гиперболизированный портрет господствующего класса советского периода – пролетариата). Разливая водку по рюмкам, Шариков огрызнулся: «Вот всё у вас как на параде, – заговорил он, – салфетку – туда, галстук – сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. / – А как это «по-настоящему»? – позвольте осведомиться. Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнёс: – Ну, желаю, чтобы все...» [10. С. 66]. Обратим внимание на противопоставление сравнений «как на параде» и «по-настоящему». Речевые средства взаимно почтительного общения, ранее естественные для дворянской культуры, Шариков соотносит с «царским режимом» или с парадом (т.е. с торжественным, организованным смотром). В ментальности нового господствующего класса Советской России прежняя (дворянская) речевая культура видится уместной лишь в парадном контексте. При этом такие речевые средства рассматриваются как искусственные, ведь они не органичны, не свойственны новому господствующему классу. Подлинность, искренность (в выражении Шарикова – «по-настоящему») видится в неприхотливости (даже примитивности – «Ну, желаю, чтобы все...») синтаксического оформления мысли. Эта неприязательность синтаксиса обуславливает простоту мелодики сценического речевого искусства, точнее – легализацию в нем интонационно-мелодических конструкций, принадлежащих повседневной речи. В противопоставлении сравнений «как на параде» и «по-настоящему» точно сформулировано разграничение, разделение на торжественные и будничные голосо-речевые средства выразительности. Поскольку парад в СССР проходил лишь несколько раз в год, то для пролетарской культуры естественность, подлинность, искренность речевого искусства соотносились с лексикой, синтаксисом и мелодикой повседневной речи. Доминирование позиций пролетарской культуры скорректировало понимание

благозвучия в сценическом речевом искусстве, определило канон «интонационно-мелодическая простота».

В речевой культуре и сценическом речевом искусстве этот канон поддерживался и категорией «положительный герой» (как правило, «человек из народа»). Особенности речи положительного героя советского периода, безусловно, проявлялись и в драматическом спектакле, и в кинематографе, и в художественном чтении (у лирического героя). Речь положительного героя советского периода обязана была отвечать бытовым повседневным нормам произношения, т.е. соответствовать канону «интонационно-мелодическая простота». Как видим, социалистический реализм, **принцип народности** обусловили соотнесение *ценностной установки «благозвучие»* с каноном «интонационно-мелодическая простота». Этот канон действовал в образцах сценического речевого искусства, принадлежащих ветви советской официальной культуры.

Ценностная установка «пафосная воодушевленность» и канон «интонационно-мелодическая торжественность»

Еще одним важным ориентиром в создании образцов советского речевого искусства служила *ценностная установка «пафосная воодушевленность»*. Она повлияла на оформление другой нормы сценического речевого искусства, принадлежащего ветви советской официальной культуры, а именно определила канон «интонационно-мелодическая торжественность». Казалось бы, этот канон вступает в противоречие с каноном «интонационно-мелодическая простота». Однако это не так и обе названные нормы как нельзя точнее отражают особенности образцов рассматриваемой ветви речевого искусства. Эти образы в одних случаях тяготели к простоте, в других – к эпидейктическим (торжественным, возвышенным, воодушевляющим) речам, а в третьих – сочетали в себе и то и другое. О простоте говорилось выше, что же касается близости эпидейктическим речам, то именно эта особенность проявлялась в исполнительском речевом искусстве, в особенности при воплощении художественных произведений, которые отличались ярко выраженной идеологической и социальной ориентацией. «Эпидейктическая речь – это речь показательная; обращенная к внеязыковой действительности, дающая представление о морали и антиморали; в основе которой лежит ритуал и правила речевого этикета» [11]. Сплочение и воодушевление, являющиеся главными функциями такой речи, абсолютно точно соответствуют задачам речевой культуры и речевого искусства соцреализма. Здесь необходимо вспомнить противопоставление сравнений «как на параде» и «по-настоящему». Главные ценности Советского государства требовали от трансляции торжественности для того, чтобы адресаты (те, к кому обращено искусство) испытали чувство единства, осознали себя частью единой общности, частью коллектива. Интонационно-мелодическая торжественность обуславливалась серьезностью, соответствием официальной политике государства, приданием значимости и важности утверждению общечеловеческих или нравственных ценностей. Канон «интонационно-мелодическая торжественность» соотносился с проявлением социально окрашенного, страстного, душевного подъема.

В образцах речевой культуры и речевого искусства, принадлежащих официальной ветви советской художественной культуры, отчетливо заметны и установка на однозначность мысли, и курс на благозвучие, и стремление к пафосной воодушевленности. Приведем подобный пример речевого искусства. Речь пойдет об исполнении стихов известным актером Василием Качаловым в прологе к фильму «Путевка в жизнь» (режиссер Николай Экк, 1931). Интересно, что о звучащем слове в этом фильме можно найти достаточно высказываний. В 1931 г. Б. Алперс оценил его как довольно прогрессивное: «В фильме Н. Экка впервые в кино (если не считать хроникального фильма "Промпартия") слово использовано по правильному пути. Оно введено здесь как слово-положение, а не как случайная иллюстрация или простая разговорная речь. Слово отмечает опорные моменты драматического действия и помогает раскрытию образов действующих лиц. Оно вводит в кино принцип драматического развертывания образа – искусство, доступное в немом фильме только немногим мастерам и то в чрезвычайно ограниченной дозе» (цит. по: [12]). А вот уже в 1970-е гг. С. Фрейлих охарактеризовал чтение В.И. Качалова в этой картине как приподнятое вступление (т.е. пронизанное пафосом): «Фильм возник на рубеже двух эпох киноискусства: немом и звукового. Говорящая картина не порывает связи с поэтикой немом кино. Звучащее слово не мешает изображению, слово то и дело само становится изображением – в надписях: надпись возникает то как эпитафия к эпизоду, то представляет зрителю действующее лицо и актера. Картина начинается обращением к зрителю, это своеобразное посвящение, написанное белым стихом, читает артист В.И. Качалов» (цит. по: [13]). Мы привели высказывания, относящиеся к началу (1931 г.) и ко второй половине (1971 г.) XX столетия. Чтение, оцененное известным критиком в 1930-е гг. «не как случайная иллюстрация», в период 2000-х воспринимается как абсолютная иллюстрация. Вслушиваясь в чтение Василия Качалова сегодня и глядя на кадры фильма Н. Экка «Путевка в жизнь», отметим немаловажное в контексте наших рассуждений обстоятельство – чтение стихов предваряется титрами: «Народному артисту республики Качалову слово». Уже эти титры указывают на близость приведенного примера речевого искусства к риторическому типу. Василий Качалов и в самом деле возникает в кадре как оратор, яркий и сильный – олицетворение положительного героя. Как известно, главная задача социалистического реализма, связанная с реализацией принятых идеологических установок (с воспитанием социалистического, революционного взгляда на мир), решалась через художественную категорию «положительный герой». Образ положительного героя формировали такие черты, как преданное служение идеалам коммунизма и социалистического общества, прогрессивность, целеустремленность, бескомпромиссность. Названные черты нашли свое воплощение в образе, который создан Качаловым. Возможно, создание этого образа и послужило Б. Алперсу основанием для характеристики речевого искусства Василия Качалова «не как случайной иллюстрации».

Здесь речевое мастерство В.И. Качалова, во-первых, компенсирует недостаток актерской импровизации, восполняет купированный процесс возникновения, развития мысли-слова и чувства-слова в момент сценического исполнения. Во-вторых, стиль речевого искусства Качалова абсолютно сов-

падает с признаками парадигмы красноречия в речевом искусстве (см.: [14]), правда, и текст стихов как таковой располагает к риторике.

Чтение Качалова фундаментально, емко и... иллюстративно. Через него презентуется идеологически выверенный и утвержденный образец отношения к явлениям действительности. И образ Качалова в целом, и его речевое искусство в частности как образец – это мощная, могучая, осуществляющая за всем контроль сила советской идеологии. В приведенном варианте речевого искусства можно отчетливо рассмотреть установку «однозначность смысла», характерную для речевого искусства официальной ветви советской художественной культуры. Здесь В.И. Качалов высказывается как положительный герой. Это означает не от себя (от человека Василия Качалова), а от имени (используем термин лингвориторики) совокупной языковой личности этносоциума. А.А. Ворожбитова отмечает: «Культура речи совокупной языковой личности этносоциума есть манифестация качественных характеристик лингвориторической картины мира, образующей концептуальную схему официально господствующего дискурса, воплотившего пафосное априори политической эпистемы» [15]. Заметим, что такой стиль речевого мастерства окажется свойственным многим образцам речевого искусства вплоть до последней четверти XX столетия.

Таким образом, характерными для образцов речевой культуры и речевого искусства, принадлежащих официальной ветви советской художественной культуры, является не только *ценностная установка на «однозначность смысла»*, но и ориентация на *«пафосную воодушевленность»* и *«внешнее благозвучие»*. Эти установки находили свое проявление в таких нормах, как канон «приоритет текста», канон «иллюстративность», канон «интонационно-мелодическая простота», канон «интонационно-мелодическая торжественность».

Наличие и проявление названных *ценностных установок* («однозначность смысла», «пафосная воодушевленность», «внешнее благозвучие») и *канонов* («приоритет текста», «интонационно-мелодическая простота», «иллюстративность», «интонационно-мелодическая торжественность») в конкретном примере речевого искусства способно служить идентификации образцов речевой культуры и речевого искусства, принадлежащих официальной ветви советской художественной культуры. Иными словами, указанные установки и каноны целесообразно использовать в качестве критериев советского речевого искусства официальной ветви советской культуры. Кроме того, в соответствии с этими критериями рассматриваемые образцы речевой культуры и речевого искусства советского периода представляют парадигму красноречия, риторического типа.

Литература

1. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Лингвистическая советология [Электронный ресурс]. Екатеринбург, 2009. 274 с. URL: <http://www.philology.ru/linguistics2/budaev-chudinov-09.htm>
2. Терц Абрам (А.Д. Синявский). Что такое социалистический реализм // Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля / сост. Е.М. Великанова. М., 1989. С. 425–460.
3. Прокопова Н.Л. Культурно-историческая обусловленность критериев оценки речевого искусства риторического типа // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 381. С. 101–107.

4. IX Московский международный конкурс чтецов Корана [Электронный ресурс]. URL: <http://muslim.msk.ru/articles/120/2129/>
5. Комолова Н. Провозглашение Божьего Слова [Электронный ресурс] // Сайт Католическая община Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария. URL: <http://catholic.tomsk.ru/2014/03/11/html-1>
6. Ожегов С.И. Основные черты развития русского языка в советскую эпоху [Электронный ресурс] // Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. С. 20–36. URL: <http://www.philology.ru/linguistics2/ozhegov-74d.htm>
7. Якобсон С., Лассвелл Г.Д. Первомайские лозунги в Советской России (1918–1943) [Электронный ресурс] // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2007. Вып. (1) 21. С. 123–141. URL: <http://www.philology.ru/linguistics2/yakobson-lasswell-07.htm>
8. Верховский Н.Ю. Книга о чтецах. М.; Л. 1950. 284 с.
9. Бычков В.В. Эстетика: краткий курс. М.: Проект, 2003. 384 с.
10. Булгаков М.А. Собачье сердце: повесть. Ханский огонь: рассказ. М.: Современник, 1988. 112 с.
11. Шаталова С.В. Эпидейктические жанры речи: автореф. дис. . канд. филол. наук. Ярославль, 2009. 22 с. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dissercat.com/content/epideikticheskie-zhanry-rechi#ixzz3V5qkeRyW>
12. Алперс Б. Путевка в звуковое кино [Электронный ресурс] // Сов. искусство. 1931. 28 мая. № 27(99). Электрон. версия печат. публ. URL: [http://old.russiancinema.ru/template.php?dept_id=15&e_dept_id=1&e_person_id=1245"&HYPERLINK](http://old.russiancinema.ru/template.php?dept_id=15&e_dept_id=1&e_person_id=1245)
13. Фрейлих С. Николай Эрк [Электронный ресурс] // 20 режиссерских биографий. М., 1971. С. 76. Электрон. версия печат. публ. URL: http://old.russiancinema.ru/template.php?dept_id=15&e_dept_id=1&e_person_id=1245
14. Проконова Н.Л. Парадигмы сценической речевой культуры XX столетия. Кемерово; Москва: Изд. объединение «Российские университеты»: Кузбассвузиздат – АСТШ, 2008.
15. Ворожбитова А.А. «Официальный советский язык» периода великой отечественной войны: лингвориторическая интерпретация [Электронный ресурс] // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 2. Язык и социальная среда. Воронеж, 2000. С. 21–42. URL: <http://www.philology.ru/linguistics2/vorozhbitova-00.htm>

SPEECH CULTURE IN THE CONTEXT OF SOCIALIST REALISM

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 35–49. DOI: 10.17223/19986645/39/4
 Prokopova Natalia L., Kemerovo University of Culture and Arts (Kemerovo, Russian Federation).
 E-mail: n_prokopova@kemnet.ru

Keywords: speech culture, Soviet official culture, socialist realism method, value orientations, logic and style canons, intonation and melodic canons.

The part of the Soviet speech culture which corresponds to the positions of socialist realism is studied. Value orientations and technological canons of speech culture caused by the method of socialist realism are discussed. The differentiated criteria intended for the development of the models of speech culture corresponding to the positions of socialist realism are formulated. A sample of the Soviet speech art is analyzed.

The empirical material of the study is stage speech art of the official branch of Soviet culture. The author explains the urgency of the comprehension of the stage speech art of the Soviet period by the absence of a scientific reflection on this issue and by the timeliness of its reconsideration. The author's previously developed typology of public speech culture is used as the methodological support of this research. This typology proves that stage speech art of the official branch of Soviet culture is of the rhetorical type.

The purpose of the article is to formulate the logic-stylistic and intonation-melodic canons of stage speech art of the official branch of Soviet culture. The principles of socialist realism and the value orientations of stage speech art are analyzed. The possibility of applying the value orientations of stage speech art as criteria for the identification of rhetorical type models is argued. The correspondence between the general principles of socialist realism, the value orientations of stage speech art and its technological canons is established in the publication. The author determines the meaning of the term "canon" in connection with speech culture and stage speech art, establishes and justifies the tech-

nological canons connected with the logic and style of stage speech art, argues the action of four canons: “the priority of text”, “illustrative quality”, “intonation-melodic simplicity”, “intonation-melodic solemnity”. The results of linguistic studies are used for the substantiation of the logic-stylistic and intonation-melodic canons of stage speech art. The connection of vocabulary and syntax of stage speech is emphasized.

The article testifies to the early formation of the “priority of text” canon, explains the principle of its implementation in speech culture and in stage speech art. The author pays special attention to the argumentation of the “illustrative quality” canon. The technology of the illustrative approach use in the stage representation of the author’s text is described in the article. The author proves the connection between using simple speech tasks in the work with the text and the illustrative style in stage speech art.

References

1. Budaev, E.V. & Chudinov, A.P. (2009) *Lingvisticheskaya sovetologiya* [Linguistic sovietology]. Ekaterinburg. [Online]. Available from: <http://www.philology.ru/linguistics2/budaev-chudinov-09.htm>.
2. Terts, A. (Sinyavskiy, A.D.). (1989) Chto takoe sotsialisticheskiy realizm [What is socialist realism]. In: Velikanova, E.M. *Tsena metafory ili Prestuplenie i nakazanie Sinyavskogo i Danielya* [Price of metaphor, or Crime and Punishment of Sinyavsky and Daniel]. Moscow: SP “Yunona”.
3. Prokopova, N.L. (2014) Cultural-historical conditionality of assessment criteria for speech arts of the rhetorical type. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 381. pp. 101–107. (In Russian).
4. IX Moscow International Quran Recitation Contest. [Online]. Available from: <http://muslim.msk.ru/articles/120/2129/>. (In Russian).
5. Komolova, N. (2014) *Provozglashenie Bozh'ego Slova* [Proclamation of the Word of God]. [Online]. Available from: <http://catholic.tomsk.ru/2014/03/11/.html-1>.
6. Ozhegov, S.I. (1974) Osnovnye cherty razvitiya russkogo yazyka v sovetskuyu epokhu [The main features of the development of the Russian language in the Soviet era]. In: Ozhegov, S.I. *Leksikologiya. Leksikografiya. Kul'tura rechi* [Lexicology. Lexicography. Culture of speech]. Moscow. [Online]. Available from: <http://www.philology.ru/linguistics2/ozhegov-74d.htm#1>.
7. Yakobson, S. & Lasswell, G.D. (2007) Pervomayskie lozungy v Sovetskoy Rossii (1918–1943) [May Day slogans of the Soviet Russia (1918–1943)]. *Politicheskaya lingvistika*. (1)21. pp. 123–141. [Online]. Available from: <http://www.philology.ru/linguistics2/yakobson-lasswell-07.htm>.
8. Verkhovskiy, N.Yu. (1950) *Kniga o chtetsakh* [Book on Readers]. Moscow–Leningrad: Iskustvo.
9. Bychkov, V.V. (2003) *Estetika: kratkiy kurs* [Aesthetics: a short course]. Moscow: Proekt.
10. Bulgakov, M.A. (1988) *Sobach'e serdtse: Povest'. Khanskiy ogon': Rasskaz* [Dog's Heart: The Story. Khan's Fire: The Story]. Moscow: Sovremennik.
11. Shatalova, S.V. (2009) *Epideikticheskie zhanry rechi* [Epideictic speech genres]. Abstract of Philology Cand. Diss. Yaroslavl. [Online]. Available from: <http://www.dissercat.com/content/epideikticheskie-zhanry-rechi#ixzz3V5qkeRyW>.
12. Alpers, B. (1931) Putevka v zvukovoe kino [Start in sound cinema]. *Sovetskoe iskusstvo*. 28 May. 27(99). [Online]. Available from: http://old.russiancinema.ru/template.php?dept_id=15&dept_id=1&e_person_id=1245.
13. Freylikh, S. (1971) Nikolay Ekk [Nikolay Ekk]. In: Churova, M.A. (ed.) *20 rezhisserskikh biografiy* [20 film directors' biographies]. Moscow: Iskustvo. [Online]. Available from: http://old.russiancinema.ru/template.php?dept_id=15&e_dept_id=1&e_person_id=1245.
14. Prokopova, N.L. (2008) *Paradigmy stsenicheskoy rechevoy kul'tury XX stoletiya* [Paradigms of stage speech culture of the 20th century]. Kemerovo; Moscow: Rossiyskie universitety: Kuzbassvuzizdat – ASTSh.
15. Vorozhbitova, A.A. (2000) “Ofitsial'nyy sovetskiy yazyk” perioda velikoy otechestvennoy voyny: lingvoritichesкая interpretatsiya [“Official Soviet language” of the Great Patriotic War: linguistic-historical interpretation]. *Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika*. 2. pp. 21–42. [Online]. Available from: <http://www.philology.ru/linguistics2/vorozhbitova-00.htm>.

УДК 811.161.1'42

DOI: 10.17223/19986645/39/5

Т.Г. Рабенко, Н.Б. Лебедева

К СООТНОШЕНИЮ ЖАНРОВ ЕСТЕСТВЕННОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА «ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ»)

В статье исследуется функционирование жанра «письмо в редакцию» в естественной письменной речи и художественном дискурсе. Письмо в редакцию, будучи эпистолярным жанром с присущими ему жанрообразующими признаками, при включении в публицистический дискурс приобретает элементы публицистического стиля. Художественная версия письма, придерживаясь формально-структурных канонов жанра, эксплицирует художественно значимые элементы, которые отвечают художественно-изобразительным задачам автора.

Ключевые слова: речевой жанр, первичный речевой жанр, вторичный речевой жанр, естественная письменная речь, художественный дискурс, письмо в редакцию.

Цель предпринимаемого исследования – описать функционирование речевого жанра (далее РЖ) «письмо в редакцию» в различных коммуникативных сферах: в условиях естественной письменной речи (далее ЕПР) и художественном дискурсе, выявить то, каким образом реализуются жанровые признаки данного РЖ в обозначенных коммуникативных сферах, или, иначе, каким образом коммуникативная сфера функционирования РЖ отражается на его жанровых свойствах.

В качестве фактологического материала исследования выступают: (1) реальное письмо в редакцию районной газеты «Знамя Ильича» (г. Заринск Алтайский край, март 1998 г., автор – Владимир) и (2) письмо в редакцию районной газеты главного героя (Ивана Петина) рассказа В.М. Шукшина «Раскас» (1967 г.). Последнее квалифицируется нами как вторичный РЖ. Известно, что вторичные РЖ «возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого культурного общения <...>. В процессе формирования они вбирают в себя и перерабатывают различные первичные жанры» [1. С. 161–162]. Вторичный РЖ, будучи онтологически производным от первичного, отличается от последнего сферой функционирования или стилистической обработкой (о художественной репрезентации РЖ см.: [2, 3, 4].

В качестве рабочей гипотезы выдвигается положение о том, что пребывание исследуемого РЖ в лоне художественного текста отражается на его специфике: само существование РЖ «письмо в редакцию», его жанровая структура предопределяются авторским идейно-художественным замыслом, а отбор языковых средств реализации РЖ осуществляется с учетом художественно обусловленных намерений, хотя жанровые признаки письма, идентифицирующие данный РЖ, сохраняются.

В основе описания РЖ «письмо в редакцию» лежит коммуникативно-семиотическая модель жанров ЕПР (см.: [5, 6, 7]), структура которой близка к

фреймовой структуре типа ситуатемы (понятие ситуатемы см. в работе [8. С. 35]. Коммуникативно-семиотическая модель имеет своей целью учесть максимальное число факторообразующих компонентов ситуации и ориентирована на выделение материальных и социальных элементов как релевантных для этого вида речевой деятельности жанрообразующих признаков.

Заявленный в качестве объекта исследования эпистолярный материал рассматривается как жанровое воплощение «народной (или наивной) публицистики», поскольку это произведения, «написанные не публицистами-профессионалами, а родившиеся в гуще масс и выражающие их понимание событий, мнения, интересы, стремления, настроения, чувства» [9. С. 3]. Авторы писем («наивные публицисты») ориентируются на образцы (публицистические тексты), не обладая при этом навыками профессионального публициста.

Поводом для написания этих писем послужило одно и то же событие, обыкновенный житейский случай: и тот и другой герой брошены неверной женой. Авторы как будто приглашают к диалогу на эту житейскую тему, обращаясь к читателям районной газеты. Подобное поведение героев объяснимо. Советское время было особым временем, когда слепая вера русского человека в печатное слово была особенно велика (как тут не вспомнить знаменитое «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» В. Высоцкого). В советском тоталитарном обществе пресса «выполняла те функции, которые в западных правовых обществах играют другие социальные институты – гражданский суд, система социальной адаптации и социальной защиты, институты социальной помощи» [10. С. 5]. Советская пресса воспринималась массовым читателем не только как источник информации; любой печатный орган мыслился и как высшая инстанция, «начальство», к которому можно обратиться за помощью, говоря при этом на особом, официальном языке. Сила власти такого начальства мифологизировалась, оно наделялось способностью все знать, понимать и решать любые проблемы (в том числе проблемы сугубо личного характера). «Магическая сила печатного слова <...> в равной мере разделялась и правящей элитой, и «массой», и работниками прессы, и теми, кто ее читал» [11. С. 25]. А.А. Потебня, рассуждая о мифе, писал, что в наивном, мифологическом («простонародном») сознании «человек не только не отделяет слова от мысли, но даже не отделяет слова от вещи» [12. С. 206], «между родным словом и мыслью о предмете <...> такая тесная связь, что <...> изменение слова казалось непременно изменением предмета» [13. С. 124].

Подобное восприятие прессы характерно и для авторов рассматриваемых писем. Оказавшись в непростом положении, оба героя пытаются справиться с драматической ситуацией и пишут в итоге письмо в редакцию «районки»: *Иван... частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?! (2). Вот читаю нашу районку и думаю про тех женщин, что пишут то брошенная, то обиженная... (1)*¹.

¹ Сохраняются авторская орфография и пунктуация.

Создавая текст письма, авторы исходят из нескольких целеустановок: во-первых, необходимость сообщить о себе, своем жизненном факте формирует цель установления, регулирования отношений (информативно-фатическая цель): *Пускай они прочитают... там (2), Меня зовут Владимир и опишу о себе... (1)*;

во-вторых, необходимость выразить свои эмоции по поводу произошедшего события, выразить публично возмущение (эмотивно-оценочная цель) и получить в итоге моральное облегчение (релаксирующая цель): – *...А зачем вам нужно это печатать? – Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно. – Что это даст? Облегчит ваше... горе? (2)*;

в-третьих, необходимость повлиять на поведение адресата (функция воздействия): убедить редактора напечатать «хоть в крадце» (1) письмо.

Успешной реализации данных целеустановок способствует умение автора убедить адресата в правильности авторской позиции, в необходимости действовать именно так, как предлагает автор письма. Стремление автора убедить адресата в правильности позиции, необходимости решения обозначенной в письме проблемы является основной задачей эпистолярно-публицистического жанра [14. С. 239], решение которой во многом зависит от характера обоснования суждений автора. В качестве лингво-когнитивной основы РЖ «письмо в редакцию» выступают модели аргументации и информирования, отражающие стереотипные представления носителей русского языка о способах информирования, экспозиции суждений о морально-этических ценностях русского человека: *как объяснить женщин, которые лгут и путем этим добиваются успеха что ли; я не узнал ее как надо не подружили, а с бухты борахты не семья, а тем боле в наше развратное время (1); Да мало ли красивых – все бы из дому бегали! ...Увирую вас хоть я и лысый, но кое-кого тоже мог ба поприжать, потому што в рейсах всякие встречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходей людям... Эх, учили вас учили государство деньги на вас тратила, а вы теперь сiali нашею обществу и радешеньки! Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што они там наладят новую? Нету (2)*.

Письмо в редакцию является вербализованным компонентом ситуации, в которой увязаны иллокутивный и перлокутивный планы. С одной стороны, письмо в редакцию – это речевое явление, результат речевой деятельности, с другой стороны, данный РЖ выходит за рамки речевой деятельности, поскольку он вписывается в определенную коммуникативную ситуацию и предполагает воздействие на восприятие некоего события другим человеком (другими людьми). Следовательно, обозначенный РЖ преследует неречевую цель, являясь элементом целостной коммуникативной ситуации, в которую входит контекст речевого общения. В итоге письмо в редакцию позволяет решать некие актуальные ситуативно обусловленные задачи, связанные с осуществлением речевого (потребность в информировании о некоем факте, событии) и, как следствие, неречевого (необходимость решения некой проблемы: через предание всеобщей огласки осуждение обидчиков) действия.

Будучи вербализованной в письменной форме речемыслительной деятельностью, письмо в редакцию характеризуется выражением глобальных категорий текстового уровня. Среди них категория диалогизма [15. С. 9]. В качестве эпистолярного жанра письмо в редакцию является такой моделью коммуникации, где информация не просто передается как высказывание, сообщение источника речи, направленное к ее получателю. Данный процесс оказывается более сложным, поскольку речевая деятельность в исследуемом РЖ обуславливает необходимость ориентироваться не на непосредственного участника общения, находящегося в общем с адресантом пространственно-временном континууме, а на предполагаемого получателя (получателей) текста, которым, в случае публикации письма на страницах газеты, является:

а) читательская аудитория газеты (массовый адресат) [16. С. 8–9], имеющая разный запас знаний и разный социокультурный опыт. *Вот и решайте как верить и как выбирать, и стоит ли вообще печатать эти бессмысленные объявления*, – восклицает в сердцах автор письма, обращаясь к читателям (1); *Теперь смотрите, что получается...* (2).

б) редактор газеты, в которую направлено письмо (формальный адресат): *как посмотрите как решите, но напечатайте хоть в крадце* (1); *С приветом, Иван Петин* (2).

При художественной актуализации РЖ становится возможным и непосредственный диалог героя с редактором:

– *Я расказ принес*, – сказал Иван.

– *Рассказ?* – удивился редактор. – *Ваш рассказ? О чем?*

– *Я тут все описал*. – Иван подал тетрадку;

в) человек/группа людей, к которым в действительности обращено речевое намерение автора письма (целевой адресат): вероятно, в рассказе В.М. Шукшина это жена главного героя и офицер, который «*семью тут себе «смонтировал»: Пускай они прочитают там... Я найду их... И пошлю. Эх вы!.. Вы думаете, еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу*», в письме Владимира – «*стройная симпатичная*» и, возможно, женщины, «*которые лгут и путем этим добиваются успеха что ли*».

Как следствие этой пространственно-временной разделенности участников коммуникации монологическая по своей природе типовая ситуация «общение читателя с редактором газеты» по формальным признакам приближается к диалогическому общению, устанавливается отложенный (асинхронный) диалог. При этом выявляется ряд основных:

1) адресатных высказываний с личными местоимениями 1-го, 2-го лица и/или глаголами 1-го лица настоящего и прошедшего времени: *читаю и думаю, опишу о себе, остался я один, долго не решался что либо предпринять, меня зовут Владимир* (1); *я приезжаю, я не буду пересказывать, я забыл, я шофер, я не лиходею людям, я ей грубога слова никогда не сказал* (2);

2) адресатных синтаксических средств: а) высказываний с личными местоимениями 2-го, 3-го лица и глаголами 2-го, 3-го лица: *посмотрите, решите, напечатайте* (1), *учили вас учили а вы теперь сяди на шею..., ...она вильнула хвостом* (2), б) высказываний, характеризующих целевого адресата: *стройная симпатичная создательница семьи хранительница очага семейного*

(1), *похожая на какую-то артистку, она дурочка не понимает:....а уж ей самой тридцать лет* (2).

В системе категорий текстового уровня, реализуемых в исследуемом РЖ, прослеживается категория персональности, выражаемая средствами самопрезентации, – реализуемой в процессе межличностного общения способности автора повлиять на то, каким его увидит адресат, способности вмешательства в процесс формирования своего образа у собеседника. Самопрезентация предполагает представление субъекта речи в определенном свете, привлечение на свою сторону собеседника, манипулирование им, выражение своего отношения к окружающему миру с присущей субъекту речи системой ценностей [17. С. 73]. Потребность в предъявлении себя другим является одной из фундаментальных социальных потребностей человека, вследствие чего самопрезентация в письме может рассматриваться как коммуникативная стратегия воздействия на адресата.

Самопрезентация авторов письма осуществляется на содержательном и формально-языковом уровнях [15. С. 10].

Стратегия самопрезентации на содержательном уровне – это информирование о себе: своих успехах, талантах, положительных, на взгляд автора, морально-этических качествах: *по натуре я спокойный, спиртным не увлекаюсь, не курю, (косвенно) мои грядки... мое хозяйство... разрешал и веселится и принимать гостей* (1); *у меня у самого три ордена и четыре медали, я ей грубого слова никогда не сказал, за рулем меня никто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся*. В художественном тексте воссозданию образа героя способствует и авторский комментарий, беря на себя функцию информирования об адресате: *Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание, а также содержание записки, оставленной женой: ...больше с таким пеньком я жить не могу*, – все это отчасти объясняет совершенный его женой поступок.

Самопрезентация в письме на формально-языковом уровне реализует воздействие путем демонстрации коммуникативной компетенции. В качестве средств речевого воздействия риторические вопросы *как объяснить таких женщин* (1); *А если сказать кому что он на Гитлера похожий, то что ему тогда остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? А вдруг она чьянибудь жена? Не дура она после этого?* (2); вопросно-ответная форма и ирония: *как вы думаете кто в качестве невесты. Моя стройная, симпатичная, хранительница очага семейного* (1), *А у ей есть полная уверенность, что они там наладят новую <жизнь>? Нету* (2), существование которых предопределено экстралингвистически (стремлением автора письма самому разобраться в ситуации, привлечь читателей на свою сторону, высказать обиду).

Общаясь публично, авторы, несмотря на драматичность ситуации, стараются «сохранить свое лицо» и не нарушать принцип вежливости: о бросивших их женах говорят: *стройная, симпатичная* (1), *Она вообще то не дура. У меня сердце к ей приросло* (2). Однако в письме Ивана звучит угроза в адрес обидчика, хотя автор письма не сознается в своих угрожающих намере-

ниях: *Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал.*

Коммуникативная ситуация «общение читателя с редактором газеты» является для авторов основой ориентировки в коммуникативном событии. Через опознание типа коммуникативной ситуации происходит формирование коммуникативной пресуппозиции, на основе которой участники общения «строят свое коммуникативное поведение в соответствии с нормами и правилами поведения в данном типе коммуникативных событий» [17. С. 49], демонстрируя тем самым умение адекватно ситуации ориентироваться в коммуникативном пространстве и эффективно строить коммуникативное поведение: *Вот читаю нашу районку и думаю про тех женицин, что пишут то брошенная, то обиженная... Но вот как объяснить таких женицин которые лгут и путем этим добиваются успеха чтоли. ...не знаю как посмотрите как решите, но напишатайте хоть в крадце (1); <Иван> На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?! (2).*

Обозначенная коммуникативная ситуация, в свою очередь, вписывается в более широкий социокультурный контекст – некие фоновые знания как форма осмысления действительности, связанная с оцениванием происходящего события (подобное поведение жены аморально и нуждается в общественном порицании), – детерминированный общекультурным контекстом – традиционно выработанными в культуре шаблонами письменной передачи информации. Отталкиваясь от общепринятого образца, адресант, исходя из коммуникативной ситуации и социоконтекста, выбирает соответствующую форму воспроизведения данного жанра, в том числе соответствующий для этого РЖ субстрат (тетрадный лист) как коммуникативно значимый элемент структуры текста ЕПР.

В тексте писем прослеживается влияние газетного языка, столь характерное для массового читателя в целом. У авторов писем сформировано представление о том, как пишутся статьи, иными словами, в жанровом сознании рядовых авторов есть модель жанра. Авторы писем пытаются подражать газетным текстам, ориентируясь на газетный язык, используют отдельные его элементы в своих письмах: *Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сiali на шею обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке... Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу...А гусударство деньги на её тратила – учила. Ну, и где ж та учеба? Её же плохому-то не учили. При этом Ивану нравилось, как он пишет... (2); Вот читаю нашу районку и думаю про тех женицин, что пишут то брошенная, то обиженная... (1).*

Естественно, что ориентация авторов письма в газету на публицистический дискурс в наибольшей степени проявляется на уровне словоупотребления. Оба автора озаглавливают свой текст, следуя известным жанровым образцам: «Крик души или рекламная невеста» (1) и «Раскас» (2): *Он <Иван> частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. По-*

этому на замечание редактора *Это не рассказ*, Иван возражает: *Почему? Я читал, так пишут*. При создании собственного текста авторы наиболее активно используют именно те языковые средства, которые восприняты ими при чтении газет и осознаются как отличительные признаки газетно-публицистического стиля: газетные штампы, книжная лексика: *Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сяди на шею обществу и радешеньки! А гусударство в убытке... А гусударство деньги на ее тратила – учила. <...> У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант... Он отличник боевой и политической подготовки <...> ... я давно бы уж был ударником коммунистического труда (2); По воле бога остался я один, долго не решался что либо предпринять... по натуре я спокойный спиртным не увлекаюсь (1)*. Для того чтобы придать впечатление особой значительности высказывания, авторы писем активно используют одну из основных черт публицистического стиля – собирательность как выражение духа коллективизма: они пишут о себе, своих конкретных проблемах, но в отвлеченной форме. Личным проблемам придается характер всеобщих: *Да мало ли красивых – все бы бегали из дому! Эх учили вас учили Мы гусударству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я счас пишу ... В жизни всяко бывает, бывает иной рас слабость допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить – зачем же так? (2), думаю про тех женщин, что пишут то брошенная, то обиженная..., с бухты боракты не семья, а тем более в наше развратное время (1)*.

В социально неоднородной среде, каковой является ситуация обращения читателя в газету, происходит, по словам Л.П. Крысина, взаимное приспособление участников коммуникативной ситуации, которое «может касаться (1) набора языковых средств; (2) правил их использования в данной ситуации; (3) тактик речевого общения; (4) при контактном общении – невербальных компонентов его (жестов, мимики, телодвижений и т.п.)» [18. С. 317–318]. См., к примеру:

Редактор захохотал.

Иван стиснул зубы.

– Ах, славно! – воскликнул редактор. И опять захохотал так, что заколыхался его упругий животик.

– Чего славно? – спросил Иван.

Редактор перестал смеяться... Несколько даже смутился.

– Простите... Это вы о себе? Это ваша история?

– Моя.

– Кхм... Извините, я не понял.

– Ничего. Читайте дальше.

Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен и ему все-таки смешно. И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы трубочкой.

«Для всех четырех типов коммуникативного приспособления имеет значение различие коммуникантов по признакам «свой – чужой» и «выше – ниже» (в некоторой социальной и возрастной иерархии)» [18. С. 317–318].

Включаясь в публичный дискурс, исследуемый РЖ в обеих своих реализациях, помимо признаков публицистических жанров (публичная сфера, массовый адресат, наличие заглавия «Крик души или рекламная невеста» / «Раскас», особые лексические средства), сохраняет определенную специфику, свойственную эпистолярным РЖ. Сохранены внешние признаки эпистолярного РЖ (так называемая эпистолярная рамка, см. [19. С. 5]): текст письма формализован границами, фиксирующими начало (*Значит было так: я приезжаю – на столе записка (2); Вот читаю нашу районку и думаю (1)*) и конец письма (подпись: *Все (1)*);

С приветом.

Иван Петин. Шофер I класса (2).

Кроме того, в архитектонике обоих писем прослеживаются сходные структурно-содержательные черты:

- изложение произошедшего события и его авторская оценка: *Эх вы!.. это тоже неправильно ... я этого не делаю (2), наше развратное время (1)*,
- характеристика обидчицы: *стройная, симпатичная / укатила... создательница семьи, хранительница очага семейного (1), похожая на какую-то артистку / Ну не дура! ...малость чокнутая (2)*,
- формулировка авторской просьбы: *Напечатайте хоть в крадце (2)*. Непосредственно авторская интенция героя В.М. Шукшина выражается в диалоге героя с редактором:
 - *Вы хотите, чтоб мы это напечатали?*
 - *Ну да.*
- самопрезентация,
- один и тот же «философский тезис»: *Всякое в жизни бывает (1) / В жизни всяко бывает (2)*,
- запрос реакции как апеллятивный компонент дискурса: *Как верить и как выбирать, и стоит ли вообще печатать эти бессмысленные объявления (1) / Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глядят. Так? (2)*. При этом один из распространенных способов запросить реакцию адресата – риторические вопросы: *Как же так можно? Ну не дура ли она после этого? Откуда у нее пустозвонство в голове (2) / как объяснить таких женщин... (1)*, а также вопросно-ответная форма (запрос реакции и стремление навязать свою позицию): *как вы думаете кто в качестве невесты. Моя стройная, симпатичная, хранительница очага семейного (1); А у ей есть полная уверенность, што они там наладят новую? Нету (2)*.

Присутствие подобных адресатно-ориентированных синтаксических средств (риторических вопросов и вопросно-ответной формы), нейтрализуя пространственно-временную дистанцированность адресанта и адресата, позволяет автору в имплицитной форме призывать адресата (редактора) к неким действиям, которые следует совершить, чтобы исправить сложившуюся неблагоприятную ситуацию: напечатать письмо – предать гласности произошедшее – призвать к публичному осуждению поступка жены – тем самым повлиять на формирование общественного мнения – (у В.М. Шукшина) заставить вернуться жену (*Может, она вернется*).

В языковом оформлении писем можно заметить некоторое сходство. Недостаточно хорошо владея знанием кодов переключения регистров языка, необходимым для успешного достижения целей коммуникативного акта, авторы по-своему оперируют средствами других регистров языка, прежде всего, разговорно-просторечного с активным использованием лексических и фразеологических средств экспрессивности (последнее в большей степени характеризует героя В. М. Шукшина): *районка, укатила, с бухты борахты не семья (1) / Ну не дура! сделала такой финт ушами; скакать, как блоха на зеркале, малость чокнутая; засветить промеж глаз, вильнула хвостом и др. (2)*. В обоих письмах наблюдаются несовпадения написания с кодифицированными и конвенциональными нормами, что характерно для жанров ЕПР.

Однако письмо в редакцию как вторичный РЖ обнаруживает определенную специфику. Являясь композиционной частью литературного произведения, письмо подчиняется задачам выражения эстетической информации и, как следствие, включается в общий смысл текстового целого. Будучи композиционно-сюжетным элементом художественного повествования (эпистолярным инклюзивом. См. [19. С. 3]), письмо служит для изображения письменного общения в условиях вымышленного мира художественного произведения, где контекстуальное окружение берет на себя часть семантической нагрузки, связанной с репрезентацией участников общения – самого героя, его жены, редактора (описание внешности героев, особенностей их характеров и др.), и коммуникативной ситуации (описание события, повлекшего написание письма, условия создания письма, обсуждение написанного с редактором газеты): читатель становится свидетелем обстоятельств создания письма, обуславливающих причину его появления: *Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало – противно. Бросил. На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?! В прагматический контекст включаются невербальные элементы, которые расширяют возможности непосредственного представления героя: Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул «гусударство*.

В рамках естественной письменной коммуникации с ее редукцией прагматического контекста подобное невозможно, здесь вся смысловая нагрузка ложится на текст письма. Тематически текст письма усиливается за счет заголовка (главным образом первой его части): *Крик души или рекламная невеста*.

При включении письма в художественное произведение В.М. Шукшин использует те элементы эпистолярной формы, которые отвечают художественно-изобразительной задаче автора: при сохранении формально-структурных признаков жанра в содержании письма эксплицируются художественно значимые элементы: объяснение причин, по которым автор (Иван) обращается к письму (герой выбирает письменную форму общения потому, что она наиболее адекватна его психологическому состоянию: *Очень мне сейчас обидно, поэтому я пишу свой раскас*), собственное видение ситуации через разъяснение мотива совершенного женой проступка, ее осуждение,

наконец, собственные переживания по поводу произошедшего события. Содержание письма, наряду с авторским повествованием, становится важнейшим средством косвенной характеристики персонажа.

Таким образом, письмо в редакцию как эпистолярный РЖ ЕПР обладает рядом жанрообразующих признаков, свойственных жанровым формам этого вида письменно-речевой деятельности: письменная форма, непрофессиональный автор, субстрат (бумага – тетрадный лист), композиционные признаки (наличие формальных границ, свидетельствующих о начале и конце письма). В итоге, включаясь в публицистический дискурс, РЖ «письмо в редакцию» сохраняет определенную специфику, свойственную эпистолярным РЖ. Однако присутствуют и элементы публицистического стиля: особые целеустановки автора (в письме выражается стремление автора побудить адресата к неотложным, активным действиям в связи с предметом обсуждения); массовый адресат, газетная лексика, установка на публичную сферу коммуникации.

В целом письма обнаруживают сходство на всех уровнях их жанровой организации: композиционном (структура письма), тематическом (сообщение о произошедшем событии и его оценивание), стилистическом (разговорно-просторечная лексика, газетизмы, несовпадения написания с кодифицированными и конвенциональными нормами). Тем не менее выявляется и некоторая специфика вторичного РЖ. Художественная репрезентация письма в структуре рассказа играет особую художественную роль. Будучи художественно ориентированным, оно помогает прояснить концепцию жизни главного героя, лучше понять его характер (*Эх вы!.. Вы думаете, если я шофер, дак я ничего не понимаю?*), за угрюмостью и молчаливостью героя увидеть его истинное содержание. В.М. Шукшин не случайно выбрал эту жанровую форму, ибо именно письмо ярче всего повествует о душе человеческой.

Литература

1. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Собр. соч. М., 1997. Т. 5. С. 161.
2. Рабенко Т.Г. Клятва как фидеистический речевой жанр // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2010. № 13 (194). Вып. 43. Филология. Искусствоведение. С. 122–126.
3. Рабенко Т.Г. Сплетня: юмористический профиль жанра (на материале рассказа А. Аверченко «Сплетня») // Изв. Сарат. гос. ун-та. Нов. сер. Филология. Журналистика. 2013. Т. 13, вып. 3. С. 45–50.
4. Рабенко Т.Г. Жанр утешение и средства его языковой реализации // Вестн. Кем. гос. ун-та. 2012. №4. С. 107–111.
5. Лебедева Н.Б. Естественная письменная русская речь как объект лингвистического исследования // Вестн. Барнаул. гос. пед. ун-та. 2001. № 1. С. 4–10.
6. Лебедева Н.Б. Русская речевая личность и принципы ее типологизации (на примере образов художественной литературы) // Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-ориентированное обучение / под ред. Н.Д. Голева, Н.В. Сайковой, Э.П. Хомич. Барнаул; Кемерово, 2006. С. 204–226.
7. Лебедева Н.Б., Зырянова Е.Г., Плаксина Н.Ю., Тюкаева Н.И. Жанры естественной письменной речи: студенческое граффити, маргинальные страницы тетрадей, частная записка. М., 2011. С. 8–61.
8. Лебедева Н.Б. Полиситуативность глагольной семантики (на материале русских префиксальных глаголов): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2000. 53 с.
9. Прохоров Е.П. Эпистолярная публицистика. М., 1966. 60 с.
10. Акопов А.И. Аналитические жанры публицистики: Письмо. Корреспонденция. Статья: учеб.-метод. пособие для студентов-журналистов. Ростов н/Д. URL: 1996http://www.studfiles.ru/preview/2366516/

11. Козлова Е.А. Речевой акт в жанре письмо редактору // Вестн. Волж. ун-та им. В.Н. Татищева. 2012. Вып. № 1(9). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-akt-v-zhanre-pismo-redaktoru>.
12. Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. С. 206.
13. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 124.
14. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000. 312 с.
15. Аргашикова С.Х. Дискурсивно-стилистические характеристики жанра «письмо редактору» (на материале англоязычного публицистического дискурса): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2010. 28 с.
16. Никитина Е.А. Речевой жанр писем читателей в газеты (на материале эмигрантских и советских газет 20-х гг. XX в.): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013. URL: <http://diss.seluk.ru/av-jazykoznanie/759114-1-rechevoy-zhanr-pisem-chitateley-gazeti-na-materiale-migrantskih-sovetskih-gazet-20-h-v.php>.
17. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2012.
18. Крысин Л.П. Речевое общение в социально неоднородной среде // Русский язык сегодня. Вып. 1 / отв. ред. Л.П. Крысин. М., 2000. С. 317–321.
19. Кустова О.Ю. Письмо как самостоятельный текст и композиционная часть художественного произведения (на материале творчества Теодора Фонтане): автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1998. 18 с.

ON THE CORRELATION OF GENRES OF NATURAL AND ARTISTIC DISCOURSES: SETTING THE PROBLEM (IN THE GENRE “LETTER TO THE EDITOR”)

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 50–61. DOI: 10.17223/19986645/39/5
 Rabenko Tatiana G., Lebedeva Natalia B., Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation)
 E-mail: tat.rabenko@yandex.ru / nlebedevab@yandex.ru

Keywords: speech genre, primary speech genre, secondary speech genre, natural written speech, artistic discourse, letter to the editor.

The aim of the undertaken study is to describe the functioning of the speech genre “letter to the editor” in different communicative spheres: in natural writing and in artistic discourse, to show how the genre features of this genre are implemented in the designated communicative spheres, or, otherwise, how the communicative sphere of the speech genre functioning reflects in its genre properties.

Two letters to the editor are the evidence basis of the research: a real letter to the editor of a regional newspaper and its artistic version, presented in Shukshin’s story “Raskas”. The latter qualifies as a secondary speech genre, and, accordingly, as ontologically derived from its primary version, different in its functioning and stylistic processing.

The research hypothesis is that the presence of the speech genre in the literary text is reflected in its specificity: the existence of the speech genre “letter to the editor” and its genre structure are predetermined by the author’s ideological and artistic conception, and the selection of language means implementing the speech genre is based on the artistic purposes, although genre signs of the letter identifying the speech genre are preserved.

The description of the speech genre “letter to the editor” is based on the communicative-semiotic model of natural writing genres, the structure of which is close to the frame structure of the situatetheme type. With the aim of taking into account the maximum number of situation components, the communicative and semiotic model is focused on the selection of material and social elements as relevant genre forming features for this kind of speech activity.

The letter to the editor as an epistolary genre with its genre features (e.g., border formalization fixing the beginning and the end of the letter) acquires features of the journalistic style (special author’s purpose, mass target, newspaper vocabulary, aim at the public communication sphere) when it enters the journalistic discourse.

The architectonics of both letters shows similar structural and content features: presentation of a past event and its author’s evaluation, an offender’s description, wording of the author’s request, elements of self-presentation, request for a response as the appellative component of the discourse.

Similar to the natural writing version, the artistic letter, built according to the formal and structural genre canons, expresses artistically significant elements that correspond to the artistic and figurative author’s task (explanation of the reasons for which the author refers to the letter, his own vision of the situation by explaining the wife’s motive, his own feelings about the past event). Being artistically oriented, the letter helps to clarify the concept of the character’s life and understand his character.

References

1. Bakhtin, M.M. (1997) Problema rechevykh zhanrov [The problem of speech genres]. In: Bakhtin, M.M. *Sobraniye sochineniy* [Collected Works]. Vol. 5. Moscow: Russkie slovari.
2. Rabenko, T.G. (2010) Klyatva kak fideisticheskii rechevoy zhanr [Oath as a fideistic speech genre]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 13(194):43. pp. 122–126.
3. Rabenko, T.G. (2013) Gossip: Humorous Genre Type (on the Material of the Story by A. Averchenko "Gossip"). *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistska*. 13:3. pp. 45–50.
4. Rabenko, T.G. (2012) Consolation genre and the means of its language implementation. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 4:4. pp. 107–111. (In Russian).
5. Lebedeva, N.B. (2001) Estestvennaya pis'mennaya russkaya rech' kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya [Natural written Russian speech as an object of linguistic research]. *Vestnik Barnaul'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. 1. pp. 4–10.
6. Lebedeva, N.B. (2006) Russkaya rechevaya lichnost' i printsipy ee tipologizatsii (na primere obrazov khudozhestvennoy literatury) [Russian speech person and the principles of its typology (in fiction imagery)]. In: Golev, N.D., Saykova, N.V. & Khomich, E.P. (eds) *Lingvopersonologiya: tipy yazykovykh lichnostey i lichnostno-orientirovannoe obucheniye* [Linguopersonology: language personality types and personality-oriented education]. Barnaul; Kemerovo: Barnaul State Pedagogical University.
7. Lebedeva, N.B. et al. (2011) *Zhanry estestvennoy pis'mennoy rechi: studencheskoe graffiti, marginal'nye stranitsy tetradey, chastnaya zapiska* [Genres of natural writing: students' graffiti, marginal pages of notebooks, a private note]. Moscow: Krasand.
8. Lebedeva, N.B. (2000) *Polisituativnost' glagol'noy semantiki (na materiale russkikh prefiksial'nykh glagolov)* [Polysituativity of verbal semantics (based on Russian prefixed verbs)]. Abstract of Philology Dr. Diss. Tomsk.
9. Prokhorov, E.P. (1966) *Epistolyarnaya publitsistika* [Epistolary journalism]. Moscow: Moscow State University.
10. Akopov, A.I. (1996) Analiticheskie zhanry publitsistiki. Pis'mo. Korrespondentsiya. Stat'ya [Analytical genres of journalism. Letter. Correspondence. Article]. Rostov-on-Don. [Online]. Available from: <http://www.studfiles.ru/preview/2366516/>.
11. Kozlova, E.A. (2012) Speech act in genre "letter to the editor". *Vestnik Volzhskogo universiteta imeni V.N. Tatishcheva*. 1(9). [Online]. Available from: <http://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-akt-v-zhanre-pismo-redaktoru>. (In Russian).
12. Potebnya, A.A. (1989) *Slovo i mif* [Word and myth]. Moscow: Pravda.
13. Potebnya, A.A. (1976) *Estetika i poetika* [Aesthetics and poetics]. Moscow: Iskusstvo.
14. Tertychnyy, A.A. (2000) *Zhanry periodicheskoy pechati* [Genres of periodicals]. Moscow: Aspekt Press.
15. Argashokova, S.Kh. (2010) *Diskursivno-stilisticheskie kharakteristiki zhanra "pis'mo redaktoru" (na materiale angloyazychnogo publitsisticheskogo diskursa)* [Discursive stylistic characteristics of the "letter to the editor" genre (based on the English-language journalistic discourse)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Pyatigorsk.
16. Nikishina, E.A. (2013) *Rechevoy zhanr pisem chitateley v gazety (na materiale emigrantskikh i sovetskikh gazet 20-kh gg. XX v.)* [Speech genre of the readers' letters to the newspaper (based on emigration and Soviet newspapers of the 1920s)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow. [Online]. Available from: <http://diss.seluk.ru/av-jazykoznanie/759114-1-rechevoy-zhanr-pisem-chitateley-gazeti-na-materiale-emigrantskikh-sovetskikh-gazet-20-h-v.php>.
17. Issers, O.S. (2012) *Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi* [Communicative strategies and tactics of Russian speech]. Moscow: LKI.
18. Krysin, L.P. (2000) Rechevoe obshcheniye v sotsial'no neodnorodnoy srede [Speech communication in socially inhomogeneous medium]. In: Krysin, L.P. (ed.) *Russkiy yazyk segodnya* [Russian language today]. Vol. 1. Moscow: Azbukovnik.
19. Kustova, O.Yu. (1998) *Pis'mo kak samostoyatel'nyy tekst i kompozitsionnaya chast' khudozhestvennogo proizvedeniya (na materiale tvorchestva Teodora Fontane)* [Letter as an independent text and a composite part of the artwork (based on works by Theodor Fontane)]. Abstract of Philology Cand. Diss. St. Petersburg.

УДК 81'367.7

DOI: 10.17223/19986645/39/6

З.И. Резанова, С.В. Когут

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ

В статье решается проблема выявления роли этноязыковых и дискурсивных факторов, определяющих направленность функционирования дискурсивных единиц в научном тексте. Проблема решается на материале научных текстов, относящихся к различным этноязыковым системам и разным тематическим субдискурсам. Результаты анализа свидетельствуют о специфических способах представления научного знания в разных научных дисциплинах и о влиянии на данное своеобразие этноязыковой модели организации научного дискурса.

Ключевые слова: научный дискурс, дискурсивные маркеры, этноязыковая специфика, тематический субдискурс.

1. К постановке проблемы

Анализ дискурсивных единиц как особого функционального класса единиц, проведенный в рамках различных научных направлений – теории дискурса [1, 2, 3], теории грамматикализации [4. С. 19–13; 5. С. 383–395], теории лингвистической относительности [6], теории аргументации [7], выявил разные аспекты открытости этого класса единиц к дискурсивным условиям их функционирования, в первую очередь их обусловленность интенциональными установками говорящего.

В данном исследовании, говоря о дискурсивных единицах, мы будем употреблять термин «дискурсивные маркеры» (ДМ), следуя традиции использования данного термина в разных научных направлениях [1; 8. С. 4; 9; 10. С. 30–34; 11; 12. С. 129–139; 13 и др.]. При этом нами предполагается, что термин «маркер» указывает на то, что дискурсивная лексика используется в качестве ориентировочных сигналов, помечающих, т.е. маркирующих, структуру речи, выполняя при этом определенные функции: выражают структурную и смысловую связь между отрезками дискурса, которая делает возможным развитие темы и обеспечивает целостность текста; отражают прагматические функции, которые помогают не только устанавливать взаимосвязь с предыдущим контекстом, но и определяют характер отношений по сравнению с другими элементами контекста:

- *Проанализировав значение термина в разных словарях, можно сделать вывод, что...*
- *Однако повесть, несомненно, все же содержит рудименты романтизма.*
- *Обобщая все вышеизложенное, отметим, что в связи с исследуемой нами проблематикой уместным представляется...*

- **Итак**, эксперимент Гоголя, начатый еще в повестях «миргородского» цикла, завершается.
- Поэтому, **как мы уже упоминали выше**, живописец не сможет найти ни одной яркой индивидуальной черты.
- **Данные** по изучению микропримесей в арсенипиритах **представлены в табл. 2**.
- Серебро, **вероятно**, находится в природном сплаве с золотом.
- **Кроме того**, в результате изучения форм нахождения элементов примесей в главнейших сульфидах было установлено.
- *Durch diese Analysen wurden **einerseits** die Umweltverhältnisse für den Zeitraum vor der aktuellen Erwärmung um ca. 1850 und **andererseits** für ein Zeitfenster um Mitte des 21. Jahrhunderts simuliert.*
- *Das Untersuchungsgebiet liegt im Wienerwald etwa 20 km nordwestlich von Wien (Abb. 1).*
- **Darüber hinaus** lassen sich auch unterschiedliche Hangentwicklungsphasen nachvollziehen...
- Die Zusammensetzung in dieser Schicht wird **jedoch** zu etwa gleichen Anteilen aus Fein-, Mittel- und Grobschluff bestimmt.
- **Zum Beispiel** bezeichnet Gotidon Fulgencio Entrambosmares als...
- **Insbesondere** der letzte Satz lässt sich auch... anwenden.

Отметим, что в таком употреблении термин синонимизируется с термином «дискурсивные слова» в русскоязычной лингвистической традиции [14, 15] и термином «Gliederungssignale» в немецкоязычной лингвистической традиции [16. С. 6–13; 17], выступая в качестве гипонима термина «pragmatic markers» в определении Л. Бринтона [18] и Б. Фрейзера [19. С. 167–190].

Как показывают исследования в данной области [20. С. 85–101; 21. С. 151–196; 22. С. 150–180; 23. С. 211–247; 24. С. 136–157; 25. С. 1–17; 13], своеобразие научных текстов зависит от ряда факторов: этнокультурных (этнокультурные традиции организации коммуникации), дискурсивных, стилевых, жанровых (стилевые и жанровые нормы коммуникации), идеостилистических и т.д., а значит, и своеобразие в использовании дискурсивных единиц может быть мотивировано совокупным действием этих факторов.

Целью нашей работы является выявление параметров дискурсообразования, влияющих на выбор говорящими дискурсивных единиц, их типы, относительную продуктивность в научном тексте. Цель конкретизируется следующим образом. Мы выявляем, влияет ли на характер использования дискурсивных маркеров в тексте тип дискурса, в пределах которого он порождается, и более общие этно- и лингвокультурные особенности его порождения.

При этом в качестве объекта анализа нами избраны тексты научной коммуникации, возможность этнокультурного варьирования которых находится в настоящее время в сфере активной научной мультидисциплинарной дискуссии. Разные аспекты единства/вариативности научной коммуникации широко обсуждаются в разных направлениях гуманитарной мысли – философии, психологии, лингвистики. При этом в дискуссии актуализируются разные аспекты данного объекта: несовпадение концептосферы соответствующей

щих культур и языков, препятствующих взаимопониманию ученых [26. С. 231–259], своеобразие стилей научного мышления, и как отражение этих сторон научного познания и коммуникации – своеобразие строения текстов [27. С. 22–35]. Последние исследования в данной области убедительно доказывают, что научные тексты, написанные на разных языках, имеют специфику организации поверхностных структур [28, 29, 30, 31, 13 и др.]. В текстах, различающихся способами организации научного дискурса и способами выражения авторского отношения к излагаемому материалу, проявляются особые, национально специфичные стили научного мышления [27. С. 18–35].

Гипотеза. Мы полагаем, что: 1) одним из наиболее ярких показателей своеобразия стилей научного мышления могут служить дискурсивные маркеры текста. Дискурсивные маркеры могут быть проинтерпретированы не только как «техническое средство» строения текста, обеспечивающее его связность и логичность, но и как единицы, позволяющие проникать в стиль мышления и коммуникативных стереотипов ученого, составляющих значимый аспект научной картины мира; 2) тенденции в использовании дискурсивных маркеров могут быть обусловлены и частными различиями дискурсивного целеполагания, спецификой типовой тематики дискурса.

Теоретической предпосылкой данной гипотезы послужили теоретические положения, сформулированные еще в начале прошлого века К. Фосслером [32. С. 1–14, 33], и нашедшие развитие в современных дискурсивных исследованиях [34. С. 184–194 и др.], о том, что своеобразие текста обусловлено этноязыковыми и дискурсивными влияниями на пересечении импульсов, идущих от целеполагания научной коммуникации и этнокультурных коммуникативных моделей.

Данная гипотеза проверяется в работе, с одной стороны, сравнением дискурсивных маркеров и характера их использования в немецкоязычных и русскоязычных научных текстах аналогичной тематики (геологический дискурс), относящихся к одному жанру (статьи), написанных разными авторами, с другой стороны, сравнением вариантов использования дискурсивных маркеров в тематических субдискурсах научного дискурса: естественно-научном (геологический субдискурс) и научно-гуманитарном (литературоведческий субдискурс). При этом сравниваются тексты, порожденные в одной лингвокультуре и относимые к одному жанру.

Таким образом, сравнение использования дискурсивных маркеров проводится по двум параметрам:

1. Этнокультурная среда: немецкоязычная vs. Русскоязычная.
2. Тематический субдискурс: естественнонаучные vs. научно-гуманитарные тексты.

2. Материал исследования

Общий объем исследованного материала составляет около 37 тысяч словоупотреблений (около 18,5 тысячи словоупотреблений в каждом языке).

За основу были взяты тексты научных статей. Научная статья – ядерный жанр научного дискурса – письменного по основной форме репрезентации, в рамках которой происходит решение конкретной научной задачи. В качестве основной группы текстов, относительно которых проводилась сравнительная параметризация, были рассмотрены тексты научных статей по геологии на

русском языке, которые сравнивались с немецкоязычными статьями по геологии и текстами другого субдискурса – русскоязычными и немецкоязычными статьями по литературоведению.

Русский корпус

Было проанализировано пять русскоязычных научных статей по геологии (9170 слов) и три по литературоведению (9002 слова), опубликованных в сборнике «Известия Томского политехнического университета. Науки о Земле» (Столбова 2002, Кучеренко 2003, Вагина 2011, Ананьев 2012, Ворошилов 2012) и в «Вестнике Томского государственного университета. Филология» (Третьяков 2012, Скрипник 2013, Казаков 2012) соответственно.

Немецкий корпус

Было проанализировано пять статей немецкоязычных ученых по геологии (9506 слов) и две по литературоведению (9300 слов), опубликованных в сборниках статей федерального геологического управления г. Вены «Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt» (Haslinger 2008, Felderer 2008, Drescher-Schneider, Kellerer-Pirklbauer 2008, Damm, Therhorst 2008, Gawlick, Lein 2008) и в сборнике «Heidelberger Beiträge zur romanischen Literaturwissenschaft» (Lübbbers 2009, Neumann 2010) соответственно.

3. Методы анализа

При проверке гипотезы мы используем комплексную методологию, включающую приемы филологического анализа текста, на основе которого выявляются семантические и функциональные типы дискурсивных слов, приемы дискурсивного анализа – анализ проводится с учетом дискурсивных параметров текстообразования. В обработке данных применяются количественные методы анализа.

4. Результаты анализа

4.1. Количественный анализ

Первый параметр, по которому мы рассматриваем материал – насыщенность текста дискурсивными единицами, «плотность» ДМ в тексте, которая определяется процентным соотношением ДМ к общему лексическому составу текстов.

В проанализированных статьях по геологии соотношение ДМ к лексическому составу единиц в русскоязычных научных статьях – 1,7 %, в немецкоязычных – 0,9 % (табл. 1).

Таблица 1. Отношение ДМ к общему количеству слов (геологический дискурс)

Параметры	Русский корпус	Немецкий корпус
Общее количество слов	9170	9506
Общее количество ДМ и их % отношение к числу слов текста	161 (1,7%)	94 (0,9%)

Проведенный количественный анализ показал, что в пределах макродискурсивного единства научной коммуникации фактор этнокультурных традиций научной коммуникации оказывается более сильным, нежели субдискурсивные тематические различия. Различия в активности использования дискурсивных маркеров в различных субдискурсах одной лингвокультуры менее значимы: процентное соотношение использования ДМ и в русскоязычных

статьях по литературоведению и по геологии составляет 1,7 % к общему числу лексических единиц. Данная закономерность проявляется и в немецкоязычных тематических субдискурсах: процентное соотношение использования ДМ в литературоведческих статьях составляет 1% к общему числу лексических единиц, в геологических научных текстах – 0,9 % (табл. 2).

Таблица 2. Отношение ДМ к общему количеству слов

Параметры	Русский корпус		Немецкий корпус	
	Геологический дискурс	Литературоведческий дискурс	Геологический дискурс	Литературоведческий дискурс
Общее количество слов	9170	9002	9506	9300
Общее количество ДМ и их % отношение к числу слов текста	161(1,7%)	159 (1,7%)	94 (0,9%)	96 (1%)

Можно сделать вывод, что этноязыковой фактор оказывается в данном случае более значительным, нежели субдискурсивный.

Однако, на наш взгляд, количественный анализ может свидетельствовать лишь о самых общих тенденциях использования дискурсивных маркеров. Важно проследить семантические и функциональные типы функционирующих в текстах ДМ, характер их включения в организацию научного текста.

4.2. Семантический и функциональный анализ¹

В палитре функциональных типов дискурсивных маркеров при анализе текстов научного дискурса была выявлена значимость противопоставления трех типов ДМ, функционально соотнесенных с тремя базовыми элементами коммуникации Говорящим, Слушающим, Предметом сообщения: 1) маркеры, обеспечивающие связность текста; 2) маркеры, передающие отношение говорящего к сказанному; 3) маркеры, отражающие процесс взаимодействия говорящего и слушающего [36. С. 18–23].

4.2.1. ДМ, обеспечивающие связность текста

Как показал анализ, маркеры первой группы – обеспечивающие связность текста – являются ведущим средством коммуникативной организации анализируемых текстов. К данной группе относятся маркеры, указывающие:

- на порядок следования информации (*во-первых, во-вторых, наконец, erstens, zweitens, schließlich*);
- порядок расположения материала на странице или в тексте (*как говорилось выше, как уже отмечалось wie es oben gesagt twar, darum geht es weiter*);
- введение новой или дополнительной информации (*кроме того, заметим, что, außerdem, das bedeutet, dass..., bemerkenswert...*);

¹ Примеры таких классификаций см: [1, 16, 37].

- повтор информации или конкретизацию, разъяснение, перефразирование высказанной мысли (*другими словами, так сказать, таким образом, то есть, а именно, andersgesagt, also, demgemäß*);
- выделение и важность информации (*более того, особенно, следует отметить, уместно подчеркнуть, совершенно ясно, естественно, очевидно, несомненно, außerdem, mindestens, wenigstens, klar, dass..., offensichtlich, zweifellos*);
- противопоставление или отход от основной линии изложения (*однако, в отличие, с одной стороны, с другой стороны, тем не менее, между тем, при этом, aber, einerseits, andererseits, im Gegensatz*);
- введение примеров (*такие как, например, к примеру, для иллюстрации, zum Beispiel, solche, wie...*);
- вывод или заключение (*следовательно, в результате, итак, таким образом, also, zusammenfassend, schließlich*).

Общие особенности

Преобладание дискурсивных маркеров первой группы является общей характеристикой всех проанализированных текстов: немецкоязычных и русскоязычных, статей по геологии и литературоведению. Это важнейшая черта общности в организации текстов разных этнокультурных традиций и тематических субдискурсов. В среднем на маркеры этой группы приходится 68,4% всех употреблений в рассмотренных русскоязычных текстах и 78,9% в немецкоязычных.

Количественное преобладание и качественное разнообразие выражаемых значений и выполняемых функций дискурсивных маркеров этой группы в научных текстах соответствует общим закономерностям их использования в разных типах дискурсов. В литературе неоднократно отмечалось, что базовой функцией ДМ является обеспечение когезии и когерентности текста [1; 37. С. 1–35]. Активность использования ДМ в данной функции дополнительно стимулируется целеполаганием научного дискурса – установлением объективных закономерностей в разных предметных областях, своеобразием текстостроения, порождаемого в условиях данного целеполагания: в качестве базовых особенностей научного текста исследователями неоднократно отмечались его подчеркнутая логичность и связность [38, 39].

Этнокультурно обусловленные различия

Вместе с тем наблюдается и этнокультурно обусловленное различие в использовании ДМ данной группы.

Несмотря на то, что в русскоязычных геологических и литературоведческих текстах эта группа имеет относительно большее количество – 219 словоупотреблений, а в немецкоязычных текстах всего 150 словоупотреблений и в процентном соотношении к составу слов в целом ДМ данной группы в русскоязычных текстах встречаются чаще чем, в немецкоязычных: 1,2 и 0,7% соответственно, но по отношению к другим типам ДМ в проанализированных текстах немецкоязычные тексты превосходят русскоязычные: 78,9% в немецкоязычных и 68,4% в русскоязычных текстах (табл. 3).

Таблица 3. Отношение ДМ первой группы к общему количеству слов и ДМ

Параметр соотношения	Русский корпус		Немецкий корпус	
	Общее кол-во слов	Общее кол-во ДМ	Общее кол-во слов	Общее кол-во ДМ
	18 172	320	18 806	190
Общее количество ДМ первой группы и их % отношение к числу слов текста и числу ДМ	219 (1,2%)	219 (68,4%)	150 (0,7%)	250 (78,9%)

Другими словами, в немецкоязычных геологических текстах ДМ, обеспечивающие связность текста, встречаются чаще, чем ДМ всех остальных групп, но при этом немецкоязычные авторы используют их гораздо реже, чем русскоязычные.

Столь значительное расхождение можно объяснить различием традиций письменной научной коммуникации в России и западной традиции, различием жанровой формы научной статьи. Наблюдается разное распределение метатекстовых и собственно текстовых средств логической организации смысла текста. В немецкоязычных статьях более значительную роль по сравнению с русскими играют метатекстовые средства когеренции. Немецкоязычные статьи по геологии имеют оглавление и четкое разделение на главы: введение, главы, подглавы, заключение. Это помогает максимально высветить композиционную структуру статьи и выделить наиболее важные смысловые доминанты, не используя дискурсивные маркеры.

В некоторых современных русскоязычных статьях авторы также выделяют введение и заключение, но это является скорее исключением, чем правилом, и большинство авторов вынуждено подчёркивать переход от одного исследовательского эпизода к следующему с помощью дискурсивных маркеров. Например, если немецкоязычный автор делает заключение, просто озаглавив его «Schlussfolgerungen», то русскоязычный автор прибегает к дискурсивным маркерам, указывающим на выводы (*отсюда должен следовать вывод, таким образом, это позволяет сделать вывод, следовательно, в целом и др.*). Во всех проанализированных немецкоязычных статьях присутствует раздел, озаглавленный «Ergebnisse», в котором авторы перечисляют результаты проведенных исследований. В статьях русскоязычных авторов результаты исследований вплетены в весь текст статьи. Для того, чтобы акцентировать внимание читателя на результатах работы и подчеркнуть их значимость, используются дискурсивные маркеры, такие, например, как *прежде всего, важно подчеркнуть, особенно показательно, примечательно* и др.

Субдискурсивно обусловленные различия

Сравнение использования ДМ, обеспечивающих связность текста в естественно-научном и научно-гуманитарном дискурсах, также выявляет значительное варьирование.

При этом количество ДМ в русскоязычных статьях по геологии и в абсолютном, и в относительном измерении незначительно превышает использование ДМ в статьях по литературоведению (процентное соотношение 50,3% от всего состава дискурсивных маркеров в русскоязычных статьях по геологии, 49,6% – в статьях по литературоведению). В немецкоязычных статьях наоборот, количество ДМ в статьях по литературоведению и в абсолютном, и

относительном измерении немного больше, чем в статьях по геологии (50,5% от всего состава дискурсивных маркеров в статьях по литературоведению и 49,4% в статьях по геологии) (табл. 4).

Таблица 4. Отношение ДМ первой группы к общему количеству ДМ

Параметры	Русский корпус		Немецкий корпус	
	Геологический дискурс	Литературоведческий дискурс	Геологический дискурс	Литературоведческий дискурс
Общее количество ДМ	161	159	94	96
Количество ДМ первой группы и их % отношение к числу слов текста и числу ДМ	116 (50,3%)	103 (49,6%)	75 (49,4%)	75 (50,5%)

Таким образом, количественные данные свидетельствуют, что на функционирование ДМ, работающих на формирование связности текста, фактор тематического своеобразие научного дискурса оказывает меньшее влияние, нежели фактор этнокультурной среды формирования научного текста.

Однако употребление этой группы дискурсивных маркеров характеризуется качественными отличиями, коррелирующими и с тематическим своеобразием и, что более важно, с типом гуманитарной и естественно-научной рефлексии объекта, влияющих на своеобразие способов ее языковой репрезентации.

И в русскоязычных, и немецкоязычных статьях по геологии самыми многочисленными в этой группе являются маркеры, отсылающие читателя к наглядным примерам: графикам, диаграммам, таблицам, схемам и т.д. (39 словоупотреблений в русскоязычных и 40 в немецкоязычных статьях). При этом наиболее часто встречаются дискурсивные маркеры, неявно указывающие на наглядность (*(рис. 1), (табл. 2), (Abb. 1) и т.д.*) и реже – дискурсивные маркеры, эксплицитно отсылающие читателя к графикам, таблицам, рисункам (как было показано в табл. 1, в таблице видно, рисунок 1 иллюстрирует, на графике показано, ... ist in Abb. 1 dargestellt) [35]. В статьях же по литературоведению в силу их особенностей практически полностью исключается употребление схем, графиков, таблиц, являющихся важнейшей частью геологического научного дискурса.

В статьях по литературоведению как в русском, так и в немецком языках преобладают дискурсивные маркеры, указывающие на противопоставление или отход от основной линии изложения, а также на выделение и важность информации. Это следующие дискурсивные маркеры: 1) *однако, тем не менее, напротив, с одной стороны, с другой стороны, хотя, einerseits, andererseits, im Gegensatz* и 2) *примечательно, показательно, важно отметить, следует подчеркнуть, außerdem, mindestens, wenigstens, klar, dass..., offensichtlich, zweifellos* и др.

Наиболее частое использование данных маркеров объяснимо, во-первых, тем, что статьи литературоведческого дискурса охватывают множество разных точек зрения на одну проблему, рассматривается огромный пласт предыдущих исследований по определенной тематике, в них происходит посто-

янное сравнение, противопоставление различных точек зрения или исследовательских линий. Во-вторых, данные маркеры решают задачу воздействия на читателя, способствуют запоминанию им наиболее важных, по мнению автора, моментов. Кроме того, сообщение новых знаний является одной из главных задач научных статей, поэтому столь частое употребление дискурсивных маркеров данных групп оказывается закономерным.

4.2.2. ДМ, передающие отношение говорящего к сказанному

Маркеры второй группы передают отношение говорящего к сказанному, авторскую оценку информации: *возможно, очевидно, по-видимому, фактически, в сущности, к сожалению, vielleicht, tatsächlich, in der Regel, normalerweise, wahrscheinlich* и др.

Общие особенности

Маркеры данной группы встречаются во всех статьях обоих дискурсов как в немецком, так и в русском языке, что, конечно, указывает на их важную роль в структурировании научных статей. Данные наблюдения коррелируют с последними исследованиями стиля научной речи, которые отмечают увеличивающуюся в современной научной коммуникации тенденцию к усилению субъективной составляющей. Лингвисты отмечают проникновение элементов эмоционального в научный стиль и их сосуществование с элементами логического [40]. С одной стороны, эмоциональность и оценочность не соответствуют природе научного мышления, которому присущи обобщающие, абстрагированные, логические выводы и определения. С другой стороны, автор научной статьи не может полностью отстраниться от создаваемого им текста и не выразить своего отношения к предмету исследования. Субъективная составляющая является чертой творческой индивидуальности, способом самовыражения автора, придает мысли большую силу и остроту. При этом в научном стиле проявление авторского «я» приобретает определенные особенности, которые не нарушают общие закономерности стиля и является при этом и способом самовыражения автора, и способом поддержания его профессионального статуса.

Во всех проанализированных статьях встретились дискурсивные маркеры, отражающие разные виды модальных смыслов, в том числе оценочности. Отмечаются единицы, указывающие на логическую вероятность (*возможно, вероятно, можно предположить, wahrscheinlich, vielleicht, vermutlich, offenbar*), на различного рода оценку (*справедливо, действительно, как правило, es ist deutlich*), на отношение к содержанию (*примечательно, erstaunlicherweise*), а также выражающие мнение автора (*на наш взгляд, по нашему мнению*).

Наряду со сходством в употреблении ДМ данной группы были отмечены и существенные различия.

Этнокультурно обусловленные различия

Что касается этнокультурно обусловленных различий в использовании ДМ данной группы, то в русскоязычных как геологических, так и литературоведческих текстах эта группа значительно превосходит количество данных ДМ в немецкоязычных научных текстах – 75 и 7 словоупотреблений соответственно. В процентном соотношении к составу слов в целом: 0,4% в русскоязычных текстах и 0,03% в немецкоязычных текстах, в соотношении к другим

типам маркеров: 23,4% в русскоязычных и 3,6% немецкоязычных текстах. Таким образом, данная группа ДМ является второй по численности в русскоязычных статьях и третьей в немецкоязычных (табл. 5).

Таблица 5. Отношение ДМ второй группы к общему количеству слов и ДМ

Параметр соотношения	Русский корпус		Немецкий корпус	
	Общее кол-во слов	Общее кол-во ДМ	Общее кол-во слов	Общее кол-во ДМ
	18172	320	18806	190
Общее кол-во ДМ второй группы и их % отношение к числу слов текста и числу ДМ	75 (0,4%)	75 (23,5%)	7 (0,03%)	7 (3,6%)

Данный факт позволяет отметить, что немецкоязычные авторы демонстрируют большую сдержанность в проявлении индивидуально-авторской модальности по сравнению с русскоязычными. В речи же русскоязычных авторов личностное начало проявляется сильнее, в частности лишь в русскоязычных статьях встречаются маркеры, эксплицитно выражающие мнение автора (*мы думаем, нам кажется, на наш взгляд, мы считаем* и др.).

Субдискурсивно обусловленные различия

Субдискурсивное сравнение русскоязычных и немецкоязычных геологических и литературных текстов свидетельствует о наличии субдискурсивного фактора. Маркеры, передающие отношение говорящего к сказанному – 14% в русскоязычных статьях по литературоведению против 9,3% в русскоязычных статьях по геологии и 2,1% в немецкоязычных статьях по литературоведению против 1,5% в немецкоязычных статьях по геологии (табл. 6).

Таблица 6. Отношение ДМ второй группы к общему количеству ДМ

Параметры	Русский корпус		Немецкий корпус	
	Геологический дискурс	Литературоведческий дискурс	Геологический дискурс	Литературоведческий дискурс
Общее кол-во ДМ	161	159	94	96
Общее количество ДМ второй группы и их % отношение к числу слов текста и числу ДМ	30 (9,3%)	45 (14%)	3 (1,5%)	4 (2,1%)

Во всех проанализированных статьях в разной степени встретились дискурсивные маркеры, отражающие разные виды модальных смыслов, перечисленные выше. Можно отметить, что выражения такого типа, как правило, носят стандартный характер. Однако категория модальности в естественнонаучных и научно-гуманитарных текстах обоих языков реализуется по-разному.

Так, в гуманитарных текстах русскоязычных авторов чаще используются дискурсивные маркеры, персонифицирующие автора и указывающие на авторскую оценку (*совершенно справедливо, действительно, разумеется, безусловно, несомненно, не случайно, конечно*). Личностное начало в речи авто-

ров литературоведческих статей проявляется с помощью маркеров, эксплицитно выражающих мнение автора: *мы думаем, нам кажется, на наш взгляд, мы считаем, позволим себе согласиться* и др. Русскоязычные авторы геологических текстов более сдержанны в использовании такого рода маркеров (всего два употребления), они чаще используют ДМ, указывающие на логическую вероятность (*возможно, вероятно, можно предположить*).

Подобная тенденция отмечена и в немецкоязычных статьях: в статьях по литературоведению встретились лишь ДМ, передающие авторскую оценку различного рода (*sicher, es ist nicht verwunderlich, es ist deutlich*), а в геологических статьях лишь ДМ, указывающие на логическую вероятность (*wahrscheinlich, vielleicht*).

Можно предположить, что оценочность является важнейшим качеством именно литературоведческого дискурса, в котором определяющее значение имеет отношение автора к выбранной теме и оценочность проявляется в сравнении разнообразных примеров, сопоставлении типов героев, выводах и т.д. Здесь в большей мере присутствует субъективный фактор.

В геологических же статьях, содержание которых детерминировано естественно-научным мышлением автора, преобладает указание на логическую вероятность, причем концентрация данных ДМ наблюдается во фрагментах текста, указывающих на вывод или заключение.

Дискурсивные маркеры данной группы в русскоязычных литературоведческих статьях более разнообразны и используются чаще по сравнению со статьями по геологии. Можно предположить, что данные отличия не случайны и связаны с тем, что гуманитарный научный дискурс несколько ближе к художественному и публицистическому стилям речи (которым присущи большая эмоциональность, образность, субъективная оценочность и т.д.), чем естественно-научный, здесь наблюдается возрастание выраженности субъективной модальности. Модальность же естественно-научных текстов главным образом располагается по шкале «истинность – возможность – ложность» и требует меньшего участия дискурсивных маркеров в построении данной шкалы.

Необходимо также отметить, что благодаря употреблению дискурсивных маркеров данной группы научная речь производит впечатление более живой, более яркой и в то же время более субъективной. Здесь явно прослеживается стремление автора выразить свою позицию и донести ее до читателя.

4.2.3. Маркеры, отражающие процесс взаимодействия говорящего и слушающего

Дискурсивные маркеры, относящиеся к третьей группе, отражают процесс взаимодействия автора и читателя.

Общие особенности

Диалогичность научного текста проявляется в использовании особых языковых средств, с помощью которых автор направляет внимание читателя, помогает читателю в выделении ключевых моментов содержания текста. В данном случае проявляется, безусловно, специфика данного типа ДМ, обусловленная целеполаганием научного дискурса, это скорее маркеры косвенного обращения к адресату – апелляция к его фоновым знаниям, вовлечение его в оценку достоверности информации на основе привлечения общих фо-

новых знаний в данной дискурсивной области. При определенном смысловом пересечении ДМ второй и третьей групп очевидна их разная коммуникативная направленность, а именно в третьей – вовлечение адресата в процесс оценки достоверности излагаемой информации. К данной группе относятся такие ДМ, как *согласно; как пишет...; известно, что...; понятно, что...; не секрет, что...; общеизвестно; как известно; es ist bekannt, es wurde schon mehrfach belegt, allbekannt, dass..., demgemäß...* и др.

Этнокультурно обусловленные различия

Можно отметить, что доля ДМ данной группы в немецкоязычном материале превышает количество данных ДМ в русскоязычных статьях – 33 и 26 словоупотреблений соответственно. В процентном соотношении эти данные составили в обоих языках 0,1% к числу слов в целом и 8,1% в русскоязычных работах и 17,3% в немецкоязычных работах по отношению к другим типам дискурсивных маркеров. Таким образом, данная группа ДМ является второй по численности в немецкоязычных статьях и третьей в русскоязычных (табл. 7).

Таблица 7. Отношение ДМ третьей группы к общему количеству слов и ДМ

Параметр соотношения	Русский корпус		Немецкий корпус	
	Общее количество слов	Общее количество ДМ	Общее количество слов	Общее количество ДМ
	18172	320	18806	190
Общее количество ДМ второй группы и их % отношение к числу слов текста и числу ДМ	26 (0,1%)	26 (8,1%)	33 (0,1%)	33 (17,3%)

Кроме количественных различий ярко проявляются и качественные различия в использовании дискурсивных маркеров этой группы в русскоязычных и немецкоязычных статьях. Если в русскоязычных статьях большую часть единиц данной группы составили маркеры, ссылающиеся на источник информации как обобщенный, так и конкретный (*известно; принято считать, например, в работах...; в работе... доказано*) и на свои исследования (*как было показано ранее; в работе... показано*), то подавляющее большинство дискурсивных маркеров в немецкоязычных работах – это маркеры, непосредственно воздействующие на читателя, в повелительной форме отсылающие его к источнику информации (*vgl. (сравни), s. (смотри)*).

Субдискурсивно обусловленные различия

Что касается субдискурсивно обусловленных различий, то наиболее ярко они проявлены в русскоязычных работах: 4,6% в геологическом дискурсе и 3,4% в литературоведческом против 8,9% в немецкоязычном литературоведческом и 8,4% в немецкоязычном геологическом дискурсе (табл. 8).

Сравнение использования ДМ, отражающих процесс взаимодействия говорящего и слушающего, в русскоязычном естественно-научном и научно-гуманитарном дискурсах выявляет также значительные качественные расхождения. Полагаем, что данные отличия объяснимы варьированием реализации целеполагания литературоведческого и геологического научного дискурса. Задача литературоведческого дискурса заключается, прежде всего, в по-

строении новых смыслов и новых ценностных интерпретаций литературных текстов [41. С. 166–169]. Автор-литературовед, развивая свою собственную идею, отталкивается от работ предшественников, соглашаясь с ними, принимая их частично или полностью, опровергая их и т.д. При этом он преследует цель убедить своего читателя в истинности своей точки зрения. Недаром в литературоведческих статьях широко используются цитаты со ссылкой на их автора (в проанализированных статьях по геологии обоих языков не встречено ни одной цитаты). Такой прием позволяет создавать ощущение достоверности сообщения, а ссылки на авторитетные мнения призваны создавать у читателя впечатление объективности и беспристрастной оценки.

Таблица. 8. Отношение ДМ третьей группы к общему количеству ДМ

Параметры	Русский корпус		Немецкий корпус	
	Геологический дискурс	Литературоведческий, дискурс	Геологический дискурс	Литературоведческий, дискурс
Общее количество ДМ	161	159	94	96
Общее количество ДМ второй группы их % отношение к числу слов текста и числу ДМ	15 (4,6%)	11 (3,4%)	16 (8,4%)	17 (8,9%)

Анализ показал, что в геологических русскоязычных статьях чаще, чем в литературоведческих, используются маркеры, указывающие на источник информации и отсылающие читателя к работам других исследователей. Зачастую такие ссылки весьма конкретны (как и в работах ученых-геологов), они содержат фамилию какого-либо исследователя или название источника (*как подчеркивали авторы коллективной работы...; так, в монографии...; например, в работах ...; в работе ... доказано; по мысли X... и др.*). Кроме ссылок на работы других авторов часто встречаются ссылки на свои исследования (*как было показано ранее; в работе ... показано, es wurde schon mehrfach belegt,*) и дискурсивные маркеры, указывающие на обобщенный источник информации (*известно; согласно современным представлениям; принято считать и др.*).

В русскоязычных статьях научно-гуманитарного дискурса маркеры, указывающие на источник информации и отсылающие читателя к работам других исследователей, также используются, хотя и не так широко. Возможно, это связано с тем, что автор-литературовед только отчасти опирается на общепринятые в этой дисциплине мнения и понятия, в другой же части, как правило, развивает свое собственное научное мнение. Он использует не стратегию обоснования своего мнения на основании мнения других, а стратегию непрямого убеждения читателя в своей правоте.

Что касается немецкоязычных ДМ этой группы, то они практически полностью состоят либо из ДМ *vgl. (сравни), s. (смотри)*, либо это ссылки на других исследователей, т.е. субдискурсивно обусловленных различий не выявлено.

5. Заключение

Тенденции использования ДМ в научных текстах в целом соответствуют общим закономерностям их функционирования в речи, что проявляется в количественном преобладании маркеров, обеспечивающих связность текста,

разнообразии спектра выполняемых ими частных функций. Вместе с тем ДМ могут быть проинтерпретированы как показатели этнокультурно обусловленного своеобразия текстостроения, что находит отражение в различном соотношении ДМ и метатекстовых регулятивных фрагментов текста. Однако, как представляется, анализ ДМ позволил выявить и более глубокие отличия стилей научной коммуникации сравниваемых лингвокультур. Русскоязычные тексты могут быть охарактеризованы как более «эгоцентричные» и «саморефлексивные», что проявляется в большем количестве маркеров, выражающих саморефлексию автора, его оценочное отношение к точности, истинности и т.д. выражаемого знания.

Немецкоязычные тексты более диалогичны, яркой отличительной чертой их является регулятивная направленность.

Отметим, что данная закономерность как общая тенденция проявляется в разных субдискурсах естественно-научном и гуманитарном.

Субдискурсивные отличия оказались в целом менее ярко выраженными. При этом они могут усиливать, в более яркой форме выявлять этнокультурную специфику: так, наиболее эгоцентричным является, русскоязычный гуманитарный дискурс, регулятивным – немецкоязычный геологический.

Однако, на наш взгляд, проведенный анализ может свидетельствовать лишь о самых общих тенденциях использования дискурсивных маркеров в русскоязычном и немецкоязычном естественно-научном и научно-гуманитарном дискурсах. Важно провести дальнейшее сопоставительное изучение норм организации письменной научной речи в рамках двух культур на более обширном материале.

Литература

1. *Schiffrin D.* Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
2. *Макаров М.Л.* Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с.
3. *Кибрик А.А.* Анализ дискурса в когнитивной перспективе: дис. д-ра филол. наук. М., 2003.
4. *Fraser B.* Types of English discourse markers / Journal of pragmatics. Actalinguistica hungarica. 38, 1988. S. 19–33.
5. *Fraser B.* An approach to discourse markers // Journal of Pragmatics. 1990. Vol. 14. S. 383–395.
6. *Blakmore D.* The Organization of Discourse // Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. 4. Cambridge, 1998.
7. *Ducort O.* La valeur argumentative de la phrase interrogative // Logique. Argumentation. Conversation. (Actes du Colloque de Pragmatique). Fribourg: Peter Lang, 1981.
8. *Правикова Л.В.* Дискурсивные маркеры: современное состояние проблемы // Вестник ПГЛУ. 2004. № 4. С. 4–10.
9. *Правикова Л.В.* Современная теория дискурса: когнитивно-фреймовый и аргументативный подходы. Пятигорск, 2004.
10. *Auer P., Günther S.* Die Entstehung von Diskursmarkern im Deutschen – ein Fall von Grammatikalisierung? // Interaction and Linguistic Structures, No. 38. Freiburg; Münster, 2003. S. 30–34.
11. *Каменский М.В.* Социологическая парадигма дискурсивных маркеров: на материале английского языка. Ставрополь, 2007.
12. *Rojekt T.* Grammatikalisierung, Pragmatikalisierung und die Entstehung von Diskursmarkern im Deutschen // Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten. 2, 2013. S. 129–139.

13. Губарева О.Н. Сопоставительный анализ метадискурсивной организации англоязычных и русскоязычных научно-учебных текстов по экономике: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2011.
14. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993.
15. Хачатурян Е.В. Семантика и синтактика дискурсивных слов глагольного происхождения в современном итальянском языке. М., 2000.
16. Gülich E. Makrosyntax der Gliederungssignale im gesprochenen Französisch. Fink, München, 1970.
17. Tiittula L. Metadiskurs. Explizite Strukturierungsmittel im mündlichen Diskurs. Hamburg: Buske, 1993.
18. Brinton L. Pragmatic markers in English: Grammaticalization and discourse functions. Berlin; Ntw York. 1996.
19. Fraser B. Pragmatic markers // *Pragmatics*, Vol. 6(2), 1996. S. 167–190.
20. Pöskken U. Deutsche Sprachgeschichte und die Entwicklung der Naturwissenschaften: Aspekte einer Geschichte der Naturwissenschaftssprache und ihrer Wechselbeziehung zur Gemeinsprache // Besch W. et al. (Hgg.) Sprachgeschichte. Ein Handbuch der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, 1. Halbband, 1984. S. 85–101.
21. Galtung J. Struktur, Kultur und intellektueller Stil // Wierlacher, Alois (Hg.) Das Fremde und das Eigene. München, 1985. S. 151–196.
22. Schröder H. Der Stil wissenschaftlichen Schreibens zwischen Disziplin, Kultur und Paradigma – Methodologische Anmerkungen zur interkulturellen Stilforschung // Stickel, Gerhard (Hg.) Stilfragen. Berlin; New York: de Gruyter, 1995. S. 150–180.
23. Clyne M. Cultural differences in the organization of academic texts // *Journal of Pragmatics* 11. 1987, S. 211–247.
24. Graefen G. Wissenschaftstexte im Vergleich: Deutsche Autoren auf Abwegen? // Brünner, Gisela / Graefen G. (Hgg.) Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der Funktionalen Pragmatik. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994. S. 136–157.
25. Raible W. Allgemeine Aspekte von Schrift und Schriftlichkeit. General aspects of writing and its use // Günther, Hartmut / Ludwig, Otto (Hgg.) Schrift und Schriftlichkeit. Writing and its use. 1. Halbband, 1994. S. 1–17.
26. Goddard C., Wierzbicka A. Discourse and Culture. In: Teun A. van Dijk (ed.) *Discourse and Social Interaction // Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. L.: Sage. Vol. 2. 1997. S. 231–259.
27. Александров Ю.И., Александрова Н.Л. Комплементарность культуроспецифичных типов познания // *Вестн. МГУ. Сер. 14. Филология*. 2010. №1. С. 22–35; №3. С. 18–35.
28. Connor U. Cross-Cultural Differences and Perceived Quality in Written Paraphrases of English Expository Prose // *Applied Linguistics*, №4 (3), 1983, S. 259–268.
29. Connor U. Introduction // *Journal of English for Academic Purposes*. 2004. №3. S. 271–276.
30. Kresta R. Realisierungsformen der Interpersonalität in vier linguistischen Fachtextsorten des Englischen und des Deutschen. Frankfurt/Main, 1995.
31. Thielmann W. Deutsche und englische Wissenschaftssprache im Vergleich : Hinführen - Verknüpfen - Benennen / Heidelberg: Synchron, Wiss.-Verl. der Autoren, 2009.
32. Vossler K. Geist und Kultur in der Sprache. Heidelberg, 1923.
33. Vossler K. Verhältnis von Sprache und Nationalgefühl // *Die neueren Sprachen*, Bd. 26, H. 1/2 (April–Juni). 1918. S. 1–14.
34. Резанова З.И. Языковая и дискурсивная картина мира – аспекты соотношений // *Сиб. филол. журн.* 2011. №3. С. 184–194.
35. Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // *Картины русского мира: современный медиадискурс* / З.И. Резанова, Л.И. Ермоленкина, Е.А. Костяшина и др.; Томск, 2011. С. 15–96.
36. Козут С.В. Дискурсивные маркеры в русскоязычных и немецкоязычных геологических научных статьях // *Вестн. Том. гос. ун-та*. 2014. № 380. С. 18–23.
37. Sanders T., Spooren W., Noordman L. Toward a taxonomy of coherence relations // *Discourse Processes*, 1992. S. 1–35.
38. Кожина. М.Н. Научный стиль. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожин. М., 2003.
39. Котюрова М.П. Стилистика научной речи. М.: Академия, 2010. 240 с.
40. Глушко М.М. Язык английской научной прозы. М., 1980.
41. Силантьев И.В. О представлении знания языком литературоведения: к постановке вопроса. Критика и семиотика. Вып. 13. Новосибирск, 2009. С. 166–169.

Источники для анализа

1. Ананьев Ю.С., Поцелуев А.А., Житков В.Г. Космоструктурные позиции золоторудных объектов Заангарской части Енисейского кряжа // Изв. Том. политехн. ун-та. 2012. Т. 320, № 1: Науки о Земле. С. 38–47.
2. Вагина Е.А. Влияние микропримесей на микротвердость арсенопирита и пирита золоторудного месторождения Чертово Кoryто (Патомское нагорье) // Изв. Том. политехн. ун-та. 2011. Т. 319, № 1: Науки о Земле. С. 47–52.
3. Ворошилов В.Г. Вихревая природа рудогенных геохимических полей/ В. Г. Ворошилов // Изв. Том. политехн. ун-та. 2012. Т. 321, № 1: Науки о Земле. С. 46–51.
4. Казаков А.А. Ф.М. Достоевский и Л. Фейербах: об одном из возможных источников диалогизма Достоевского Ф.М. / А.А. Казаков // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 361. С. 13–16.
5. Кучеренко И.В. Минералого-петрохимические черты ассоциации кислых гипабиссальных пород Берикольского рудного поля // Изв. Том. политехн. ун-та. 2003. Т. 306, № 5. С. 32–36.
6. Скрипник А.В. Феномен куклы и кукольного театра в повести «Невский проспект» Н.В. Гоголя // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 376. С. 32–36.
7. Столбова Н.Ф. Развитие представлений об особенностях углеродистых отложений доломитового типа // Изв. Том. политехн. ун-та. 2002. Т. 305, вып. 8: Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений. С. 83–91.
8. Третьяков Е.О. Пространство света в повести Н.В. Гоголя «Рим» // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 354. С. 31–34.
9. Damm B., Therhorst B. Zum Einfluss bodenphysikalischer und bodenmechanischer Parameter in quartärer Deckschichten auf Massenbewegungen im Wienerwald // Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt. Wien. 62, 2008. S. 33–37.
10. Drescher-Schneider R., Kellerer-Pirklbauer A. Gletscherschwund einst und heute – neue Ergebnisse zur holozäne Vegetations- und Gletschergeschichte der Pasterze (Hohe tauern, Österreich). In: Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt. Wien. 62, 2008. S. 41–50.
11. Felderer A. Identifikation und Abschätzung von Murprozessen als Folge von Gletscherrückgang und Permafrostdegradation im Naturpark Rieserferner-Ahrn (Südtirol) // Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt. Wien. 62, 2008. S. 29–32.
12. Gawlick H.-J., Lein R. Zur Stratigraphie und Tektonik des Hallein - Bad Dürnberger Salzberges Neuergebnisse auf der Basis von stratigraphischen und faziellen Daten (Nördliche Kalkalpen, Salzburg) // Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt. Wien. 56/2, 1999. S. 69–90.
13. Haslinger E. Der „Rote Aufschluss“ von Langenlois Pedogenese und Mineralogie von Paläoboden-Sequenzen über Amphibolit. In: Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt. Wien. 62, 2008. S. 71–79.
14. Lübbers A. Das nicht-verstandene Ich. Eine kommunikationstheoretische Betrachtung von Italo Calvinos *Gliamoridifficili* // Heidelberger Beiträge zur romanischen Literaturwissenschaft. HeLix. 1, 2009. S. 97–123.
15. Neuman A. Die Prologe von Unamunos *Niebla*. In: Heidelberger Beiträge zur romanischen Literaturwissenschaft. HeLix. 3, 2010. S. 53–67.

THE FUNCTIONING OF DISCOURSE MARKERS IN THE ACADEMIC TEXT: ETHNOCULTURAL AND DISCURSIVE DETERMINATIONS

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 62–79. DOI: 10.17223/19986645/39/6
 Rezanova Zoya I., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation), Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: resso@rambler.ru / resso@mail.tsu.ru
 Kogut Svetlana V., Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kogut.sv@mail.ru

Keywords: discourse, academic discourse, discourse markers, ethnolinguistic distinctiveness, topical subdiscourse.

Language units of the academic text show dependence on the general conditions of discourse functioning. In academic discourse, some linguistic units perform their basic, informative function, other units, discourse markers, form a system that helps build basic communication and control it, i.e., perform support functions, e.g., providing a connection between individual segments of the academic text.

The analysis of the functional types of discourse markers in academic discourse texts shows a significant opposition of three types of discourse markers functionally correlated with the three basic elements of communication: the speaker, the listener, the subject of the message: 1) markers that ensure text coherence; 2) markers that convey the speaker's attitude to the message; 3) markers that reflect the interaction of the speaker and the listener.

This paper focuses on the various aspects of the unity / variability of academic communication, the originality of styles of academic thinking, features of the concept spheres of respective cultures and languages hindering understanding between scholars and, as a reflection of these aspects of academic knowledge and communication, the uniqueness of text structures, the specific organization of their surface structures.

A clear indicator of the originality of academic thinking styles is discursive markers of the text, which are not only the "technical means" that structure the text ensuring its coherence and consistency, but also units that allow understanding the scholar's thinking style and communicative stereotypes, constituting a significant aspect of the academic picture of the world. However, trends in the use of discourse markers may be due to individual differences in discursive goal-setting, to the specifics of the standard discourse topics.

In the article, the use of discourse markers is compared by two parameters:

1. Comparison of discourse markers and the nature of their use in the German-speaking and Russian-speaking academic texts on similar subjects (geology discourse), belonging to the same genre (article), written by different authors.

2. Comparison of uses of discourse markers in topical subdiscourses of academic discourse: natural sciences (geology subdiscourse) and academic humanities (literary criticism subdiscourse). Texts written in the same linguistic culture and belonging to the same genre are compared.

Results of the analysis indicate specific ways of presenting academic knowledge in different academic disciplines and the impact of the ethnolinguistic model of the academic discourse structure on these ways.

References

1. Schiffrin, D. (1987) *Discourse Markers*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Makarov, M.L. (2003) *Osnovy teorii diskursa* [Basics of discourse theory]. Moscow: Gnozis.
3. Kibrik, A.A. (2003) *Analiz diskursa v kognitivnoy perspektive* [Analysis of discourse in cognitive perspective]. Philology Dr. Diss. Moscow.
4. Fraser, B. (1988) Types of English discourse markers. *Acta Linguistica Hungarica*. 38. pp. 19–33.
5. Fraser, B. (1990) An approach to discourse markers. *Journal of Pragmatics*. 14. pp. 383–395.
6. Blakmore, D. (1998) The Organization of Discourse. *Linguistics: The Cambridge Survey*. 4. Cambridge.
7. Ducort, O. (1981) La valeur argumentative de la phrase interrogative. In: *Logique. Argumentation. Conversation. (Actes du Colloque de Pragmatique)*. Fribourg: Peter Lang.
8. Pravikova, L.V. (2000) Diskursivnye markery: sovremennoe sostoyanie problemy [Discourse markers: state of the problem]. *Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. 2. pp. 4–10.
9. Pravikova, L.V. (2004) *Sovremennaya teoriya diskursa: kognitivno-freymovyy i argumentativnyy podkhody* [Modern discourse theory: cognitive framing and argumentative approaches]. Pyatigorsk: Pyatigorsk State Linguistic University.
10. Auer, P. & Günther, S. (2003) Die Entstehung von Diskursmarkern im Deutschen - ein Fall von Grammatikalisierung? *Interaction and Linguistic Structures*. 38. pp. 30–34.
11. Kamenskiy, M.V. (2007) *Sotsiologicheskaya paradigma diskursivnykh markerov: na materiale angliyskogo yazyka* [The sociological paradigm of discourse markers on the material of the English language]. Stavropol.
12. Rojekt, T. (2013) Grammatikalisierung, Pragmatikalisierung und die Entstehung von Diskursmarkern im Deutschen. *Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten*. 2. pp. 129–139.
13. Gubareva, O.N. (2011) *Sopostavitel'nyy analiz metadiskursivnoy organizatsii angloyazychnykh i russkoyazychnykh nauchno-uchebnykh tekstov po ekonomike* [A comparative analysis of metadiscourse organization of English and Russian scientific and educational texts on economics]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
14. Baranov, A.N. et al. (1993) *Putevoditel' po diskursivnym slovam russkogo yazyka* [Guide to the discursive words of the Russian language]. Moscow: Pomovskiy i partnery.
15. Khachatryan, E.V. (2000) *Semantika i sintaktika diskursivnykh slov glagol'nogo proiskhozhdeniya v sovremennom ital'yanskom yazyke* [Semantics and syntactics of discourse words of verbal origin in modern Italian]. Philology Cand. Diss. Moscow.

16. Gülich, E. (1970) *Makrosyntax der Gliederungssignale im gesprochenen Französisch*. München: Fink.
17. Tiittula, L. (1993) *Metadiskurs. Explizite Strukturierungsmittel im mündlichen Diskurs*. Hamburg: Buske.
18. Brinton, L. (1996) *Pragmatic markers in English: Grammaticalization and discourse functions*. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter.
19. Fraser, B. (1996) Pragmatic markers. *Pragmatics*. 6(2). pp. 167–190.
20. Pöksen, U. (1984) Deutsche Sprachgeschichte und die Entwicklung der Naturwissenschaften: Aspekte einer Geschichte der Naturwissenschaftssprache und ihrer Wechselbeziehung zur Gemeinsprache. In: Besch, W. et al. (eds) *Sprachgeschichte. Ein Handbuch der deutschen Sprache und ihrer Erforschung*. 1. Halbband.
21. Galtung, J. (1985) Struktur, Kultur und intellektueller Stil. In: Wierlacher, A. (ed.) *Das Fremde und das Eigene*. München.
22. Schröder, H. (1995) Der Stil wissenschaftlichen Schreibens zwischen Disziplin, Kultur und Paradigma – Methodologische Anmerkungen zur interkulturellen Stilforschung. In: Stickel, G. (ed.) *Stilfragen*. Berlin, New York: de Gruyter.
23. Clyne, M. (1987) Cultural differences in the organization of academic texts. *Journal of Pragmatics*. 11. pp. 211–247.
24. Graefen, G. (1994) Wissenschaftstexte im Vergleich: Deutsche Autoren auf Abwegen? In: Brüner, G. & Graefen, G. (eds) *Texte und Diskurse. Methoden und Forschungsergebnisse der Funktionalen Pragmatik*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
25. Raible, W. (1994) Allgemeine Aspekte von Schrift und Schriftlichkeit. General aspects of writing and its use. In: Günther, H. & Ludwig, O. (eds) *Schrift und Schriftlichkeit. Writing and its use*. 1. Halbband.
26. Goddars, C. & Wierzbicka, A. (1997) Discourse and Culture. In: Dijk, T.A. van. (ed.) *Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*. Vol. 2. London: Sage.
27. Aleksandov, Yu.I. & Aleksandrova, N.L. (2010) Complementarity of culturespecific types of cognition. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya – Moscow University Psychology Bulletin*. 1, pp. 22–35; 3. pp. 18–35. (In Russian).
28. Connor, U. (1983) Cross-Cultural Differences and Perceived Quality in Written Paraphrases of English Expository Prose. *Applied Linguistics*. 4 (3). pp. 259–268.
29. Connor, U. (2004) Introduction. *Journal of English for Academic Purposes*. 3. pp. 271–276.
30. Kresta, R. (1995) *Realisierungsformen der Interpersonalität in vier linguistischen Fachtextsorten des Englischen und des Deutschen*. Frankfurt.
31. Thielmann, W. (2009) *Deutsche und englische Wissenschaftssprache im Vergleich: Hinführen - Verknüpfen - Benennen*. Heidelberg: Synchron, Wiss.
32. Vossler, K. (1923) *Geist und Kultur in der Sprache*. Heidelberg.
33. Vossler, K. (1918) Verhältnis von Sprache und Nationalgefühl. *Die neueren Sprachen*. 26:1/2 (April–June). pp. 1–14.
34. Rezanova, Z.I. (2011) Yazykovaya i diskursivnaya kartina mira – aspekty sootnosheniya [Language and discursive picture of the world – aspects of relations]. *Sibirskiy filologicheskij zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 184–194.
35. Rezanova, Z.I. (2011) Diskursivnye kartiny mira [Discursive pictures of the world]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: sovremennyy mediadiskurs* [Pictures of the Russian world: Contemporary media discourse]. Tomsk: ID SK-S.
36. Kogut, S.V. (2014) Discourse markers in Russian and German geological scientific papers. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 380. pp. 18–23. (In Russian).
37. Sanders, T., Spooren, W. & Noordman, L. (1992) Toward a taxonomy of coherence relations. *Discourse Processes*. 15. pp. 1–35.
38. Kozhina, M.N. (2003) Nauchnyy stil' [Academic style]. In: Kozhina, M.N. (ed.) *Stilisticheskij entsiklopedicheskij slovar' russkogo yazyka* [Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language]. Moscow: Flinta, Nauka.
39. Kotyurova, M.P. (2010) *Stilistika nauchnoy rechi* [The style of academic writing]. Moscow: Akademiya.
40. Glushko, M.M. (1980) *Yazyk angliyskoy nauchnoy prozy* [Language of the English academic prose]. Moscow: Vysshaya shkola.
41. Silant'ev, I.V. (2009) O predstavlenii znaniya yazykom literaturovedeniya: k postanovke voprosa [On the representation of knowledge of the language of literature: raising the question]. *Kritika i semiotika*. 13. pp. 166–169.

УДК 811 : (161.1 + 512.3)
DOI: 10.17223/19986645/39/7

М.Г. Шкуропацкая, Даваа Ундармаа

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ РУССКОЙ И МОНГОЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ (СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

В статье представлены результаты сопоставительного изучения фрагментов двух языковых картин мира, в которых отражаются два разных национальных образа мира. В данном случае национальный язык является «зеркалом», в котором отражаются единый инвариант бытия этноса и конкретные черты национально-специфической проекции этого инварианта бытия. Поставленная цель достигается путем анкетирования носителей русского и монгольского языков с последующим описанием полученного языкового материала – ассоциативных полей и обыденных толкований слов тематической группы «домашние животные».

Ключевые слова: национальная языковая картина мира, языковое сознание, русская языковая личность, монгольская языковая личность, тематическая группа «домашние животные», лингвистический эксперимент.

В своем исследовании мы пытаемся ответить на следующие вопросы: какое содержание ассоциируется у рядовых носителей русского и монгольского языков со словами, обозначающими домашних животных, и в чем заключается сходство и различие в интерпретации значений этих слов носителями двух разных языков. Ключевым для нас является понятие национальной языковой картины мира (далее – ЯКМ), которая в данном случае рассматривается как лингвоментальный компонент национального языкового сознания. Анализу подвергается результирующая детерминация «ЯКМ – текст». При этом ЯКМ как упорядоченная система реконструируется в направлении «от текста к системе». В исследовании ставится цель реконструировать фрагмент национальной языковой картины мира в качестве лингвоментального компонента языкового сознания русской и монгольской языковой личности. В выбранном аспекте изучения ЯКМ наиболее близким нам является понятие национальной языковой картины мира, которое предлагается О.А. Корниловым, определяющим ее как «результат отражения объективного мира обыденным языковым сознанием конкретного языкового сообщества, конкретного этноса» [1. С. 112]. Эта категория фиксирует коллективный опыт всего языкового сообщества. При этом каждый отдельный представитель данного сообщества владеет лишь частью коллективного национального опыта. Если согласиться с мнением И.А. Бодуэна де Куртенэ в том, что «язык... национальный является... обобщающей конструкцией, созданной из целого ряда реально существующих индивидуальных языков» [2. С. 71], то любую национальную ЯКМ следует рассматривать как обобщение всех индивидуальных национальных языковых картин мира, всех членов этноса, живших на протяжении всей его истории. Первоначальное же образование индивидуальной национальной языковой картины мира происходит автоматически в процессе овладения в

детстве национальным языком. «В семантике слов откладывается множество признаков, которые регистрируют все добытые этносом знания о соответствующих объектах. Передача этого знания каждому новому члену этноса производится в ходе... научения формирующейся языковой личности правильному пониманию и употреблению единиц и категорий родного языка.... Иначе говоря, в процессе усвоения родного языка происходит как бы подключение языковой личности к ментально-лингвальному комплексу этноса» [3. С. 48–49].

Характерные признаки ЯКМ отчетливо проявляются на фоне научной картины мира. Каждая из картин мира формируется соответствующими понятиями: научные понятия задают научную картину мира и ее разновидности, обыденные (или бытовые) понятия формируют наивную, или обыденную, картину мира. Национальный язык закрепляет представления и знания из разных областей, поэтому национальная ЯКМ с неизбежностью включает элементы всех картин мира и находит языковые формы выражения как для научных, так и для обыденных понятий. При этом центральное место в национальной ЯКМ занимают именно бытовые представления, которые основываются на повседневном коммуникативном опыте носителей языка. Уместным представляется следующее высказывание: «...существенной остается функциональная разница между двумя типами картины мира – научной и наивной: сколько бы ни вбирала в себя последняя элементы научного знания, ее задача заключается в том, чтобы служить своего рода базой данных и базой знаний, без которых невозможно принятие любых повседневных решений. Иначе говоря, наивная картина мира складывается как ответ на, главным образом, практические потребности человека – как необходимая когнитивная основа его адаптации к миру [4. С. 78]. Таким образом, обыденные (наивные) понятия закладывают основу национальной ЯКМ. Ученые обращают внимание на познавательную роль национальной ЯКМ. Имеется в виду не научное познание, а языковое, первичное, наивное. Овладевая языком, ребенок не познает мир научно, концептуально, а познает его на языковом уровне, то есть на том уровне, на котором в донаучный период происходило формирование наивного представления о мире. Освоив язык, он получает целостное наивное представление о мире, которое присуще всем носителям именного этого языка. Л.В. Щерба писал о том, что несмотря на ограниченный объем информации, составляющей семантику языка, она играет исключительно важную роль в овладении всем информационным богатством человечества» [5]. Наивные значения слов – все эти неточные и неглубокие «обывательские», как о них писал Л.В. Щерба, представления о клеточках действительности, – запечатлели первый и потому во многом жизненно важный опыт освоения человеком окружающей действительности.

Поскольку наивные понятия зависят от коммуникативного опыта конкретного индивида, они вариативны. Однако поскольку опыт конкретного индивида осуществляется в рамках национального сообщества, эта вариативность, с одной стороны, должна ограничиваться рамками этого сообщества, а с другой – определяться ими. Из этого следует, что в обыденной семантике, сформированной в повседневном коммуникативном опыте, отражается мо-

дель языкового сознания человека – носителя той или иной национальной культуры.

Обратимся теперь к понятию коллективного этнического сознания, в котором под воздействием определенных факторов внешней среды формируется национальная ЯКМ. Обыденное языковое сознание представляется сложно организованным. Лингвисты выделяют в нем как минимум четыре компонента: сенсорно-рецептивный, логико-понятийный, эмоционально-оценочный и ценностно-нравственный компоненты. Преломившись сквозь «границы» языкового сознания, мир трансформируется в отраженную реальность, запечатленную в матрицах национального языка. Выделение в структуре обыденного сознания отдельных компонентов очень продуктивно с точки зрения дифференцированного подхода к чисто лингвистическим фактам, отражающим национальную специфику мироосмысления и мирооценки. Кроме того, компоненты обыденного сознания оказываются связанными с различными зонами языковой картины мира, структура языкового сознания определяет структуру порождаемой им проекции мира. В построении национальной языковой картины мира участвуют все компоненты языкового сознания: объект внеязыкового пространственно-временного континуума (термин О.А. Корнилова) воспринимается органами чувств (либо видится, либо слышится, либо ощущается), логически осмысливается (вычленяется из континуума в качестве денотата, подлежащего лексикализации, устанавливаются всевозможные логические связи этого объекта с другими, происходит его категоризация, т.е. отнесение к определенному классу объектов), затем объект получает первичную эмоциональную оценку и вторичную, более глубокую – ценностную.

Моделирование образов языкового сознания носителей двух языков, получивших отражение в национальных языковых ЯКМ, в нашем исследовании осуществляется через описание реального психологического значения слова (термин И.А. Стернина), противопоставленного его нормативному значению, зафиксированному в толковых словарях. Под психологически реальным значением понимается «упорядоченное единство всех семантических компонентов, которые... актуализируются у изолированно взятого слова в сознании носителей языка... более или менее ярких, ядерных и периферийных» [6. С. 487]. Психологически реальное значение теоретически может быть выявлено и описано в результате исчерпывающего анализа всех зафиксированных контекстов употребления слова (что на самом деле маловероятно технически). Оно также может быть выявлено экспериментальным путем, или анкетированием носителей языка. Как отмечают исследователи, «коммуникативная память организована очень сложно, она вбирает в себя бесконечный опыт социума и индивида. Один из важнейших путей познания такого опыта – включить носителя языка в метаязыковую рефлексивную деятельность» [7. С. 55]. Важно отметить, что в настоящее время уже ведется активная разработка словарей описательного типа, отражающих психологическую реальность значения слова: в Воронежском университете под руководством И.А. Стернина [8, 9] и в Кемеровском государственном университете под руководством Н.Д. Голева [10, 11, 12]. Например, Словарь обыденных толкований русских слов (СОТРС) обобщает результаты массового эксперимента с языковым сознанием рядовых носителей русского языка. Кроме того, появи-

лись словари, выполненные в сопоставительном аспекте. Речь идет о Славянском ассоциативном словаре [13], который дает представление о языковой картине мира четырех славянских народов, отражающей черты их национального характера, и об Алтайско-русском ассоциативном словаре Т.А. Голиковой [14], в котором представлены ассоциации слов двух этносов, проживающих на одной территории в ситуации билингвизма. Также опубликован проспект создания разноязычного словаря нового типа, в котором лексикографом выступает рядовой пользователь языка и показаны универсальные и национально-специфические характеристики бионимов, обусловленные национальной языковой картиной мира носителей сопоставляемых языков [15]. Наша работа вписывается в контекст данных исследований.

Психологически реальное значение слова в сознании рядовых носителей языка может быть репрезентировано в разных формах, что зависит от ситуации, контекста, типов сознания, уровней подготовки субъекта. Такими формами для каждого конкретного слова могут быть представления и понятия, нормативное значение и концепт, дефиниция и ассоциация, при этом содержание слова может быть репрезентировано с разной степенью полноты и точности. Все перечисленные формы, каждая в отдельности или все вместе, создают определенный облик значения слова, такой, каким он может быть представлен в сознании человека, обычного носителя языка. В данной статье получил отражение опыт изучения ассоциаций и метатекстов, полученных в результате толкования значения слова носителями русского и монгольского языков. В данном случае термин «толкование» трактуется нами как «интерпретационная процедура по отношению к слову в рамках наивного или профессионального лексикографирования» [10. С. 159], в результате которой появляется метатекст. В психологии под ассоциацией обычно понимается возникающая в опыте индивида закономерная связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, мыслями, чувствами и т.п.), которая выражается в том, что появление в сознании одного из содержаний влечет за собой и появление другого. Под словесной ассоциацией мы понимаем форму репрезентации лексического значения слова, представляющую собой спонтанную словесную реакцию на слово-стимул. По мнению ученых, ассоциативный эксперимент позволяет зафиксировать восприятие и оценку мира в определенный исторический момент «языкового минаритета», т.е. некоего безликого большинства членов общества, складывающегося из единичных сознаний конкретных языковых личностей [16. С. 779]. То, что называется «языковым минаритетом», может быть также охарактеризовано как «средняя языковая личность». В материалах нашего исследования зафиксирован коммуникативный и гносеологический опыт именно «усредненного» носителя русского и монгольского языков, сформировавшийся в повседневном обиходно-бытовом общении в границах своего этноса.

Подобно тому как в национальной культуре каждого народа есть общечеловеческое и этнонациональное, так и в семантике каждого языка получают отражение как общие, интернациональные компоненты культур, так и компоненты, отражающие культурное своеобразие конкретного народа. Универсальный семантический компонент обуславливается единством видения мира людьми разных культур, и это принципиальное единство проявляется на раз-

ных уровнях семантической организации языка, в том числе и на лексическом уровне. Так, межкультурная общность двух этносов – монгольского и русского – обуславливает антропоморфную универсальность наивной картины мира, которая запечатлевается в двух национальных языках – монгольском и русском. Эта общность проявляется в совпадении ассоциаций и обыденных толкований, которые мы получили при анкетировании носителей монгольского и русского языков. Например, в ассоциативных полях слов *кошка* и *муур* содержатся ассоциации, характеризующие животное по характерному признаку, характерному врожденному или приобретенному свойству, по исконной или приобретенной функции, по месту обитания животного или особенностям его содержания. Отметим, что в данном случае основным типом семантики является денотативный тип, при котором реализуется установка на описание самого предмета.

Культурные различия между языками также заметнее всего в лексике. В различных культурах даже одни и те же явления в чем-то своеобразны. Например, слово *кошка* может вызывать разный круг представлений, что в лингвострановедении называется лексическим фоном [14. С. 70–74]. Лексический фон – явление пограничное между языком и культурой. Расхождения в лексическом фоне сказываются в лексических и синтаксических связях слов и могут вызвать трудности как в общении, так и при обучении языку. Так, *кошка* для носителей русского языка – домашнее животное, которое «ловит крыс и мышей», «пушистое и ласковое», «имеет острый нюх и умеет видеть в темноте», «любит рыбу, но боится воды и собак», «свободолюбивое», а для носителей монгольского языка – это домашнее животное «с длинными когтями и большими зелеными глазами», «со злым умыслом» (в качестве иллюстрации приведены примеры обыденных толкований, полученных в направленном эксперименте с носителями русского и монгольского языков).

Различия в культурах могут сказаться в том, что в разных языках слова, совпадающие по денотату (с одинаковой предметной отнесенностью), могут различаться коннотативной семантикой (эмоциональными и оценочными оттенками). Например, в обыденных толкованиях слова *кошка* носителями русского языка встречаются такие оценочные характеристики животного, как «ласковая», «дарящая тепло и ласку», «домашний питомец», «пушистый комочек», «любимое домашнее животное», а в обыденных толкованиях слова *муур* («кошка»), полученных от носителей монгольского языка, содержатся следующие эмоционально-оценочные характеристики: «отвратительная», «с плохой энергетикой», «жестокая», «ужасная», «ненадежный друг», «хитрая», «жадная к еде».

В настоящей работе сопоставляются ассоциативные поля слов, полученные в свободном ассоциативном эксперименте, и наивные толкования этих же слов, также полученные в эксперименте, в котором носителей языка просят объяснить значение слова. Таким образом, структура значения рассматривается с двух точек зрения. Состав испытуемых: в лингвистическом эксперименте приняли участие 100 испытуемых – преимущественно студенты ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина» и Бийского технологического института (филиал ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный политехнический университет

им. И.И. Ползунова»), а также 100 испытуемых – преимущественно студенты Ховдского государственного университета (г. Ховд, Монголия) и около 20 сельских жителей Ховдского аймака (Монголия). Эмпирическую базу исследования составили 2000 ответов носителей русского языка на десять слов-стимулов русского языка (*верблюд, коза, корова, кошка, кролик, лошадь, овца, свинья, собака, як*) и 2000 ответов носителей монгольского языка на десять слов-стимулов монгольского языка, которые являются эквивалентами слов русского языка (*тэмээ, хонь, нохой, үнээ, ямаа, муур, морь, гахай, туулай, сарлаг*). Полученный материал был подвергнут семной интерпретации и полевому анализу полученных сем. Далее в качестве иллюстрации будет приведен фрагмент анализа двух слов *корова* и *үнээ* («корова»), обозначающих домашнее животное, играющее важную роль в хозяйстве как монголов, так и русских.

Экспериментальные данные представлены в табл. 1 и 2. Числовой индекс рядом с ассоциацией или с субъективной дефиницией в таблицах и далее по тексту обозначает их частотность в экспериментальном материале. При синтаксической синонимии реакции объединяются и в скобках пишется вариант, например: дает (дающее) молоко. Курсивом в реакциях выделены слова, части слова или сочетания слов, которые являются ключевыми для данного значения метатекста. В таблицах сохраняются слитные написания, сделанные участниками эксперимента.

Рассмотрим вначале обыденные толкования и ассоциации на слово *корова*, полученные путем анкетирования от носителей русского языка (табл. 1).

Таблица 1. Обыденное толкование и ассоциации на слово «корова» носителями русского языка

Метатексты, сгруппированные по содержанию	Ассоциации
1	2
1.1 домашнее животное 53; скотина 2; скот 9; всего – 64	–
1.2 дающее (которое дает; оно дает) <i>молоко</i> 15; дает <i>молоко</i> 17; молоко 6; дает (дающее) <i>молоко</i> , мясо 6; домашнее животное, которое приносит людям <i>молоко</i> , и из молока делают сыр, творог и т.д. 1; домашнее животное, производит выработку <i>молока</i> 1; животное которое выращивается людьми для получения <i>молока</i> и мяса 1; животное, которое держат для <i>молока</i> 1; животное из семейства парнокопытных, разводится в сельском хозяйстве с целью получения <i>молока</i> и мяса 2; источник <i>молока</i> и мяса 1; <i>молокодающее</i> 1; всего – 52	молоко 64; животное (крупная), дающее <i>молоко</i> 1; всего – 65
1.3 домашнее животное 33; дом 1; одомашненное 2; всего – 36	–
1.4 дает (дающее) <i>молоко</i> , <i>мясо</i> 7; говядина 2; животное, которое выращивается людьми для получения <i>молока</i> и <i>мяса</i> 1; животное из семейства парнокопытных, разводится в сельском хозяйстве с целью получения <i>молока</i> и <i>мяса</i> 2; источник <i>молока</i> и <i>мяса</i> 1; <i>мясо</i> 2; всего – 15	–
1.5 крупный рогатый (крупнорогатый) скот (крупнорогатое животное; крупно рогатое животное) 9; большое животное с четырьмя ногами по углам 1; больших размеров с рогами, различной окраски 1; всего – 11	животное (крупная), дающее <i>молоко</i> 1; большая 1; крупный рогатый скот 1; всего – 3
1.6 (животное) парнокопытное 11	–
1.7 животное, выращиваемое для <i>сельск. хозяйства</i> 1; животное из семейства парнокопытных, разводится в <i>сельском хозяйстве</i> с целью получения <i>молока</i> и <i>мяса</i> 1; <i>сельскохозяйственное</i> животное 1; с/х животное 1; всего – 4	–

Продолжение табл. 1

1	2
1.8 больших разм с рогами, различной окраски 1; с рогами 2; рога 1; всего – 4	рога 5; рогатая 1; всего – 6
1.9 животное, которое дает молоко и пасется на лугу 1; животное, которое ест траву 1; пасется на лугу 1; всего – 3	луг 1; пастбище 1; всего – 2
1.10 кормилица 3;	кормилица 2
1.11 домашнее животное, которое приносит людям молоко, и из молока делают сыр, творог и т.д. 1; животное, дающее масло 1; всего – 2	сметана 1
1.12 питается травой 1; травоядное 1; всего – 2	травя 4; сено 1; всего – 5
1.13 жующая жвачку 1; животное жвачное 1; всего – 2	–
1.14 животное, которое является священным в Индии 1; у некоторых народов Индии является сакральным животным 1; всего – 2	Индия 1
1.15 женская особь быка 1	бык 1
1.16 животное с четырьмя ногами по углам 1	–
1.17 больших размеров с рогами, различной окраски 1	пятна 1; хвост и пятна 1; всего – 2
1.18 глупая 1	–
1.19 домашний крупный рогатый скот, дающий молоко, мясо, кожу 1	–
1.20 живое существо 1	–
1.21 здоровье 1	здоровье 1
1.22 корова 1	корова 1;
1.23 обеспечитель 1	–
1.24 рога, мясо, 7 ведр крови и веселые глаза 1	–
1.25 парнокопытное животное с рогами и выменем 1	вымя 1
1.26 продуктивное домашнее животное 1	–
1.27 самка крупного рогатого скота 1	–
Ассоциации, по значению не соотносимые с толкованиями	
толстая 5; жирная 1; деревня 3; мычит 2; мычание 1; теленок 2; балда 1; Буренка 1; волоокая 1; враг 1; детство 1; доброта 1; колокольчик 1; коровник 1; плохая девушка (иногда жена) 1; толстая девушка 1; толстая, которая не может похудеть 1; стадо 1; плетка 1; реклама шоколада «Милка» 1; пастух 1; хвост и пятна 1.	

В толкованиях слова *корова* носителями русского языка можно выделить следующие семы: «животное» (64); «дающее молоко» (52); «домашнее» (36); «дающее мясо» (15); «крупное» (11); «парнокопытное» (11); «с рогами» (4); «сельское хозяйство» (4); «кормилица» (3); «пасется на лугу» (3); «травоядное» (2); «жвачное» (2); «из коровьего молока изготавливают сыр, творог, масло» (2); «священное животное в Индии» (2).

В обыденных толкованиях на уровне индивидуальных личностных смыслов встречаются такие семы, как «женская особь быка», «дающая кожу», «живое существо», «с выменем».

В ассоциативных реакциях также можно выделить следующие семантические признаки: «продукты, получаемые от животного» (*молоко* 64, *дающая молоко* 1 – 65); «название тела животного, части тела, продукта жизнедеятельности» (*рога* 6, *пятна* 2, *рогатая* 1, *хвост* 1, *вымя* 1 – 11); «эмоциональное отношение к животному» (*кормилица* 2, *волоокая* 1, *доброта* 1, *детство* 1, *враг* 1, *балда* 1, *Буренка* 1 – 8); «корм для животного» (*травя* 4, *сено* 1 – 5); «характерный признак, качество» (*крупная* 1, *большая* 1, *крупный рогатый скот* 1 – 3); «место обитания» (*луг* 1, *пастбище* 1 – 2).

Сопоставительный анализ языковых данных, полученных в эксперименте, свидетельствует о том, что в центре языкового сознания русской языковой личности со словом соотносится утилитарный компонент, выражающий

прагматическое отношение человека к денотату, например: корова – это животное, дающее молоко и мясо. Квантитативная мощность данного компонента обеспечивается 67 рецептивными реакциями и 65 ассоциативными реакциями, всего – 132).

В зону пересечения рецептивного и ассоциативного полей слова включается также энциклопедический компонент, который объединяет признаки, требующие знакомства с предметом на базе опыта, обучения, взаимодействия с денотатом. Пересекающимися являются следующие семантические группы: «название тела животного, части тела, продукта жизнедеятельности» (квантитативная мощность: 4 и 11; всего 15 реакций); «характерный признак, качество» (квантитативная мощность – 11 и 3; всего 14 реакций); «место обитания» (всего 5 (3 и 2) реакций).

В зону расхождения между двумя типами полей включаются следующие компоненты: в рецептивное поле (поле толкования) включаются понятийные признаки, выражающие наиболее существенные квалификативные признаки данного животного, получившие отражение в словарном толковании слова. К их числу относятся следующие: «животное» (53), домашнее (33), «парнокопытное» (11), «жвачное» (2); всего – 99 реакций.

В ассоциативном поле представлен оценочный компонент, объединяющий когнитивные признаки, выражающие отношение говорящего к денотату. Это могут быть как аксиологические, так и характеризующие оценки (квантитативная мощность – 8 реакций). Кроме того, в ассоциативном поле слова содержатся реакции, относящиеся к социально-культурному компоненту, в котором объединяются когнитивные признаки, связанные с бытом и культурой народа, с традициями, деятелями культуры и искусства, их произведениями (*Буренка* 1, *реклама шоколада «Милка»* 1, *детство* 1, *деревня* 3, *колокольчик* 1; всего – 5).

Кроме того, в ассоциативном поле слова содержатся ассоциации, связанные с переносным значением слова (*толстая* 5, *толстая девушка* 2, *жирная* 1, *плохая девушка (иногда жена)* 1, *толстая, которая не может похудеть* 1; всего 10).

Таким образом, обыденные метаязыковые дефиниции и ассоциативные поля анализируемого слова имеют как зону пересечения, так и зону расхождения (контраста), определяемую спецификой, вытекающей из разного акцентирования содержания. Следует отметить, что данный вывод согласуется с результатами исследований о соотношении обыденных толкований и ассоциативных полей слов, выполненных на другом языковом материале [12, 18].

Проанализируем интерпретационное поле, образованное обыденными толкованиями ассоциациями на слово *унээ*, в языковом сознании монгольской языковой личности (табл. 2). В данной таблице после толкования на монгольском языке в скобках приводится русский подстрочный перевод.

Таблица 2. Обыденное толкование и ассоциации на слово «үнээ» носителями монгольского языка

Метатексты (с подстрочниками на русском языке), группированные по содержанию	Ассоциации
1	2
1.1. Мал 5 (скот); Бод мал 2 (крупнорогатый скот); Таван хошуу малын нэг, бод мал 2 (один из пяти видов домашних животных, крупный рогатый скот); Таван хошуу малын нэг, эм үхэр 1 (один из пяти видов домашних животных, самка крупного рогатого скота); Үхрийн эмийг нэрлэдэг, урт нарийхан сүүлтэй 1 (называет самку крупного рогатого скота, с длинным тонким хвостом); Эм үхэр сүүгээр нь цагаан идээ хийдэг 1 (самка крупного рогатого скота, делают молочные продукты из ее молока); Эм үхэр 1 (самка коровы); Үнээ бол эм үхэр 1 (корова – это самка крупнорогатого скота); Саах бод мал 1 (доить, крупный рогатый скот); Сүү, бод мал 1 (молоко, крупный рогатый скот); всего – 21	Бод мал (Бод) 5 (крупный рогатый скот скот), Мал 4 (животное), Үнээ нь бод мал 1 (корова – это крупный рогатый скот), Бод малын нэг үнээ 1 (корова – одно из крупных рогатых парнокопытных животных); всего – 11
1.2 Сүү 3 (молоко); Сүү, тараг 1 (молоко, кефир); Үнээний сүү 1 (молоко коровы); Цагаан идээ 1 (молочный продукт); Сүү их өгдөг үхэр 1 (корова, дающая большое молоко); Саадаг, сүүтэй 1 (доят, молочный); Саах, цэвэр сүү 1 (доить, натуральное молоко); Сүү гаргах 1 (дать молоко); Хүмүүст цагаан идээ өгдөг 1 (даёт людям молочный продукт); Сүү, бяслаг, мах 1 (молоко, сыр, мясо); Удаан, хойрго, сүү 1 (медлительный и ленивый, молоко); Эм үхэр сүүгээр нь цагаан идээ хийдэг 1 (самка крупного рогатого скота, делают молочные продукты из ее молока); Сүү өгдөг 1 (даёт молоко); Хүмүүсийг сүүгээрээ хооллодог 1 (кормит людей молоком); Сүү, бод мал 1 (молоко, крупный рогатый скот); Эх хүний сүү, хайр 1 (мамино молоко, любовь); Сүүний үйлдвэр 1 (завод молока); Хүмүүсийг сүүгээрээ хооллодог 1 (кормит людей молоком); всего – 20	Сүү 19 (молоко), Сүү сааль 2 (молоко, удой), Сүү тараг 2 (молоко, творог), Сүүтэй 2 (молочный), Цагаан идээ 1 (молочные продукты), Их сүүтэй 1 (с обильным молоком), Сүү өгдөг 1 (даёт молоко), Сүү өгдөг 1 (даёт молоко), Их сүүтэй 1 (очень молочный), Хүмүүст хамгийн их сүүгээ өгдөг амьтан 1 (дающее молоко больше всех людям); всего – 31
1.3 Саах 3 (доить); Саалийн үхэр 3 (дойная корова); Айлын саадаг малын нэг төрөл 1 (один вид дойного скота людей); Үнээ саах 1 (доить корову); Саадаг, сүүтэй 1 (доят, молочный); Саах, цэвэр сүү 1 (доить, натуральное молоко); Саах бод мал 1 (доить, крупный рогатый скот); Сүү гаргадаг үнээг сааж сүү авдаг 1 (даёт молоко, получают молоко, доя корову); всего – 12	Саах 9 (доить), Саадаг 1 (доит), Үнээ саах 1 (доить корову), Саав 1 (доил); всего – 12
1.4 Хүнд хэрэгтэй юмыг өгдөг 1 (даёт полезные вещи человеку); Эзэндээ ээлтэй үр шимээ өгдөг 1 (приносящее хозяину счастье и даёт полезные вещи); Тал талын ашигтай 1 (всестороннее полезное); Том, шим тэжээл нь сайн 1 (большое и хорошая питательность); Өгөөжтэй 1 (полезная); Сүү нь илүү ашиг тустай ба үнээ чухал үүрэгтэй 1 ([е] молоко очень полезное, и корова выполняет важную роль (в жизни человека)); Үр шимтэй амьтан гэсэн утгатай байх. Бүх зүйлийг нь хаялгүй ашигладаг учираас 1 (может быть, обозначает полезное животное. потому что все предметы используем, не выкидывая); Ашиг шимтэй мал 1 (полезный скот); Сүү нь илүү ашиг тустай ба үнээ чухал үүрэгтэй 1 ((е) молоко очень полезное, и корова выполняет важную роль [в жизни человека]); Үр шимтэй амьтан гэсэн утгатай байх. Бүх зүйлийг нь хаялгүй ашигладаг учираас 1 (может быть, обозначает полезное животное, потому что, все предметы используем, не выкидывая); Сүү мах ихтэй чанартай амьтань 1 (качественное животное, имеющее много мяса и молоко); всего – 12	–
1.5 Таван хошуу малын нэг 4 (один из пяти видов домашних животных); Таван хошуу мал 2 (пять видов домашних животных); Таван хошуу малын нэг, бод мал 2 (один из пяти видов домашних животных, крупный рогатый скот); Ашиг шимтэй мал 1 (полезный скот); Таван хошуу малын нэг, эм үхэр 1 (один из пяти видов домашних животных, самка крупного рогатого скота); всего – 10	–

Продолжение табл. 2

1	2
1.6 Удаан 2 (медленный); <i>Удаан, хойрго</i> , сүү 1 (<i>медлительный и ленивый</i> , молоко); <i>Удаан хөдөлгөөн</i> амьтан 1 (животное с <i>медленным движением</i>); тайван 1 (медленный и спокойный); всего – 5	Номхон 1 (спокойный), Тайван 2 (тихий); всего – 3
1.7 <i>Эвэрлэг</i> 1 (рогатая); <i>Эвэр сүүл</i> 1 (рога и хвост); Дөрвөн хөлтэй <i>эвэртэй</i> амьтанг үнээ гэнэ 1 (животное, которое имеет четыре ноги и <i>рога</i> , называется коровой); <i>Эвэртэй</i> 1 (рогатое); Үхрийн эмийг нэрлэдэг, <i>урт нарийхан сүүлтэй</i> 1 (называет самку крупного рогатого скота, с <i>длинным тонким хвостом</i>); всего – 5	Урт сүүлтэй 1 (с длинным хвостом), <i>Эвэр</i> 1 (рога), всего – 2
1.8 Элэгсэг 1 (доброжелательный); Хөөрхөн 1 (милий); Эзэндээ <i>ээлтэй</i> амьтан 1 (животное, <i>приносящее</i> хозяину <i>счастье</i>); Эзэндээ <i>ээлтэй</i> үр шимээ өгдөг 1 (<i>приносящее</i> хозяину <i>счастье</i> и дает полезные вещи); всего – 4	Малын дундаас хамгийн сайхан нь 2 (самое красивое из животных); всего – 2
1.9 Сүү, бяслаг, <i>мах</i> 1 (молоко, сыр, <i>мясо</i>); Махыг нь зардаг 1 (продают ее мясо); Сүү <i>мах</i> ихтэй чанартай амьтань 1 (качественное животное, имеющее много <i>мяса</i> и молока); всего – 3	Мах 1 (мясо)
1.10 Мөөрөх 1 (мычать); Мөөрдөг 1 (мычит); всего – 2	Мөөрөх 1 (мычать), Мөөрнө 1 (мычит); всего – 7
1.11 Сүүгээр нь элгэн тараг бүрхэд их амттай 1 (приготовить из молочка [коровы] простоквашу, получается очень вкусно);	–
1.12 Тугал 1 (теленка);	Тугал 8 (теленка), <i>Тугал</i> хөхүүлэх 2 (кормит <i>теленка</i>), <i>Тугал</i> гаргадаг 1 (заводит <i>теленка</i>), Тугаллах 1 (телиться); всего – 12
1.13 <i>Том</i> , шим тэжээл нь сайн 1 (<i>большое</i> и хорошая питательность);	–
1.14 <i>Дөрвөн хөлтэй</i> эвэртэй амьтанг үнээ гэнэ 1 (животное, которое имеет <i>четыре ноги</i> и рога, называется коровой);	–
1.15 Үрчийхгүй, ярвайхгүй бол үнээний магнай шиг болно 1 (если не хмуришься или не морщишься, будешь как лоб коровы);	–
1.16 Том гэдэс 1 (большой живот);	Тарган 2 (упитанный), Бүдүүн 1 (толстый); всего – 3
1.17 Эх хүний сүү, <i>хайр</i> 1 (мамино молоко, <i>любовь</i>);	–
1.18 Салаа туурайтан 1 (парнокопытное);	–
1.19 Улаан шар 1 (оранжевый); Өнгө 1 (цвет);	–
1.20 <i>Залхуу</i> амьтан 1 (<i>ленивое</i> животное);	–
1.21 Хангай ихэвчлэн амьдардаг 1 (обычно живут в гористой и лесистой местности);	–
Ассоциации, по значению не соотносимые с толкованиями	
Үхэр 6 (бык), Сарлаг 4 (як), Бух 2 (бык производитель); всего – 12;	
4 хөхтэй 2 (с 4 сосками), Дэлэн 1 (вымя); всего – 6;	
Чоно 1 (волк), Ямаа 1 (коза); всего – 2;	
Үхэр тэргээр туулай гүйцэх 1, Үхэргүй хүн намрын цагт гутамшиг 1 (стыдно человеку осенью, у которого нет коровы), Сааж байгаа үхэр мэт 1 (как дойная корова); всего – 3;	
Ферм 1 (ферма); Үнэр 1 (запах); Өвс 1 (сено); Хуцах 1 (лаять); Ам 1 (рот); Эх хүн 1 (мать); Сандал 1 (табуретка); Зэл 1 (протянутая волосная веревка для привязывания телят и жеребят)	

Ядро интерпретационного поля слова составляют метаязыковые дефиниции и ассоциации, относящиеся к утилитарному компоненту семантики: «дающая молоко», квантитативная мощность которого составляет 51 реакцию (20 рецептивных реакций и 31 ассоциативная реакция). В зоне пересечения рецептивного и ассоциативного полей содержатся также фрагменты энциклопедического компонента: «действие человека, связанного с животным»,

«дойть»: всего – 24 реакции (12 и 12); «характерный признак, качество» (спокойный, тихий, медлительный, упитанный, толстый): всего 11 реакций (6 и 5); «название тела животного, части тела, органа, продукта жизнедеятельности» (рога, хвост): всего 7 реакций (5 и 2); «исконная или приобретенная функция (мычать): всего 9 реакций (2 и 7); «названия самок, самцов, детенышей» (теленки): всего 9 реакций (1 и 8). На пересечении полей находится также оценочный компонент (красивое животное, приносящее счастье): всего 6 реакций (4 и 2).

В зону расхождения в области обыденных толкований включаются классификационный компонент «один из пяти видов домашних животных» (10 реакций) и утилитарный компонент «полезное животное» (12 реакций). К числу ассоциаций, не совпадающих по значению с обыденными толкованиями, относятся «названия самок, самцов, детенышей» (12 реакций); «названия других животных» (всего 2), а также ассоциации, образующие социально-культурный компонент (3 реакции).

Сопоставительный анализ интерпретационных полей слов *корова* и *унээ* в языковом сознании русской и монгольской языковой личности позволяет сделать следующие выводы:

1. Русская и монгольская языковые картины мира имеют зоны пересечения и расхождения. При анализе обыденных толкований, входящих в состав интерпретационных полей, были выявлены следующие пересекающиеся семантические зоны (количественные показатели отражают абсолютное количество реакций в русском и монгольском материале соответственно): «крупный рогатый скот» (11 и 31); «дает молоко» (52 и 20); «с рогами» (4 и 5); «животное, которое выращивают для получения мяса» (15 и 3); «парнокопытное» (11 и 1).

2. Различающимися признаками на уровне обыденных толкований являются: у русских – «животное» (64); «домашнее» (36); «разводится в сельском хозяйстве» (4); «пасется на лугу» (3); «животное, из молока которого делают сыр, творог» (2); «травоядное» (2); «жвачное» (2); «животное, которое является священным в Индии» (2); у монголов – «разновидность дойного скота» (12); «полезное животное» (12); «спокойное и медлительное животное» (5); «животное, приносящее хозяину счастье» (4); «мычит» (2); «из молока которого получают вкусную простоквашу» (1), «с большим животом» (1); «ленивое» (1).

3. Как видно, в центре языкового сознания русской и монгольской языковой личности находятся когнитивные признаки, выражающие утилитарное, прагматическое отношение человека к данному животному: «животное, которое выращивают с целью получения молока и мяса». Значимым также является понятийный признак квалифицирующего типа, включающий животное в класс объектов – «крупный рогатый скот».

В обыденных толкованиях носителей русского языка, не пересекающихся с обыденными толкованиями на монгольском языке, преобладают признаки квалифицирующего характера, а в толкованиях монгольского языка – семантические признаки, характеризующие животных по врожденным или приобретенным качествам, свойствам и функциям, а также признаки, передающие эмоционально-оценочное отношение к животному.

4. При сопоставлении ассоциативных полей слов *корова* и *үнээ* в языковом сознании русской и монгольской языковой личности также были обнаружены зоны пересечения и расхождения. Совпадающими оказались ассоциации, относящиеся к таким сферам референции, как «молоко» (65 и 31); «крупный рогатый скот» (3 и 11); «с рогами» (6 и 1); «с выменем» (1 и 6); «бык» (1 и 12); теленок (2 и 12); «трава, сено» (5 и 1); «характерная функция» (3 и 7).

5. К несовпадающим ассоциациям в русском языке относятся ассоциации, связанные со следующими семантическими признаками: «изделия из молока» (сметана 1); «места обитания» (деревня 3, коровник 1, луг 1, пастбище 1); «название тела животного или его части» (вымя 1); «характерное качество или свойство» (волоокая 1, доброта 1); «артефакты, связанные с животным» (колокольчик 1, плетка 1); «название совокупности животных» (стадо 1); «эмоциональное, оценочное отношение к животному» (здоровье 1, детство 1; кормилица 2); «культурные ассоциации» (Буренка 1, реклама шоколада «Милка» 1); «человек по отношению к животному» (пастух 1).

В монгольском ассоциативном материале к таким несовпадающим ассоциациям относятся следующие: «характерное качество или свойство» (тарган 2 (упитанный), бүдүүн 1 (толстый); номхон 1 (спокойный), тайван 2 (тихий)); «названия других животных» (чоно 1 (волк), ямаа 1 (коза)); «артефакты, связанные с животным» (сандал 1 (табуретка); зэл 1 (протянутая волосная веревка для привязывания телят и жеребят)); «место обитания животного» (ферм 1 (ферма)); «оценка животного» (малын дундаас хамгийн сайхан нь 2 (самое красивое животное); «культурные ассоциации» (Үхэргүй хүн намрын цагт гутамшиг 1 (стыдно человеку осенью, у которого нет коровы), Сааж байгаа үхэр мэт 1 (как дойная корова)).

Таким образом, в построении данного фрагмента русской и монгольской национальных языковых картин мира участвуют все компоненты языкового сознания, но роль каждого из них в формировании национальной специфики данного семантического континуума у того и у другого народов неодинакова. При формировании национальных языковых картин мира в их ассоциативном измерении большое значение имеет сенсорно-рецептивный компонент, под влиянием которого образуются когнитивные признаки, объединяющиеся в энциклопедический и утилитарный компоненты ассоциативных полей.

Доля когнитивных признаков в составе эмоционально-оценочного и социально-культурного компонентов ассоциативных полей, формирующихся под влиянием эмоционально-оценочного и нравственно-ценностного компонентов сознания, по сравнению с энциклопедическим и утилитарным компонентами невелика, однако именно они относятся к числу компонентов, определяющих «лицо» национального мировидения. Больше всего неповторимость фрагмента национальной языковой картины мира, обозначающего домашних животных, в национальном семантическом универсуме определяется работой именно этих компонентов. Различия могут быть связаны с характером самой оценки. Так, в ассоциативном поле слова «үнээ» положительная оценка коровы связана в большей степени со зрительным восприятием животного: малын дундаас хамгийн сайхан нь 2 (самое красивое животное). А в ассоциативном поле слова «корова» в русской национальной картине мира

преобладают реакции, связанные с характеристикой психологического опыта общения с животным: здоровье, детство; кормилица; доброта.

Наряду с нормативными компонентами самыми многочисленными в ассоциативных полях слов в русской и монгольской национальных картинах мира являются энциклопедические компоненты. При этом для двух языковых картин мира характерно несовпадение объемов значений слов, обозначающих одно животное (например, больший вес энциклопедического компонента у слова «үнээ» (44,1%) по сравнению со словом «корова» (28,7%). Различна также степень дифференциации значений одноименных слов. Например, в ассоциативном поле слова «үнээ» содержится 28 различных энциклопедических реакций, а в ассоциативном поле «корова» – 23 реакции.

Энциклопедические компоненты ассоциативных полей слов двух различных национальных картин мира имеют зоны тождества, которые образуются совпадающими реакциями, и зоны контраста с различающимися реакциями. Приведем пример фрагментов ассоциативных полей слов «корова» и «үнээ», в которых совпадающие реакции выделены подчеркиванием: рога 5, трава 4, деревня 3, мычит 2, теленки 2, Буренка, волоокая 1, вымя 1, детство 1, колокольчик 1, коровник 1, луг 1, Индия 1, мычание 1, сено 1, сметана 1, стадо 1, пятна 1, плетка 1, рогатая 1, пастбище 1, пастух 1, хвост и пятна 1;

4 хөхтэй 2 (с 4 сосками), урт сүүлтэй 1 (с длинным хвостом), тугал хөхүүлэх 2 (кормит теленка), эвэр 1 (рога), ам 1 (рот), дэлэн 1 (вымя), тарган 2 (упитанный), бүдүүн 1 (толстый), номхон 1 (спокойный), тайван 1 (тихий), тугал гаргадаг 1 (заводит теленка), тугаллах 1 (телиться), мөөрөх 1 (мычать), хуцах 1 (лаять), мөөрнө 1 (мычит), ферм 1 (ферма), өвс 1 (сено), тугал 8 (теленки), бух 2 (бык-производитель), үхэр 6 (бык), сарлаг 4 (як), чоно 1 (волк), ямаа 1 (коза), үнэр 1 (запах), сандал 1 (табуретка), зэл 1 (протянутая волосная веревка для привязывания телят и жеребят).

Как видно из сопоставительного анализа, тождественными являются 8 реакций, а различающимися – 15 и 18 реакций соответственно. К совпадающим ассоциациям на слова «корова» и «үнээ» в двух лингвокультурах относятся слова, обозначающие яркие внешние признаки животного (рога, вымя, хвост, урт сүүлтэй, эвэр, дэлэн), особенности его поведения (мычать, мөөрнө), кормления и содержания (сено, коровник, ферм, өвс). Различающиеся ассоциации в русской национальной ЯКМ связаны с местом и оседлым характером содержания животного (деревня, пастбище, пастух, трава, колокольчик, плетка, луг), с возрастом человека (детство), с культурными артефактами (Индия, Буренка, волоокая); в монгольской национальной ЯКМ – с характерными свойствами животного (номхон, тугал хөхүүлэх, тайван, тарган); с плодородием (тугал хөхүүлэх, тугал гаргадаг, тугаллах, бух, зэл).

Еще раз подчеркнем, что наиболее близкими в содержательном отношении являются утилитарные компоненты различных национальных языковых картин мира. Совпадение реакций, входящих в состав данных компонентов, во многом связано с совпадением прагматического отношения людей к домашним животным в обеих национальных культурах.

Литература

1. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЧеРо, 2003. 349 с.
2. Бодуэн де Куртене И.А. Значение языка как предмета изучения // Избранные труды по общему языкознанию / отв. ред. С.Г. Бархударов. Т. 2. М., 1963.
3. Морковкин В.В. Язык как проводник и носитель знания / В.В. Морковкин, А.В. Морковкина // Русский язык за рубежом. 1997. № 1–2. С. 44–53.
4. Касевич В.Б. Буддизм: Картина мира. Язык. 2-е изд. СПб., 2004. 281 с.
5. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 428 с.
6. Стернин И.А. Значение и концепт: сходства и различия // Языковая личность: текст, словарь, образ мира: К 70-летию чл.-корр. РАН Юрия Николаевича Караулова: сб. статей. М., 2006. 544 с.
7. Голев Н.Д. Словарь обыденных толкований слов: концепция и опыт реализации // Вопр. лексикографии. 2013. № 2(4). С. 48–64.
8. Стернин И.А. К разработке психолингвистического толкового словаря // Вопр. психолингвистики. 2010. №12. С. 57–63.
9. Стернин И.А. Проблемы сознания психолингвистического толкового словаря русского языка / И.А. Стернин, А.В. Рудакова // Вопр. психолингвистики. 2012. № 16. С. 174–183.
10. Голев Н.Д. Лексикографические аспекты изучения обыденного метаязыкового сознания: (Словарь обыденных толкований русских слов: концепция, проект, опыт реализации) // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 3 / отв. ред. Н.Д. Голев. Кемерово, 2010. С. 158–192.
11. Словарь обыденных толкований русских слов. Лексика природы: в 2 т. Т. 1: А–М (АБ-РИКОС – МУРАВЕЙ) (478 слов-стимулов) / под ред. Н.Д. Голева; авт.-сост. М.Ю. Басалаева, М.Е. Воробьева, Н.Д. Голев [и др.]. Кемерово, 2012. 536 с.
12. Воробьева М.Е. Интерпретационное функционирование юридического языка в обыденном сознании (на материале толкований юридических терминов рядовыми носителями русского языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2014. 24 с.
13. Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А., Караулов Ю.Н., Тарасов Е.Ф. Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский. М.: Ин-т языкознания РАН, 2004. 800 с.
14. Голикова Т.А. Алтайско-русский ассоциативный словарь (Алтай-орус ассоциативный сۆзлик). М.: Изд-во ОЛСИБ, 2004. 380 с.
15. Голев Н.Д., Ким Л.Г., Стеванович С.В. Разноязычный словарь как отражение славянского ментально-языкового единства и межкультурных различий // Русин. 2015. № 3 (41). С. 39–54.
16. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Русский ассоциативный словарь: в 2 т. Т. 1. От стимула к реакции: ок. 7000 стимулов. М., 2002. 784 с.
17. Верецагин Е.М. Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1976. 248 с.
18. Ерофеева Е.В. Соотношение обыденных толкований и ассоциативных полей слов // Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 4 / отв. ред. Н.Д. Голев. Кемерово, 2012. С. 64–74.

NATIONAL LINGUISTIC WORLD IMAGE AS A COMPONENT OF LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF A RUSSIAN AND MONGOLIAN LANGUAGE PERSONALITY (A COMPARATIVE ASPECT)

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 80–95. DOI: 10.17223/19986645/39/7
Shkuropatskaya Marina G., Davaa Undarmaa, Shukshin Altai State Academy of Education (Biysk, Russian Federation). E-mail: marina-shkuropac@mail.ru / undaraa_0720@yahoo.com

Keywords: national linguistic world image, linguistic consciousness, Russian language personality, Mongolian language personality, thematic group “domestic animals”, linguistic experiment.

The article presents the results of a comparative analysis of two national linguistic world images reflecting representations of the world of native speakers of the Russian and Mongolian languages. The

national linguistic world image is seen as a linguo-mental component of the linguistic consciousness of native speakers.

The purpose of the research is achieved by surveying native speakers of Russian and Mongolian (100 people from each ethnic group) with a further description of the material: associative fields and ordinary interpretations of words of the thematic group “domestic animals”. As an illustration, a comparative analysis of two words, Russian “korova” [cow] and Mongolian “unee” [cow] is made.

We obtained the following main results of the comparative study of the ordinary interpretations of the words: 1. Russian and Mongolian linguistic world images in this part of the language system have areas of intersection and divergence. 2. In the center of the linguistic consciousness of Russian and Mongolian language personalities are cognitive features expressing the utilitarian attitude of man to animal. Conceptual features of qualifying nature are also significant. 3. Russian and Mongolian linguistic world images differ in the features that characterize the animal’s innate or acquired qualities, properties, functions. They also differ in the characteristics conveying the emotional attitude of man to the animal.

We also found areas of intersection and divergence in associative fields. The intersection areas are associations related to such areas of reference as “milk”, “cattle”, “horns”, “characteristic function”. Divergence in associations is related to the following areas of reference: in Russian: “habitat”, “characteristic features, properties”, “artifacts associated with the animal”, “emotional-evaluative attitude to the animal”; in Mongolian: “names of other animals”, “evaluation of the animal”, “associations connected with national culture”.

Thus, the construction of this fragment of the Russian and Mongolian national linguistic world images involves all components of ordinary linguistic consciousness, but the role of each of them in the formation of the national worldview is not the same.

The sensory-receptive component of consciousness has a greater influence on the formation of the national linguistic world image. Under the influence of this component cognitive features are formed uniting the encyclopedic and utilitarian components of the associative fields and interpretations of words in both languages.

There are a few cognitive features of emotional-evaluative and socio-cultural components in the structure of the associative fields, and in the ordinary interpretations of the words. However, they are among the components that determine the uniqueness of the national linguocultures.

References

1. Kornilov, O.A. (2003) *Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye natsional'nykh mentalitetov* [Linguistic pictures of the world as derivatives national mentalities]. 2nd ed. Moscow: CheRo.
2. Baudouin de Courtenay, I.A. (1963) *Znachenie yazyka kak predmeta izucheniya* [The value of language as a subject of study]. In: Barkhudarov, S.G. (ed.) *Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniiyu* [Selected works on general linguistics]. Vol. 2. Moscow: USSR AS.
3. Morkovkin, V.V. & Morkovkina, A.V. (1997) *Yazyk kak provodnik i nositel' znaniya* [Language as a conductor and carrier of knowledge]. *Russkiy yazyk za rubezhom*. 1–2. pp. 44–53.
4. Kasevich, V.B. (2004) *Buddizm. Kartina mira. Yazyk* [Buddhism. Picture of the world. Language]. 2nd ed. St. Petersburg.
5. Shcherba, L.V. (1974) *Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost'* [Language system and speech activity]. Leningrad: Nauka.
6. Sternin, I.A. (2006) *Znachenie i kontsept: skhodstva i razlichiya* [The meaning and concept: similarities and differences]. In: *Yazykovaya lichnost': tekst, slovar', obraz mira. K 70-letiyu chl.-korr. RAN Yuriya Nikolaevicha Karaulova: Sb. Statey* [Language personality: text, dictionary, image of the world. On the 70th anniversary of Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Yu.N. Karaulov: Coll. Articles]. Moscow: People's Friendship University of Russia.
7. Golev, N.D. (2013) The Dictionary of the Common Interpretation of Russian Words: the conception and the experience of its implementing. *Voprosy leksikografii – Journal of Lexicography*. 2(4). pp. 48–64. (In Russian).
8. Sternin, I.A. (2010) To the development of psycholinguistic explanatory dictionary. *Voprosy psikholingvistiki*. 12. pp. 57–63. (In Russian).
9. Sternin, I.A. & Rudakova, A.V. (2012) Problemy sozdaniya psikholingvisticheskogo tolkovogo slovary russkogo yazyka [Problems of development a psycholinguistic explanatory dictionary of the Russian language]. *Voprosy psikholingvistiki*. 16. pp. 174–183.
10. Golev, N.D. (2010) *Leksikograficheskie aspekty izucheniya obydenno metazykovogo*

soznaniya (Slovar' obydennykh tolkovaniy russkikh slov: kontseptsiya, proekt, opyt realizatsii) [Lexicographic aspects of studying everyday metalinguistic consciousness (The Dictionary of the Common Interpretation of Russian Words: conception, project, implementation experience)]. In: Golev, N.D. (ed.) *Obydennoe metazykovoe soznanie: ontologicheskie i gnoseologicheskie aspekty* [The ordinary metalinguistic consciousness: the ontological and epistemological aspects]. Vol. 3. Kemerovo: Kemerovo State University.

11. Golev, N.D. (ed.) (2012) *Slovar' obydennykh tolkovaniy russkikh slov. Leksika prirody: v 2 t.* [The Dictionary of the Common Interpretation of Russian Words: in 2 vols]. Vol. 1. Kemerovo: Kemerovo State University.

12. Vorob'eva, M.E. (2014) *Interpretatsionnoe funktsionirovanie yuridicheskogo yazyka v obydennom soznanii (na materiale tolkovaniy yuridicheskikh terminov ryadovymi nositelyami russkogo yazyka)* [Interpretive functioning of legal language in everyday consciousness (based on the interpretation of legal terms by ordinary native speakers of Russian)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kemerovo.

13. Ufimtseva, N.V. et al. (2004) *Slavyanskiy assotsiativnyy slovar': russkiy, belorusskiy, bolgarskiy, ukrainskiy* [Slavic associative dictionary: Russian, Belarusian, Bulgarian, Ukrainian]. Moscow: Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences.

14. Golikova, T.A. (2004) *Altaysko-russkiy assotsiativnyy slovar'* [Altai-Russian Associative Dictionary]. Moscow: OLSIB.

15. Golev, N.D., Kim, L.G. & Stevanovich, S.V. (2015) A Multilingual Dictionary as a Reflection of Slavic Mental-Linguistic Unity and Cross Cultural Differences. *Rusin.* 3 (41). pp. 39–54. (In Russian).

16. Karaulov, Yu.N. (2002) Russkiy assotsiativnyy slovar' kak novyy lingvisticheskiy istochnik i instrument analiza yazykovoy sposobnosti [Russian associative dictionary as a new linguistic source and analysis tool of language ability]. In: Karaulov, Yu.N. et al. *Russkiy assotsiativnyy slovar'. V 2 t.* [Russian associative dictionary. In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: AST-Astrel'.

17. Vereshchagin, E.M. & Kostomarov, V.G. (1976) *Yazyk i kul'tura* [Language and culture]. Moscow: MGPIYa.

18. Erofeeva, E.V. (2012) Sootnoshenie obydennykh tolkovaniy i assotsiativnykh poley slov [The ratio of ordinary interpretations and associative fields of words]. In: Golev, N.D. (ed.) *Obydennoe metazykovoe soznanie: ontologicheskie i gnoseologicheskie aspekty* [The ordinary metalinguistic consciousness: the ontological and epistemological aspects]. Vol. 4. Kemerovo: Kemerovo State University.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/39/8

И.В. Ащеулова

ТРАВЕСТИЯ МЕССИАНСКОГО СЮЖЕТА В РОМАНЕ В. КОРОТКЕВИЧА «ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ГРОДНО» И РОМАНЕ В. ШАРОВА «РЕПЕТИЦИИ»

В статье рассматриваются романы русского (В. Шаров «Репетиции», 1992) и белорусского (В. Короткевич. «Христос приземлился в Гродно», 1966) писателей в аспекте использования ими сюжета «Второе пришествие Христа». Исследуется проблема восприятия писателями сакрального сюжета через прием травестии, когда происходит не только проверка «высокого», но и анализирование «низкой» реальности. Функционирование сюжета в поэтике романов позволяет раскрыть отношение писателей к собственной национальной истории, к личности в истории и представить историческую модель, актуальную для каждого из писателей.

Ключевые слова: Короткевич, Шаров, травестия, история, сюжет.

Травестия (от ит. *travestire* – «переодевать») в истории литературы существует в двух вариантах. Во-первых, это тип комической имитации, пародии, когда писатель берет известные сюжеты, образы или «чужие» произведения и с помощью сюжетно-образных травестийных приемов («низких литературных форм») снижает, «переодевает» известное. Во-вторых, это историческая форма ирои-комической поэмы, существовавшей в европейской литературе XVII–XVIII вв. В русской литературе этот жанр пользовался популярностью во второй половине XVIII в. Можно назвать произведения В.И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1769) или И.С. Баркова. Общая характеристика жанра ирои-комической поэмы связана с приемами «приземления», снижения образов героев и богов. Их поступки получали заведомо бытовую, повседневную, «пошлую» мотивировку, а речь изобиловала «пренизкими» словами. В начале XIX в. жанр ирои-комической поэмы уступает место приему имитации. В качестве имитации травестия может быть направлена как на снижение, пародирование высокого, так и на возвышение низкого, профанного. Можно утверждать, что, как прием имитации травестия амбивалентна. Соотнося «высокое» и «низкое», можно усомниться в сакральности «высокого» и обнаружить «высокое» в «низком» [1].

В некоторых современных научных литературоведческих работах травестия обозначает «сюжетообразующий прием переодевания персонажа в чужую одежду, сопровождающегося сменой его ролевой функции в произведении» [2. С. 3]. С этой точки зрения травестия обнаруживается в произведениях разных времен: человек, надевший одежду другого, воспринимается как тот, чью одежду он надел; перемена одежды означает и «перемену» пола, и перемену социального статуса, и многое другое в сюжетах разных жанров –

от сказки, былины до шуточного рассказа, комедии. Е.К. Ромодановская рассматривает прием травести в качестве сюжетного комплекса, включающего ряд типов: пребывание переодетым и неузнанным среди лиц другого пола; переодевание с целью поиска жениха или невесты; переодевание как испытание; мотив потери одежды [3]. Мотив переодевания характерен, прежде всего, для авантюрной и приключенческой литературы, но в период раннего христианства в агиографических памятниках мотив может быть представлен в значении «духовного подвига» [3. С. 29]. Это замечание представляется чрезвычайно важным для анализа современной литературы.

Нас будет интересовать травестия как изображение имитации в коллизиях «реальной» жизни, в частности обнаруженное повторение («проигрывание») сюжета «второго пришествия Христа» в конкретной исторической действительности, когда сакральный сюжет становится фабульной основой образа «низкой» реальности. Происходит не только проверка «высокого», но и анализ «низкого» – земной жизни обыкновенных людей, сталкивающихся в игровом повторении с сакральными смыслами. Травестия известного сюжета преследует различные цели, имеет различные механизмы его функционирования в художественном мире каждого автора, но общим назначением имеет испытание сакрального в иных исторических обстоятельствах, равно как и исторической реальности на владение высокими ценностями.

Связь романов В. Короткевича и В. Шарова в нашем исследовании объясняется не влиянием и даже не прямым диалогом двух писателей, а компаративистским принципом: обнаружение сходства и различий художественных феноменов, обусловленных как индивидуальными стратегиями авторов, так и культурно-исторической традицией, в которой возникли исследуемые феномены. Роман Короткевича написан в 1966 г., впервые напечатан в 1972 г., и В. Шаров не был знаком с текстом и экранизацией белорусского романа (в 1967 г.) до написания своего романа «Репетиции» (1992). О своем «невежестве» писатель признался в интервью Д. Быкову: «Даже не слышал (о романе В. Короткевича «Христос приземлился в Гродно (Евангелие от Иуды)». – И.А.). Нет, на меня влияли другие вещи, вполне прозаические» [4]. Однако случайность сближения в использовании известного библейского сюжета создаёт возможность искать более глубокие основания совпадений, чем диалог двух писателей современности.

Во-первых, романы соотносятся на фабульном уровне: в обоих произведениях мистерия-пьеса о жизни Христа разыгрывается (у Шарова на затянувшихся репетициях, у Короткевича в единственном представлении) труппой непрофессиональных актеров и становится сюжетом их жизни. Во-вторых, романы вписываются в контекст произведений, репрезентирующих сюжет «Второе пришествие Христа». В «Словаре-указателе сюжетов и мотивов русской литературы» [5. С. 27–28] приводятся следующие произведения: А. Белый. «Возмездие» (1901), «Вечный зов» (1903), «Жертва вечерняя» (1903), «Безумец» (1904); В.Ф. Ходасевич. «У людей» (1905), «Диалог» (1906); Г.И. Чулков. «Северный крест» (1909); А.М. Ремизов. «Крестовые сестры» (1910, 1922); С.А. Есенин. «Певущий зов» (1917), «Товарищ» (1917); А.А. Блок. «Двенадцать» (1918); М.А. Булгаков. «Белая гвардия» (1925), «Записки юного врача» (1925–1926), «Батум» (1939), «Мастер и Маргарита»). Из

современной новейшей литературы можно назвать романы Ч. Айтматова «Плаха», В. Тендрякова «Покушение на миражи», А. Слаповского «Первое второе пришествие», Б. и А. Стругацких «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», Б. Акунина «Пелагия и красный петух». В-третьих, обращение к мессианскому сюжету, отсылающему к «концу истории», Страшному Суду как последнему суду над человеком для осознания первородного греха и его искупления, позволяет поставить проблему восприятия исторического процесса как в национальном варианте (русского и белорусского), так и целей, смысла, финала человеческой истории. В этом контексте каждый из писателей выходит к концептуализации национальной истории, к собственной историософии.

В романе В. Короткевича «Христос приземлился в Гродно (Евангелие от Иуды)» (1966) мессианский сюжет становится основой оригинального авторского сюжета. Второе название романа «Евангелие от Иуды» репрезентирует воплощение сюжета жизни и смерти Христа в эмпирических событиях, происходящих в Белоруссии в XVI в. Это новое Евангелие, от нового Иуды, свидетельствующее о новом воплощении Христа и его испытаниях в исторических обстоятельствах XVI в. Прозу В. Короткевича нельзя в полной мере назвать исторической, если иметь в виду реконструкцию исторических событий определенной эпохи на основе документальных источников. Однако из научных статей белорусских коллег о Короткевиче известно, что замысел романа основывался на документальном свидетельстве из летописей, изданных в 1582 г. М. Стрыйковским «Хроники польской, литовской, жемойтской и всея Руси» [6. С. 217]. Летопись указывает на появление в годы правления Жигмонта I человека, присвоившего имя Христа. Белоруссия в XVI в. входила в состав Великого княжества Литовского, под «литовским» в исторической ситуации того времени следует понимать и «белорусский». Этот исторический период чрезвычайно важен в развитии духовной и культурной жизни Белоруссии. До XVI в. в духовной жизни страны преобладала православная церковь, с конца XV столетия существенным фактором социальной и культурной ситуации становятся Реформация и Контрреформация. Со второй половины XVI в. орден иезуитов получает большое влияние в Литве и Белоруссии, а Брестская уния 1596 г. закрепляет влияние католической церкви и ослабление православной. Как свидетельствует М. Стрыйковский, это время большого числа ересей, которые влияли на умы и души людей. Белоруссия в составе Великого княжества Литовского оказывается между двух важнейших исторических тенденций: с одной стороны, гуманистические идеи свободы личности, характерные для Ренессанса; с другой – возвращение средневековой инквизиции в лице Контрреформации и «слуг Иисуса» – ордена иезуитов. В этом историческом контексте выбор Белоруссии, отклик на возможный приход Христа, становится историко-документальным фоном для художественного дискурса романа В. Короткевича.

В отличие от романа Шарова, в котором ожидание Христа становится сюжетом власти слова (истины) Христа, но самого воплощения не происходит, в романе Короткевича действует не то играющий Спасителя актер, не то воплощенный в странствующем школяре Юрасе Братчике Христос, вторично пришедший на землю. Так воспринимает его светская власть в лице войта

Цыкмуна Жабы и бургомистра Гродно Устина, духовная власть в лице епископа Комара, монаха-доминиканца Флориана Босяцкого, представителя Папы кардинала Лотра; но и народ готов видеть в Братчике «бедняцкого Христа», потому что Спаситель, «Пан Бог» необходим обездоленной Белоруссии. Братчик, случайно сыгравший роль Христа в представлении бродячей труппы, становится заложником своей роли, оказывается главным действующим лицом двух проектов, двух инсценировок: с одной стороны, социального проекта верховной власти, призванного успокоить народ в кризисное время неурожая и надвигающегося голода; с другой стороны, революционного проекта народа, в котором Братчик-Христос играет роль Спасителя, наказывающего за грехи и награждающего за страдания. В сценарии власти лже-Христос проходит все стадии судьбы подлинного Христа, вплоть до распятия, которое не состоялось. Во втором, народном, сценарии Братчик-Христос творит чудеса, подобные евангельским: спасает белорусскую землю от татарского нашествия и полного разорения; выгоняет торговцев из церкви и раздает богатства народу; кормит всех голодных Гродно двумя хлебами и двумя рыбами; прощает всех грешников. В обоих проектах осуществляется травестия мессианского сюжета, но ее функция и смысл различны.

Мысль использовать бродячую труппу актеров в воспроизведении сцены Второго пришествия приходит Флориану Босяцкому, монаху-доминиканцу, члену священного суда инквизиции. Инсценировать «пришествие», использовать Христа в своих интересах, чтобы успокоить взбунтовавшийся народ Гродно, – идею Босяцкого поддерживает весь состав суда, светская и церковная власти. «В стране тяжело, беспокойно. Если бы не было сего «пришествия», его стоило бы выдумать. Только наша леность послужила тому препятствием» [7. С. 214] – эти мысли Босяцкого характеризуют отношение власти к народу. Властители, изображенные в романе, независимо от положения и священного сана отличаются цинизмом, жестокостью, развращенностью нравов. Святая церковь, вера, Христос – лишь средства в борьбе за собственное благополучие и власть. Учение Христа и его образ сознательно профанируются для достижения эгоистических интересов. пытка заставляет Юрася Братчика согласиться на инсценировку, хотя он осознает сразу и более глубоко прозревает ложность разыгрываемого «пришествия». «Апостолами быть не хотим. Знаем мы, что это значит – связаться со слугами Христовыми. Или перевоплощайся в Бога, или излупцуем до полусмерти» [7. С. 219]. Имя Христа уничтожено его «слугами», и в народном сознании оно ассоциируется с обманом, жестокостью, кострами инквизиции. Автор прямолинеен в нравственных оценках белорусской действительности XVI в., борьба за влияние между православной и католической церквями, безразличие светских властей, жестокая эксплуатация населения приводят к политической и экономической слабости страны, становящейся одинаково зависимой как от Польши, так и от Москвы. По логике Короткевича, Белоруссия оказывается лишена собственной истории и собственной веры, а верховная власть не выдвигает идеи, способные изменить ход и смысл национальной истории, но профанирует, использует в утилитарных целях проверенные и сакрализованные сюжеты.

Иначе, но тоже в рамках травестии, понимается возможное пришествие праведного суда и преображения жизни на земле народным сознанием. Инсценировка Второго пришествия необходима и желанна народу, отчаявшемуся в страданиях. Если Христос не слышит призывов, или есть только Христос богатых, то нужно выдумать мужицкого Христа. «Пане Боже, – вздохнул Зенон. – Ну хоть плохонький какой, лишь бы наш мужицкий Христос явился. – Жди, – сказал Клеоник. – Еще долго жди. – Так, может, без Него? – иронически спросил Вестун. <...> Зенон крикнул: Что ж, без Него – так без Него» [7. С. 83–84]. В этом смысле травестия открывает иное (мистериально-игровое) воплощение Христа, не как исполнителя наказания, возмездия, но как карнавального плута, подобного дураку волшебной сказки или герою былинного эпоса. Только с помощью обмана, надувательства, гротескного, карнавального поведения Юрасю Братчику удастся избавить город от мышей, накормить народ, обмануть татарского князька и остановить нашествие. В народном сознании Братчик-Христос мифологизируется, вбирая в себя сверхчеловеческие способности (впервые его обнаруживают спящим на месте падения метеорита) и оставаясь обыкновенным человеком (любящим обычную девушку, Анею Полянку). Христос-самозванец, бродяга, плут и герой ближе и понятней народу, нежели сакральный персонаж. Так рождается в народном сознании мужицкий «пан Бог», которому не чужда авантюризм поступков, что делает его субъектом событий, творящим историю на глазах очевидцев. С одной стороны, Христос за счет травестии в народном сознании лишается сакральности, становится равным человеку, его человеческим возможностям и, соответственно, обнаруживает их ограниченность, но, с другой стороны, в ограниченности и слабости заложена потенция героического как преодоления себя. Это Братчик и демонстрирует.

Переодеваясь в чужую одежду, примеривая на себя чужую судьбу, Юрась Братчик становится другим человеком, обнаруживая в себе готовность к подвигу крестной муки во имя общего блага. Он готов умереть, и смерть становится для него личностным свободным выбором, демонстрирующим силу его духа и обретенной веры. В этом герой приближается к сакральности Христа.

С точки зрения авторского сознания Юрась Братчик, недоучившийся студент коллегіума, является воплощением человека Нового времени, человека Ренессанса. Он не боится неведомого и готов к познанию, он задается «вечными» вопросами о добре и зле, он добр, умен, восприимчив, равнодушен, весел. Не случайно внешность, поведение, речи Юрася заставляют кардинала Лотра испытать замешательство и неуверенность в собственной правоте, слишком уж юноша не похож на вора и обманщика: «Лет тридцати пяти, очень сильный и на голову выше всех. Лицо какое-то не такое и смешноватое, брови густые и длинные, зубы на удивление белые. <...> Кардинал смотрел человеку в глаза. Они не моргали. Наоборот, Лотр внезапно почувствовал, что из них будто бы что-то льется и смягчает его гнев и твердую решимость. Не могло быть сомнения: этот пройдоха, шельмец, торгующий собственным плутовством, делал его, кардинала, добрее» [7. С. 144]. Лотр интуитивно угадывает в Братчике необыкновенного человека, способного на многое. Поэтому и выбор роли Христа падает на него. Главный герой отвечает гуманистическим принципам Возрождения – человек по природе, как образ и

подобие Божие, свободен в собственном выборе, в выборе веры, судьбы, поступков. В карнавальном поведении Братчика важен экзистенциальный мотив выбора. Не желая «быть Христом» (соглашаясь лишь под угрозой пытки), герой не верит в Бога и сомневается в человеческой природе, в возможности спасения человека от него самого. Становясь свидетелем многочисленных страданий народа, видя «злобные и перепуганные лица» «слуг Христа», сомневаясь в справедливости и всеблагости Бога («выгнали из коллегиума за сомнения в святости Лота, нельзя спасать одного праведника ценой гибели двух городов»), Братчик не видит смысла в вере («Ни мне, ни им, ни вам ничего не поможет»). Но, заразившись любовью к человеку, пожалев его, герой сознательно начинает примеривать судьбу Христа и в финале романа, принимая грехи человека, искупая первородный грех, идет на крестные муки.

На фабульном уровне история Братчика-Христа повторяет мессианский сюжет, что акцентирует рамочный текст (названия глав: «Великая блудница», «Лазарь и сестры его», «Нагорная проповедь», «Тайная вечеря»), знамения в природе, предвещающие Его приход: в первой главе описываются голод, болезни, поражающие Белоруссию, адские змеи, выползающие из озер, небесные видения, войны и пожары; ученики-апостолы, чудеса, демонстрирующие Его величие; искушение богатством и властью, идущее от Лотра. На сюжетном уровне «Второе пришествие» Братчика-Христа близко роману-воспитания, в котором герой, пройдя через череду сомнений и испытаний, обретает подлинные смыслы существования. Так и Юрась Братчик, пройдя через сомнение в вере, через сомнение в истинности Его существования и Его закона, открывает для себя величие человека. Эта вера дает герою силы «делать историю», быть не ее жертвой, средством, но активной движущей силой. Поступки Братчика, в свою очередь, меняют самосознание народа, в нём появляется вера в свои силы, в возможность противостоять насилию власти, поэтому мессианский сюжет завершается не распятием вновь пришедшего Христа, а его спасением от крестных мук. Думается, так проявляется вера автора-«шестидесятника» в возможности человека.

В. Короткевич, активный сторонник развития национальной белорусской культуры, явно близок «шестидесятникам» в утверждении свободной творческой личности, соединяющей личные идеалы с общим благом. Идеалы Возрождения отразились в настроениях «шестидесятников»: изменение реальности необходимо только во имя изменения человека, личная ответственность человека за изменения реальности рождает свободу как внутреннюю необходимость, «необходимость самого себя» (М. Мамардашвили) [8. С. 92]. Поэтому в финале романа нет распятия лже-Христа, Иуда не предатель, а евангелист, фиксирующий истинные события, услышавшие слова правды и обратившиеся спасают от креста своего учителя. Братчик, оказываясь заложником развития сюжета Христа, не становится жертвой, потому что важны не повторение Его прихода и акт жертвы во имя искупления первородного греха, но мысль о новой жизни человека, о его нравственном и духовном преображении. Действительно, по выражению Ф.З. Кануновой: «Личность Христа ценна не тем, что он мог творить чудеса, а тем, что он будит совесть» [9. С. 80] – повторение мессианского сюжета даже в травестийном ключе будит в человеке совесть, возможность нравственного жизнестроения. Финал рома-

на – гимн белорусской земле, ждущей зерна, и гимн человеку, преображающему ее.

В. Короткевича, по его собственному признанию, интересует не история-факт, а история-притча. В романе «Христос приземлился в Гродно» это притча о красивом крае и красивых, трудолюбивых людях, ставших заложниками чужой политической игры и потерявших веру в себя, в свои силы и возможность менять свою жизнь. Приход «мужицкого Христа», образ которого они сами придумали и воплотили, позволил нации найти свое место в христианском мире и в европейской истории. Безусловно, писатель играет с историческими фактами, мифологизирует национальную историю, демонстрирует авторскую мистификацию, описание сакрального сюжета в реалиях белорусской истории и этнографии. По свидетельствам белорусских исследователей творчества Короткевича [10], он видел, что национальная культура находится на грани исчезновения: он ясно сознавал причину этого явления – отсутствие уважения и интереса белорусов к своей культуре и языку, ибо они воспринимаются как «мужицкие», т.е. отсталые, примитивные, не имеющие глубокого содержания. Будучи знатоком отечественной культуры, писатель создал образ «шляхетской» Белоруссии. А. Верабей свидетельствует, что «во второй половине 1950-х годов В. Короткевич вынашивал замысел написать цикл небольших повестей «Семейные предания рода Яновских» об истории белорусской шляхты, а также эпопею «Век», которая состояла бы из пятнадцати томов и охватила бы историю Белоруссии с 1860-х гг. до современных ему дней» [11. С. 102]. Писатель стремился в художественном дискурсе напомнить современникам о высоком духовном значении родной истории. Опираясь на документальные источники, Короткевич пытался реконструировать события прошлого, показать значение Белоруссии в контексте европейского исторического процесса. Историософия Короткевича заключается в восприятии национальной белорусской истории и культуры как прогрессивного процесса по обретению собственной идентичности.

В романе В. Шарова «Репетиции» (1992) сюжет Второго пришествия Христа представлен как процесс разыгрывания мистерии о жизни–смерти–воскрешении Христа, о всеобщем спасении после прихода Мессии. Мистерия в романе предстаёт и как драматическое действо о Спасителе, версия его тайной судьбы; и как тайна исторических событий, составляющих национальное действо. Поэтому учение о конце света играет в формировании жизни-мистерии особую роль. Репетиции мистерии и будущее её представление все (и режиссер, и Никон, и актеры, и свидетели репетиций) воспринимают как последний акт в другой, большой, пьесе – истории человечества. Мистерия должна разделить праведников и грешников, разделить Христа и его антагониста. Участие в мистерии актёры воспринимают как наступление такого времени, так как каждое слово роли наполнено надвременным смыслом, каждый актер словесно делает выбор в пользу добра или зла, ситуация роли вторгается в реальную, бытовую жизнь. Зрители мистерии получали возможность отчётливо увидеть конечную борьбу добра и зла и выбрать ту или иную сторону.

Таким образом, у Шарова мистерия о Христе приобретает смысл *метаисторического* акта (проект верховной власти во главе с патриархом Никоном

по реформированию русской жизни) и смысл экзистенциально значимого выбора между добром и злом (грехом) для каждого отдельного индивида, принимающего участие в репетициях.

В контексте метаисторического проекта мистерии как сакральному действию отводится роль главного события в будущем преображении Руси как единственно Святой земли, нового Иерусалима. По замыслу патриарха Никона, мистерия напоят зрителям (от царя до обыкновенных людей) священные события, Благоую весть о возможности изменить их жизнь, государство, судьбу человечества. Сущность мистерии, «содержательность» её формы, становится для патриарха веским аргументом в реализации концепции «Москва – третий Рим», основанной на тождественности царства и священства. Никон настаивал на преемственности Московской Руси Иерусалиму, Московское государство должно было выступить как центр православного единства, как хранитель чистого православия. Цель Никона – создание теократического государства, где равна власть государя и патриарха, этого он добивался при избрании на патриарший престол, об этом помышляет, начав строительство монастырского комплекса «Новый Иерусалим» на Истре, эту цель преследует, стремясь средствами искусства внушить идею множеству людей, а в представлении мистерии видит себя в исполнении роли Спасителя. Автор романа обнажает важнейшие черты верховной власти – революционное и одновременно утопическое мышление, сознание своей силы, торжество абсолютной воли, позволяющие использовать сакральные сюжеты для укрепления влияния православного государства во всем мире. Патриарх Никон как представитель верховной власти видит не реальность русской действительности, но прозревает в ней утопическое преображение «дольнего» Иерусалима в «горний». Вся бескрайняя Русь предстанет цветущим, вечным садом, райским безгрешным местом, «вторым» небом, поскольку от края до края покрыта церквями, храмами и монастырями, где процветает русское благочестие, православная вера. Реализация подобного проекта позволила бы объединить нацию в едином стремлении к достижению Царствия Небесного и остановить намечающийся раскол. По мнению исследователей старообрядческой литературной традиции, в восприятии Руси как нового Иерусалима Никон совпал со своими врагами и всем духовным старообрядческим подпольем [12. С. 199].

В экзистенциальном аспекте воплощение в мистерии и развитие в действительности сюжета о пришествии Христа создаёт ситуацию индивидуально-го выбора: человек оказывается перед Богом и земными целями, осознаёт меру ответственности за зло и грехи мира, возможность исправить мир, приблизив царство добра. Это актуально как для режиссёра мистерии француза Жака де Сертана, так и для труппы неопитов, открывающих для себя слово Божие. Ход репетиций демонстрирует чудо преображения человека, начинающего понимать слово Божье. Актеры не механически повторяют слова Писания наизусть, но заново постигают законы Божьего мира, слышат Его зов, видят Его объемы. «Христос был, Он был ими точно и полно очерчен, Он был очерчен ими в своих живых, настоящих размерах. Все, что они делали, было так выверено, как сыграть, тем более массовые сцены, невозможно; он заставлял их по десять раз <...> ему нужна была истина, что это есть, чудо

или нет – идти толпой, останавливаться и снова идти: Христос был» [13. С. 110]. Чудо внушено не созерцанием реальности, созданной Богом, но игрой в скрытую, сакральную реальность, закреплённую в тексте Библии, в словах ролей, в которые «актеры» уверовали, сделали целью своей жизни. Актёры становятся посвященными, достойными участвовать в мистерии как в сакральном действе. Они не сомневаются ни в подлинности слов, ими произносимых, ни в подлинности событий, ими воспроизводимых, слова «ролей» приобретают функцию поступка, совершаемого в определенный момент событий. Избирая игру смыслом жизни, актеры начинают путь служения будущему, спектакль становится реальностью, рождая канон в мире «секты», живущей своей идеальной жизнью, вне контекста истории государства. Пришествие Спасителя действительно происходит, пока идут репетиции, пока сильна вера человека в произнесенное им слово.

По мысли автора, подобное вопрошание Бога, следование Его слову как понимание смысла жизни, вера в спасение и преображение словом – отличительная черта русского национального сознания, готового воплотить в реальности Царствие Небесное собственными страданиями и усилиями. Когда «каждый входит в роль» [13. С. 90], «осмысливает, кто он есть», мессианский сюжет начинает менять сознание, поступки, душу человека, который перестает жить реальностью, а живет только ролью, словами роли, ее смыслами, роль полностью поглощает и отменяет собственное имя, собственную судьбу, диктуя судьбу того, кого играешь. Поэтому абсурдно и фантастически-гротескно звучат фразы, характеризующие актеров: «Пилат долго казаковал на Дону, потом попал в плен к туркам, прожил под Казанлыком пятнадцать лет и тоже почти забыл родной язык», «волхвы были ненцами и, кажется, вообще не говорили по-русски» [13. С. 138]. Это не снижение сакрального сюжета, а *власть сюжета, власть слова*, демонстрирующая индивидуальную проверку, готовность каждого идти за Богом. Даже когда в 1930-е гг. мистерия в пространстве исправительного лагеря превращается в антирелигиозную постановку «Христос-контрреволюционер», власть роли продолжает тяготеть над актёрами-сектантами. До первого эпизода «избиения евреев», когда члены секты пытаются сложить с себя ответственность за неприход Христа, все они совершают духовный подвиг, не просто «переодеваясь» в чужую судьбу, но беря на себя зло мира, живущего в ожидании Его прихода. Сакральность слова и сюжета, их подлинные смыслы определяют не только внешнюю жизнь людей секты (бегство в болота, подальше от государства и власти), но и внутренний выбор – служение роли, истине, чтобы каждый «добился собственной, отдельной готовности принять или не принять Христа» [13. С. 154], т.е. роль взывала к внутренней вере каждого, к убежденности индивида в том, что он не исполнитель, а субъект действий.

В таком понимании мессианского сюжета открывается главная проблема романа, авторская историсофская концепция. Сюжет о постановке мистерии выводит автора к размышлениям о влиянии идеи (слова, сюжета) – политической, философской, религиозной – на реальность. Подлинность реальности таинственна, труднопостижимы её смыслы: разрушаются идеи, претендовавшие на подлинность. Новые идеи утверждаются, порождая адептов-актёров, и могут стать насилием над реальностью: жесткая канва пьесы, бес-

конечные репетиции, требующие подчинения логике пьесы вопреки реальности, убивают истинные мгновения жизни, служение идее заводит в тупик. Не случайно репетиции вписываются в систему ГУЛАГа, порождённого другим замыслом, другим текстом, равно претендующим на реализацию, обосновывающим насилие во имя достижения идеи.

Философия мистерии понимается как модель исторического развития. История секты отражает историю России в последующие века. Хаос реальной истории (правление Петра, убийство Павла, казнь декабристов, революция и создание тоталитарного общества) влияет на космогонический порядок репетиций. Изменение сознания актеров, изменение веры в слово, данное Сертаном, сомнения в своем служении приводят к изменениям сюжета мистерии. Репетиции начинают служить не метафизическому закону, но вламываются в ход жизни, насильно ломают выбранные роли и приводят к насилию над личностью. Христос становится заложником в несбывшихся ожиданиях. Вариант истории России, показанный Шаровым, обнажает национальное нетерпение, которое рождает стремление разом изменить существующую реальность, что приводит к появлению абсурдных и фантазмагорических моделей истории. В итоге реальная история демонстрирует бесконечные повторы одних и тех же событий. В романе можно усмотреть авторское предупреждение о повторении тупиков исторических исканий наций. Прошлое обретает смысл как повторение в будущем, в этом проявляются не столько игровые постмодернистские стратегии (Шаров не иронизирует над алгоритмами русской истории, хотя предполагает наличие единого повторяющегося сюжета национального существования), сколько философское осмысление и переживание трагизма большой истории и судьбы отдельного человека в ней.

Итак, в качестве вывода отметим, что при схожести фабулы романов В. Короткевича и В. Шарова сюжеты различны. Писатели, используя прием травестии, не снижают «высокое», хотя иронизируют над смыслами слов и поступков последователей и исполнителей идей Христа, но обнаруживают значимость вечного сюжета, власть его над человеком Нового времени. Короткевич создает историко-философский роман-притчу об осознании свободным человеком своего места в истории, понимаемой как развивающийся, поступательный, органический процесс. Писатель демонстрирует собственную возможную версию обретения Белоруссией свободы в контексте общеевропейской борьбы против насилия священной инквизиции в XVI в. Шаров понимает мессианский сюжет как алгоритм развития русской истории, которая предстает как периодически повторяющийся «конец света», «Второе пришествие». В истории повторяются несбывшиеся надежды конкретного индивида и народа в целом, постоянная готовность к «концу» рождает со стороны личности и нации нетерпение и насилие над великими идеями и сюжетами. Но, с другой стороны, и идея способна подавлять личностное мышление и поведение, человек оказывается несвободен. И в подобной амбивалентности заключается трагизм русской истории. Оба писателя обнаруживают гуманистические принципы как убежденность в том, что человек – субъект не только действий, но и идей, имеющих исторические последствия, но именно вариативность человеческих идей, какой бы сакрализации они ни подвергались, оставляет их неисполнимыми, разрушает телеологичность истории.

Литература

1. Семенов В.Б. Травестия // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. Стб. 1079–1081.
2. Пуртова Н.В. Травестия в русской житийной литературе и эпосе: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 23 с.
3. Ромодановская Е.К. Сюжетный комплекс «переодевание» и мотив потери одежды в повестях о гордом царе // Критика и семиотика. 2010. Вып. 14. С. 29–35.
4. Шаров В. «Что случилось с историей? Она утонула...»: Интервью Д. Быкову [Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/readroom/rulife/080607/772dmitrij_bykov_chno_sluchilos_s_istoriej_ona_utonula.html (дата обращения: 28.06.2015).
5. Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание / Ин-т филологии СО РАН. Вып. 1. Новосибирск, 2003.
6. Николаев С.И., Салмина М.А. Хроника Мацея Стрыйковского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4. Т–Я. Дополнения. СПб., 2004. С. 215–218.
7. Короткевич В. Христос приземлился в Гродно (Евангелие от Иуды) / послесл. от переводчика А. Сурнина. М.: ЗАО ТИД «Амфора», 2006 [Электронный ресурс]. URL: http://royallib.com/book/korotkevich_vladimir/hristos_prizemlilsya_v_grodno_evangelie_ot_iudi.html (дата обращения: 13.05.2015).
8. Мамардашвили М. Необходимость себя. М.: Лабиринт, 1996.
9. Канунова Ф.З. Сюжет Христа в русской живописи и литературе XIX века (некоторые проблемы) // Тема, сюжет, мотив в лирике и эпосе. Вып. 7 (Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы): сб. науч. тр. / СО РАН. Ин-т филологии; отв. ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 2006. С. 76–88.
10. Минский А. Владимир Короткевич и новый герой белорусской культуры // Деды. 2012. № 11. С. 307–314 [Электронный ресурс]. URL: http://pawet.net/library/o_philology/200/html (дата обращения: 13.05.2015).
11. Верабей А. Проблема историзма в прозе В. Короткевича // Роль просветителей Беларуси и Турции: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 19 апреля 2011. Минск, 2011. С. 102–108.
12. Журавель О.Д. Литературное творчество старообрядцев XVIII – начала XXI в.: темы, проблемы, поэтика. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012.
13. Шаров В. Репетиции: роман. СПб.: Лимбус Пресс, 2003.

THE TRAVESTY OF THE MESSIANIC PLOT IN U. KARATKIEVICH'S *CHRIST HAS LANDED IN GRODNO* AND V. SHAROV'S *REHEARSALS*

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 96–107. DOI: 10.17223/19986645/39/8
 Ashcheulova Irina V., Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: asheulova@mail.ru

Keywords: Karatkievich, Sharov, travesty, plot, history.

The author examines V. Sharov's *Rehearsals* (1992) and U. Karatkievich's *Christ Has Landed in Grodno* (1966), two novels by a Russian and Belarusian writers, in the aspect of the use of the plot of the Second Coming of Christ. The problem of the writers' perception of the sacred story through travesty, with not only the "lowering", the checking of the "high", but also analyzing the "low" reality, is considered. The functioning of the plot in the poetics of the novels helps to see the attitude of the writers to their own national history, personalities in history and present historical models relevant to each writer. In Karatkievich's novel, the main character Yuras Bratchik, who accidentally played the role of Christ in a performance of a traveling troupe, is the protagonist of two projects, two performances: the social project of the supreme power and the revolutionary project of the people, in which Bratchik-Christ plays the role of the Savior who punishes for sins and gratifies for suffering. Putting on someone else's clothes, trying on the fate of Christ, Yuras Bratchik becomes a different person, discovering a willingness to suffer passions for the benefit of the people. Thus the character approaches the sacredness of Christ. From the point of view of the author's consciousness, Yuras Bratchik is the epitome of the New Age man, of a Renaissance man. The main character responds to the humanistic principles of the Renaissance man by nature, as the image and likeness of God, free in his choice, in choosing faith, fate and actions. U. Karatkievich, an active supporter of the development of national Belarusian cul-

ture, close to the “men of the sixties” in the promotion of the free and creative person that links personal ideals and the common good. Karatkievich’s historiosophy is in the perception of Belarusian national history and culture as a progressive process in finding its own identity. In V. Sharov’s *Rehearsals*, the mystery about Christ becomes a metahistorical act (a project of the supreme power headed by Patriarch Nikon in reforming Russian life) and an existentially meaningful choice between the good and the evil (sin) for each individual participating in the rehearsals. This understanding of the Messianic story identifies the main problem of the novel, the author’s historiosophy conception. The variant of Russian history Sharov shows refers to the idea of impatience in relation to the existing reality, and commitment to change everything at once creates absurd and phantasmagorical models of history. In the end, the real history demonstrates national impatience and violence, which leads to endless repetitions and dead ends. In the novel one can see the author’s warning about the repetition of dead ends of historic aspirations of the nation.

References

1. Semenov, V.B. (2001) *Travestiya* [Travesty]. In: Nikolyukin, A.N. (ed.) *Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy* [Literary Encyclopedia of terms and concepts]. Moscow: Intellivak.
2. Purtova, N.V. (2002) *Travestiya v russkoy zhitiynoy literature i epose* [Travesty in Russian hagiographic literature and epos]. Ekaterinburg.
3. Romodanovskaya, E.K. (2010) Syuzhetnyy kompleks “pereodevanie” i motiv poteri odezhdy v povestnykh o gordom tsare [Plot complex “changing clothes” and the motif of clothing loss in stories about the proud king]. *Kritika i semiotika*. 14. pp. 29–35.
4. Sharov, V. (n.d.) “*Chto sluchilos’ s istoriei? Ona utonula...*” Interv’yu D. Bykovu [“What happened to history? It drowned...” Interview with Dmitry Bykov]. [Online]. Available from: http://www.intelros.ru/readroom/rulife/080607/772dmitriij_bykov_chto_sluchilos_s_istoriej_ona_uto_nula.html. (Accessed: 28 June 2015).
5. Romodanovskaya, E.K. (ed.) (2003) *Slovar’-ukazatel’ syuzhetov i motivov russkoy literatury* [Dictionary of themes and motifs of Russian literature]. Vol. 1. Novosibirsk: SB RAS.
6. Nikolaev, S.I. & Salmina, M.A. (2004) *Khronika Matseya Strykovskogo* [Chronicle of Maciej Strykowski]. In: Likhachev, D.S. et al. (eds) *Slovar’ knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi* [Dictionary of the scribes and literature of ancient Russia]. Vol. 3. Pt. 4. St. Petersburg: Russian Academy of Sciences, Institute of Russian Literature.
7. Karatkievich, U. (2006) *Khristos prizemlilsya v Grodno (Evangelie ot Iudy)* [Christ Has Landed in Grodno (Gospel of Judas)]. Moscow: Amfora. [Online]. Available from: http://royallib.com/book/korotkevich_vladimir/hristos_prizemlilsya_v_grodno_evangelie_ot_iudi.html. (Accessed: 13 May 2015).
8. Mamardashvili, M. (1996) *Neobkhodimost’ sebya* [The need in oneself]. Moscow: Labirint.
9. Kanunova, F.Z. (2006) Syuzhet Khrista v russkoy zhivopisi i literature XIX veka (nekotorye problemy) [The plot of Christ in Russian art and literature of the 19th century (some problems)]. In: Romodanovskaya, E.K. (ed.) *Tema, syuzhet, motiv v lirike i epose* [Theme, plot, motif in the lyric and epic]. Vol. 7. Novosibirsk: Institute of Philology, SB RAS.
10. Minskiy, A. (2012) Vladimir Korotkevich i novyy geroy belarusskoy kul’tury [U. Karatkievich and a new hero of Belarusian culture]. *Dedy*. 11. pp. 307–314. [Online]. Available from: http://pawet.net/library/o_philology/200/html. (Accessed: 13 May 2015).
11. Verabey, A. (2011) [The problem of historicism in the prose of U. Karatkievich]. *Rol’ prosvetiteley Belarusi i Turtsii* [The role educators of Belarus and Turkey]. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference. Minsk. 19 April 2011. Minsk: RIVSh. pp. 102–108. (In Russian).
12. Zhuravel’, O.D. (2012) *Literaturnoe tvorchestvo starobryadtsev XVIII – nachala XXI v.: temy, problemy, poetika* [Literary creativity of the Old Believers of the 18th – early 21st centuries: themes, problems, poetics]. Novosibirsk: SB RAS.
13. Sharov, V. (2003) *Repetitsii. Roman* [Rehearsals. A novel]. St. Petersburg: Limbus Press.

УДК 821.161.1.0

DOI: 10.17223/19986645/39/9

Н.В. Гончарова, А.С. Янушкевич

В.А. ЖУКОВСКИЙ И А.В. НИКИТЕНКО: К ИСТОРИИ ЛИЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В статье анализируется сближение и расхождение творческих путей двух деятелей русской литературы. В жизни их сближали отношения взаимопомощи и совместный труд по изданию посмертных сочинений А.С. Пушкина, в творчестве – утверждение идеализма как жизнестроительной философии словесной культуры. Показан генезис исторической критики Никитенко, для которого идеализм и символическое мышление Жуковского, проявленное в концепте-символе Гений чистой красоты, стало точкой опоры для нового понимания красоты, синтеза идеального и действительного.

Ключевые слова: идеализм, русская литература, дарственные надписи, А.С. Пушкин, образ-символ, калокагатия.

Тема «В.А. Жуковский и А.В. Никитенко» многоаспектна и, к сожалению, пока еще мало изучена. Опубликованы письма Жуковского к Никитенко, отражающие в основном историю их встреч и общения в 1837–1841 гг. [1. С. 84–90]; в известных «Дневниках» Никитенко зафиксировано около 40 упоминаний имени Жуковского, воссоздающих историю прижизненных встреч двух деятелей русской культуры, деятельности Никитенко в комитете по изданию посмертных сочинений поэта, его оценок личности и творчества первого русского романтика [2. Т. 3. Указатель имен]. Но все эти фрагменты темы не сложились еще в общую картину, не получили системного осмысления. Цель данной статьи – рассмотреть историю личных и творческих отношений Жуковского и Никитенко как своеобразную семиосферу, включающую в себя различные аспекты и точки пересечения двух творческих систем.

В собрании отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ) хранятся две личные библиотеки: великого русского поэта В.А. Жуковского и историка русской литературы, критика, профессора Петербургского университета, цензора А.В. Никитенко. И этот факт определяет «томскую прописку» в изучении их личных и творческих взаимоотношений. Различные по количеству книг, по составу, по своеобразию маргиналий (подробнее см.: [3–5]), эти библиотеки – репрезентант интересов и направления умственного труда и духовного творчества двух выдающихся деятелей русской словесной культуры первой половины XIX в.

«Коломб русского романтизма в поэзии» и «гений перевода», Жуковский свою библиотеку формировал как органическую часть творческой лаборатории. Многочисленные антологии античной и европейской поэзии, издания современных поэтов, в том числе Шиллера и Гете, Байрона и Вальтера Скотта, сочинения Грея, Томсона, Голдсмита, Попа, Пфеефеля, Лессинга, Виланда, Гердера, Гебеля, Лафонтена, Флориана, Парни, Делиля, около 30 изданий

переводов «Одиссеи» Гомера на русский, немецкий, французский, английский языки были поистине его настольными книгами, откуда он черпал вдохновение, превращая «чужое» в «свое» и формируя феномен «всемирной отзывчивости» русской литературы. Обилие помет, записей, набросков переводов, дневниковые записи, рисунки – свидетельство особого значения библиотеки в его творческой биографии. Изучение произведений мировой этической, философской, исторической, общественно-политической, религиозной мысли, трудов по эстетике и истории литературы, созданные на основе их штудирования многочисленные конспекты, исторические таблицы – не только важный этап самообразования и самосовершенствования поэта, но и отражение процесса самоопределения и выработки концепции новой эстетики и жизнетворческой позиции.

Не менее значима была роль книги в жизни и творческой биографии А.В. Никитенко. Выросший в семье крепостного, не получивший систематического образования, он сумел превратить свою библиотеку во второй университет. Художественные произведения писателей XVIII–XIX вв., целый культурный пласт современной ему литературы 1820–1870-х гг., включая переводы европейских авторов на русский язык, – все это давало возможность постигать законы художественного творчества. Публикации исторических документов, материалы по развитию образования в России, исследовательские труды наиболее видных деятелей российской истории К.И. Арсеньева, Н.М. Карамзина, Н. Устрялова и др. обусловили историческую направленность его критической деятельности. Множество работ по философии, теории словесности определили глубину его теоретических воззрений, сформировали профессиональные практические представления [6].

После окончания философско-юридического факультета Петербургского университета он публикует в различных периодических изданиях сочинения, в центре которых проблемы этики («О преодолении несчастий»), политической экономии («О политической экономии вообще и в особенности о производимости как главном предмете оной»), современной литературы («О происхождении и духе литературы», «О творящей силе в поэзии, или О поэтическом гении»). Его становление как критика и историка литературы проходит под знаком «идей времени». В своей «Речи о необходимости теоретического или философского исследования литературы» (1836) он опирается на идеи своего духовного учителя А.И. Галича [7], сочинения Гердера, представителей французского Просвещения, английской политэкономии, прежде всего Адама Смита. Библиотека будущего профессора словесности Петербургского университета, автора уникального проекта «Постановления о публичных лекциях» формируется с установкой на энциклопедические интересы ее владельца.

В библиотеке Никитенко сохранились следующие издания сочинений поэта:

1. Стихотворения В. Жуковского. Т. 1–9. СПб., 1835–1844.
2. Ундина, старинная повесть. Издание А. Смирдина. СПб., 1837 (с дарственной надписью).
3. Наль и Дамаянти, индейская повесть. СПб., 1844.
4. Новые стихотворения В. Жуковского. СПб., 1849.

5. Сочинения Жуковского. Т. 10–12. Посмертные стихотворения. СПб., 1857.

6. Сочинения Жуковского. Т. 13. Сочинения в прозе. СПб., 1857.

Кроме этих изданий сочинений Жуковского в библиотеке Никитенко имеется брошюра П.А. Плетнева «О жизни и сочинениях В.А. Жуковского» (СПб., 1853) и альбом «Двадцать картин к Ундине, старинной повести, рассказанной стихами В.А. Жуковским» [СПб., 1837] с гравюрами немецкого художника Л. Майделя.

На основании этого списка можно говорить о длительном и устойчивом интересе владельца библиотеки к наследию великого русского поэта, а дарственные надписи свидетельствуют о дружеских отношениях Жуковского и Никитенко. О времени их знакомства повествует запись в дневнике Никитенко от 16 января 1835 г., рассказывающая о его встрече с поэтом на экзамене в Екатерининском институте, где с декабря 1830 г. он преподавал русскую словесность. Поэт, сам склонный к педагогической деятельности и занимавший должность наставника великого князя Александра Николаевича, высоко оценил труд Никитенко и сказал ему, что «в первый раз в жизни слышит, чтобы учащиеся имели такие познания в словесности и излагали их таким чистым русским языком» [2. Т. 1. С. 167–168].

Вскоре начинающий критик и педагог публикует в «Журнале Министерства народного просвещения» (1836. Ч. 9. № 1. Январь. С. 181–192. Подпись: *А. Н-ко*) отзыв о «Стихотворениях В. Жуковского» (к этому времени вышли тома I–IV и VII). Одним из первых Никитенко говорит о значении поэзии Жуковского для русского общественного и художественного сознания. Уже в самом начале своей статьи он заявляет: «...кто из соотечественников наших, вкусивших уже сколько-нибудь от плода Изящных Искусств, не знает или не знал наизусть многих стихотворений Жуковского? Жизнь, их одушевляющая, сделалась частью нашего нравственного существования. То, что гений чистой красоты внушает людям божественного и отрадного, перешло к нашему сердцу из его уст – в пленительных, дотоле не слыханных звуках родного слова. <...> Не удивительно, что влияние Жуковского на современное поколение гораздо глубже и обширнее, чем влияние всякого другого из наших Поэтов, исключая разве Крылова...» (С. 180–181). И далее критик последовательно развивает мысль о том новом направлении, которое связано с именем Жуковского, когда «наша Поэзия <...> сделалась нашею <...> Отсюда легко уже было сделать поворот к народности...» (С. 183). «Жуковский, – решительно говорит он, – открыл нам новые, не виданные дотоле богатства отечественного языка» (С. 186). Автор отзыва особенно отмечает вклад первого русского романтика в развитие прозаического слога, обращая взор читателя к эссе «Рафаэлева мадонна», «Путешествию по Саксонской Швейцарии», «Отрывкам писем из Швейцарии», приводя почти целиком текст «Взгляда на землю с неба», видя в нем «изображение великого назначения человечества» (С. 187). Дальнейшие отношения и расположение поэта к Никитенко – свидетельство того, что рецензия для него, говоря его словами, – «посол души, внимаемый душою».

«Он вошел в историю русской общественной мысли как автор интереснейшего дневника, содержащего непосредственные и живые отклики на

множество литературных, общественных, политических событий за целые полстолетия – с двадцатых по середину семидесятых годов XIX в.», – пишет во вступительной статье издатель «Дневника» Никитенко И.Я. Айзеншток [2. Т. 1. С. V]. Дневники Жуковского в этом отношении не уступают ему. Они – летопись русского общественного и художественного развития 1800–1840-х гг. Но их сближает и то, что это «человеческие документы», отражающие характерные особенности жизнестроительства двух деятелей русской культуры. Около 40 записей в дневнике Никитенко связаны с Жуковским. Разные по объему, характеру информации, эмоциональному состоянию, они пронизаны чувством глубокой благодарности к нему как поэту и человеку. Три сюжета получают в них особый житетворческий смысл: совместная деятельность по увековечиванию памяти Пушкина, помощь Жуковского в освобождении от крепостной зависимости брата и матери Никитенко и активное участие последнего в издании посмертных сочинений великого русского поэта и друга.

О значении Жуковского как наставника и учителя Пушкина, как летописца последних дней и минут его жизни, как хранителя памяти о нем и издателя его посмертных сочинений существует огромная литература. Меньше известно о личных отношениях Никитенко и Пушкина. Соперники в любовном чувстве к Анне Керн, хотя молодой студент изначально почувствовал свое поражение: «Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. На мою долю выпало всего два-три ледяных комплимента, и то чисто литературных» [2. Т. 1. С. 47], недовольство Пушкина цензурой своих произведений со стороны Никитенко (история с «Золотым петушком» и «Анджело»), упреки последнего по отношению к поведению поэта: «Поведение его не соответствует человеку, говорящему языком богов и стремящемуся воплотить в живые образы высшую идеальную красоту» [Там же. С. 58] – всё это никогда не затмевало в сознании Никитенко масштаба пушкинского гения. «Подвигом честного человека» можно назвать поведение Никитенко в день похорон Пушкина. Несмотря на строгое предписание, чтобы в этот день «профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях», профессор Никитенко «прощался с Пушкиным» в Конюшенной церкви, а затем «поехал на лекцию». «Но вместо очередной лекции, – записывает он в дневнике, – я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет!» [2. Т. 1. С. 197]. И затем на протяжении почти четырех лет он вместе с Жуковским активно участвует в издании посмертного собрания сочинений Пушкина. Он делает всё возможное и невозможное, чтобы помочь Жуковскому сохранить подлинные тексты поэта, провести их без потерь через цензуру. «Сегодня держал крепкий бой с председателем цензурного комитета князем Дондуковым-Корсаковым, за сочинения Пушкина, цензором которых я назначен» [Там же. С. 198] – эта запись от 30 марта 1837 г. с эмоциональной силой передает состояние Никитенко в борьбе за сохранение пушкинского наследия. И одновременно это верность идеалам Жуковского как хранителя памяти гения Пушкина. Накануне своего отъезда с наследником в путешествие по России в начале мая 1837 г. поэт почти ежедневно обращается к Никитенко с просьбой следить за цензурной судьбой сочинений Пушкина, в том числе посмертных публикаций в «Современнике». Особенно его волнует судьба «Записок бригадира Моро де Бра-

зе». 1837 г. стал важным этапом в сближении Жуковского и Никитенко. В этом году он дарит ему свою стихотворную повесть «Ундина», цензором которой был А.В. Никитенко, с дарственной надписью: «Александру Васильевичу Никитенко от автора».

Новым этапом их личных отношений стал 1840 г., когда они борются за издание последних трех томов посмертных сочинений Пушкина. Возвратившись из путешествия по России и Европе, Жуковский тщательно просматривает и редактирует манускрипты поэта, чтобы поскорее их выдать в свет. Обстоятельства жизни (и личной и служебной) требуют его постоянных вояжей за границу, в Германию. Поэтому Никитенко становится его доверенным лицом, пытаясь сделать всё возможное для прохождения драгоценных текстов через цензуру. Несмотря на болезнь в январе, он уже в феврале выполняет все поручения Жуковского. 26 февраля он фиксирует это в дневнике: «Мне лучше. Я еще не мог читать лекций, но ездил к Жуковскому, который на будущей неделе отправляется с наследником за границу и просил меня побывать у него поскорее. Он отдал мне на цензуру сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам. Этих новых сочинений три тома. Многие стихотворения уже были напечатаны в «Современнике». Жуковский просит просмотреть всё это к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить» [2. Т. 1. С. 219]. Встречи с Жуковским, зафиксированные в дневнике Никитенко, их беседы о состоянии русской литературы, высокая оценка поэтом критико-эстетических опытов профессора, в частности характеристики Батюшкова, желание «помочь материалом» – всё это позволяет говорить об их духовной связи. Как точно замечает Э.М. Жиликова: «Жуковский ценил в Никитенко образованного профессионала-цензора, профессора словесности, честного человека, преданного русской литературе» [1. С. 88].

Человеческая симпатия и уважение к соратнику по изданию сочинений Пушкина, по осуществлению других проектов, в частности «Библиотеки сказок» [Там же], свойственная поэту на протяжении всей его жизни филантропическая деятельность отразилась в его помощи по освобождению из крепостной неволи матери и брата Никитенко. Жуковский обращается непосредственно к графу Д.Н. Шереметеву, владельцу крепостных родственников Никитенко. В личном письме к нему от 5 апреля 1841 г. он, в частности, пишет: «Вы более нежели кто-нибудь в состоянии войти в положение Никитенки, заслуженного профессора, пользующегося всеобщим уважением и уже имеющего имя в литературе. Вы лучше других поймете, как должно быть для него тягостно знать, что старая 70-ти летняя мать его и его брат находятся в крепостном состоянии. И для Вас, конечно, не только не будет затруднительно, но будет приятно одним словом исправить это, можно сказать, бедственное отношение. Чтобы выразиться яснее, прошу Ваше сиятельство о даровании свободы и матери и брату профессора Никитенки: вот предмет, о котором я желал иметь честь переговорить с Вами лично» [8. С. 347]. Показательно, что в этом письме поэт называет Никитенко «приятелем». На это письмо граф, испытывая глубокое уважение к его автору, немедленно отвечал (как явствует из сохранившегося чернового письма от 7 апреля 1841 г.): «С удовольствием исполню желание ваше» [Там же. С. 348]. Дневниковая запись от

14 апреля 1841 г. выражает чувства Никитенко в связи с успешным завершением этого события: «Дело о матери моей и брате кончилось так хорошо только благодаря вмешательству Жуковского. Да благословит его Бог! Сегодня я был у него и благодарил его» [2. Т. 1. С. 231]. Так постепенно профессиональные отношения Жуковского и Никитенко перерастают в дружеские.

Основной пафос всей творческой биографии Жуковского и Никитенко, проявившийся в их культуртрегерской деятельности, – последовательное утверждение идеализма как философии современной духовной жизни и словесной культуры. Статьи Жуковского периода «Вестника Европы», прежде всего «О нравственной пользе поэзии» (1809), остро поставили в русской эстетике и критике проблему неразрывной связи добра, нравственности и красоты. Настойчиво подчеркивая свободу поэтического гения, особые законы стихотворного дарования, автор статьи решительно заявлял о неразрывной связи стихотворца-артиста и стихотворца-человека. «Искусство стихотворное, – пишет он, – дает понятие стихотворцу о том, что должен он делать как артист; но стихотворец именно потому, что он стихотворец, ужели не имеет никаких других обязанностей, перестает ли быть человеком, почитателем Бога, членом общества, сыном отечества? А будучи ими, ужели не имеет других важнейших особенностей, всегда неразлучных с обязанностями поэта?» [9. Т. 12. С. 201]. Эти вопросы и суждения Жуковского выявляли важность для русской словесной культуры того явления, которое еще во времена Античности получило название «калокагатия». Об актуальности этого понятия для русской литературы можно говорить много (см.: [10. С. 189–201]). Достаточно привести слова Иосифа Бродского из его «Нобелевской лекции» (1987). Он сказал: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятия "хорошо" и "плохо" – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории "добра" и "зла". В этике не "всё позволено" именно потому, что в эстетике не "всё позволено", потому что количество цветов в спектре ограничено...» [11. Т. 2. С. 454].

Калокагатийная антропология в поэзии Жуковского начиная с 1814 г. всё осязаемее опирается на эстетические основания. В стихотворениях 1814–1824 гг., которые по праву можно назвать эстетическими манифестами, поэт последовательно вводит антропологию и онтологию калокагатийной философии в пространство прекрасного. В «Теоне и Эсхине» (1814) он стремление к «возвышенной цели» рассматривает как предназначение человека: «Всё в жизни к великому средство» и афористически определяет пафос этого состояния:

При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою [9. Т. 1. С. 383].

Стихотворения «Цвет завета», «Невыразимое», «К мимопролетевшему знакомому Гению» (1819), «Лалла Рук» и «Явление поэзии в виде Лалла Рук» (1821), «Ангел и Певец», «Я Музу юную, бывало...» (1823), «Таинственный посетитель» (1824), эссе «Рафаэлева мадонна» (1821) – каждое из этих творений Жуковского и все они вместе варьировали различные составные, связан-

ные с понятиями «нравственное» и «прекрасное». Поиск образа-символа поэтической калокагии становится поистине задушевной идеей всех эстетических манифестов этого периода.

Открытие тайного смысла явлений у Жуковского определяет расширение самих возможностей поэтического мышления, философствования. Используя и метафору, и аллегорию, и олицетворение, и миф, и эмблематику, Жуковский создает особый тип символического мышления. Функция каждого из этих приемов открывается у Жуковского в пределах того или иного стихотворного ряда, но символическое значение понятий «цвет завета», «таинственный посетитель», «мимопролетевший гений», «Лалла Рук», «Гений чистой красоты» открывается в общей системе стихотворений, в системе опосредований.

Образ-символ Гений *чистой* красоты впервые появляется у Жуковского в стихотворении «Лалла Рук» (начало февраля 1821 г.) в своеобразном варианте «Гений *чистый* красоты» [9. Т. 2. С. 223] и отражает атмосферу Берлинского придворного праздника, связанного с сюжетом поэмы Томаса Мура «Лалла Рук» и участием в нем великой княгини Александры Федоровны (подробнее см.: [9. Т. 2. С. 595–603; примеч. О.Б. Лебедевой]). Поэт еще словно сомневается в его жизненности: «Ах! не с нами обитает // Гений чистый красоты; // Лишь порой он навещает // Нас с небесной высоты...» Но уже в эссе «Рафаэлева мадонна», выросшем из письма к великой княгине от 23–29 июня 1821 г., этот образ получает своеобразный статус эстетического гражданства и отражает состояние, когда «душа распространялась; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено <...> Гений *чистой красоты* был с нею» (см.: [9. Т. 12. С. 343]). Выделение курсивом этого образа-символа не столько фиксирует его автореминисцентность (тем более что стихотворение «Лалла Рук» еще не появилось в печати), сколько закрепляет за ним масштаб «сквозного слова» и вводит его в большой контекст поэзии пушкинской поры. Появление эссе «Рафаэлева мадонна» в альманахе «Полярная звезда» за 1824 г. способствует такому прочтению образа-символа.

Молодой Никитенко сделал идеализм Жуковского своим вероисповеданием. Отрывок из его романа «Леон, или Идеализм», опубликованный в альманахе «Северные цветы на 1832 год», уже в своей номинации сопрягает духовные искания личности с «идеей времени» – с идеализмом. Это понятие для автора романа, как и для Жуковского, прежде всего связано с распространением и возвышением души (подробнее см.: [12. С. 210]). Сам концепт-образ души становится для героя романа психологической основой идеализма. «Человек тогда только знакомится с самим собою, когда начинает изучать внутреннюю жизнь духа», «нужно было показать постепенное развитие сил его души»; «Я родился в эпоху так называемых новых идей», «меня снедала томительная, жгучая жажда нравственной деятельности», «мысли человеческой, выработанной, закаленной, как сталь, в пламени возвышенной души»; «Таинственно, но верно совершается в новом поколении нравственный переворот...» [13. С. 115, 116, 123, 125] – эти и многие другие максимы героя определяют его жизненную философию, восходящую к идеям романтического идеализма Жуковского.

То, что в отрывках из романа «Леон, или Идеализм» определяло место романтического идеализма как основополагающего принципа жизнестроительства молодого Никитенко, в его критико-эстетических поисках уже имело непосредственную связь с традицией «Коломба русского романтизма». В упоминавшемся уже отзыве на «Стихотворения В. Жуковского» 1836 г. он прежде всего акцентирует «заслуги Жуковского в отношении к идеалу». Понятия «идеала», «идеального» буквально витают над его размышлениями о духе автора «Стихотворений...»: «Жуковский обратился к общей человеческой природе, очищенной, возвышенной до *идеального* достоинства», «везде однако же разумеет природу в лучшем, *идеальном* ее значении» [14. С. 184, 183, 186]. Идеализм Никитенко не был бегством от действительности, от духа времени и общественно-философских его тенденций, и в этом отношении вряд ли справедливо суждение И.Я. Айзенштока: «...идеалистом остается он на всем протяжении своей жизни, притом идеалистом воинствующим, непримиримо относящимся к малейшим проявлениям материалистического мировоззрения» [2. Т. 1. С. XIV].

Любопытный материал для диалектического взгляда на эту проблему дает рецепция идей и образов «Рафаэлевой мадонны» Жуковского в статье «Рафаэлева Сикстинская мадонна» Никитенко (1857) (подробнее см.: [15. С. 93–122]).

В эссе Жуковского нашли свое воплощение и развитие абсолютно все словесно-образные лейтмотивы, присутствующие в основном тексте стихотворения «Лалла Рук» и в комплексе связанных с ним текстов: мотивы сна и видения, «чистых» мгновений жизни, небесного Откровения, покрывала, отделяющего небесный мир от земного, и невыразимой небесной красоты, воплощенной в женском образе. Но ядром этого экфразиса, вербального воссоздания картины Рафаэля, становится концепт-символ Гения чистой красоты. Воссоздавая свое впечатление, поэт пишет: «Я был один; вокруг меня всё было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. *Гений чистой красоты* был с нею...» [9. Т. 12. С. 342]. Выделенная курсивом автоцитата, вошедшая затем на правах реминисценции в текст пушкинского «Я помню чудное мгновенье», стала для русской эстетической мысли прежде всего выражением философии романтического идеализма. Никитенко еще в 1836 г. в рецензии на «Стихотворения В. Жуковского» обратил внимание на это произведение Жуковского, подчеркивая в нем, как и в других сочинениях поэта, «стремление к бесконечному, к чистейшей идеальной красоте» [14. С. 187].

Между появлением «Рафаэлевой мадонны» Жуковского и рождением «Рафаэлевой Сикстинской мадонны» Никитенко прошло более 30 лет, а это несколько эпох в русском эстетическом сознании. Уже в заглавии статьи уточняющим определением «Сикстинская» А.В. Никитенко придает своим размышлениям более конкретный, исторический характер. Жизнетворческий экфразис Жуковского, ориентированный на идеи романтического визионерства и мифологему Гения чистой красоты, в системе «аналитической критики» Никитенко максимально редуцирован. Идеи христианской цивилизации,

связанные с деятельностью Сикста, с общей эволюцией человеческой морали внесли существенные коррективы в эстетические принципы романтизма.

С одной стороны, в своей статье Никитенко вслед за Жуковским говорит о магической силе Рафаэлевой мадонны, о «живой, самосущей» красоте, связанной с нею. Он, как и поэт-романтик, видит в ней высший смысл искусства: «Впечатление, ею возбужденное, столь могущественно и неотразимо, что вы на несколько времени лишаетесь способности думать и говорить о чем-нибудь, кроме нее» [16. С. 586]. Но как человек нового времени, Никитенко уже более трезво относится к эстетике идеализма. В дневниковой записи от 19 октября 1855 г., анализируя развитие умственной деятельности от Карамзина до Гоголя, он так оценивает личности и деятельность Карамзина и Жуковского:

Души восприимчивые, благородные, нежно настроенные ощутили над собой могущество великих верований человечества и радостно, беззаветно отдались первым впечатлениям этого отрадного знакомства. Таковы Карамзин и Жуковский. Но в этом *прекраснодушии* еще узкий взгляд на вещи. Это состояние юношеской неопытности, которая не ведает зла. Это, если можно так выразиться, сластолюбивое отношение к истине и красоте, а не деятельности мужей, для которых жизнь есть не игра в прекрасные чувства, а подвиг и победа. Но лучшие умы постепенно отрезвляются и перестают смотреть на мир сквозь близорукие очки собственного сердца, которое видит лишь только то, что хочет видеть, то есть чем может наслаждаться и с чем может мириться. Они уже глубже всматриваются в вещи и находят, что тут не до сибаритской роскоши чувств. <...> Переходным звеном здесь является Пушкин: он уже недоволен, тревожен. Язвительен, хотя и в личном еще смысле. За ним идет Лермонтов, а там вдруг вырастает Гоголь... [2. Т. 1. С. 360–361].

В тексте самой статьи Никитенко более сдержанно говорит о «прочтении» Рафаэлевой мадонны идеалистами-романтиками. Более того, он даже вскользь упоминает об образах «невещественной» красоты и отдает дань «ясновидению Рафаэлева гения» (16. С. 589). Но знаменательно, что имя автора «Рафаэлевой мадонны» исчезает в «Рафаэлевой Сикстинской мадонне». Статья Жуковского, ставшая в это время уже классикой русской эстетической мысли, не упоминается вообще. Автор статьи о Жуковском «со стороны его поэтического характера и деятельности» как будто забывает его «Письмо о Дрезденской галерее», его мифологему Рафаэлевой мадонны. И это нельзя рассматривать иначе как тактический шаг критика. Память о поэте, его концепции визионерства и Гении чистой красоты живет в подтексте статьи критика 1850-х гг., боготворившего рыцаря романтизма, но живущего в другом времени и мыслящего категориями «исторической критики». Обратившись к балладе Жуковского «Старый рыцарь» для комментария к драматической истории создания так и не законченной картины Брюллова, Никитенко косвенно напоминает о творце «Рафаэлевой мадонны», который тоже долго («целый час») стоял перед творением Рафаэля и убедился, что «это не картина, а видение», что «эта картина родилась в минуту чуда». Только курсивом выделенная цитата из баллады и последующее решительное заявление:

«Только это не был сон...» разрушает ваккенродеровскую легенду о сне Рафаэля и ее отзвуки в статье Жуковского. На протяжении всей статьи Никитенко так и не вспомнит об этом.

Еще в статье Белинского, посвященной речи Никитенко о критике, были сформулированы методологические установки для понимания исторической роли христианства в новом понимании красоты как «красоты нравственного мира». Критик писал:

Христианство нанесло решительный удар безусловному обожанию красоты как красоты. Красота мадонны есть красота нравственного мира, красота девственной чистоты и материнской любви; ее могла выразить только живопись, но уж никаким образом не могла выразить бедная скульптура [17. С. 277].

Никитенко пытается эту концепцию исторического развития красоты последовательно соотнести с идеями христианства, а творца Сикстинской мадонны сделать одним «из величайших изъяснителей христианства». И если для Жуковского главное выражение гения Рафаэля – его великая душа, а в его картине – стремление «изобразить для глаз верховное назначение души человеческой», то для Никитенко не менее важно место Рафаэля и его творения для умственной жизни, для истории общественной жизни и идей христианства. Сам экфразис Сикстинской мадонны у Никитенко – это скорее попытка вербального описания сюжета и образов творения Рафаэля. Если Жуковский, воспринимая Рафаэлевую мадонну как видение и откровение, говорит о картине – (при этом замечая: «если слово *картина* здесь у места») [9. Т. 12. С. 344] как о чуде, не подвластном выраженью, то Никитенко, усердно члени картину на образы, ищет в каждом из них идею христианства, пытается прозреть в них «обыкновенные и естественные формы».

Внедряя в текст эссе фрагмент из своего стихотворения, Жуковский формирует именно житетворческий экфразис, где пересекаются и соотносятся тайны поэзии и живописи, где «Жизнь и Поэзия одно». Никитенко остается в своей статье историческим критиком и историком искусства. Его экфразис не больше чем искусствоведческая конструкция. В нем душа не распространяется; в нем главный герой – ум современного критика. Идеализм органично входит в систему его «исторической критики» как определенный этап проблемы отношения искусства к действительности. Не случайно Николай Чернышевский называл себя его «учеником», а в личной библиотеке А.В. Никитенко (собрание НБ ТГУ. № 22249) сохранился экземпляр книги Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (СПб., 1855) с дарственной надписью: «Александр Васильевичу Никитенко, в знак глубокого уважения от его ученика».

Сразу же после смерти Жуковского Никитенко написал статью «Василий Андреевич Жуковский, со стороны его поэтического характера и деятельности», которую опубликовал в журнале «Отечественные записки» (1853. Т. 86. № 1. Отд. 2. С. 1–36; позднее издана отдельной брошюрой). Статья получила высокую оценку современников. Как записал в дневнике 8 января 1853 г. ее автор: «До меня вообще доходят вести, что статья моя принята в публике

очень хорошо» [2. Т. 1. С. 358]. П.А. Плетнев, очень близкий к Жуковскому человек, сам только что написавший о нем статью «О жизни и сочинениях В.А. Жуковского» (Живописный сборник 1853 года. Т. 3. С. 355–397), так, по словам Никитенко, оценил его публикацию: «Вы попали прямо в суть дела, – сказал он мне, – и превосходно определили Жуковского со всех сторон. Особенно хорошо определены у вас отношения его к Обществу. Я сам старался везде показывать, что деятельность писателя есть гражданская заслуга» [2. Т. 1. С. 357–358].

Уже эпиграф – стихотворение «К портрету Жуковского» А.С. Пушкина: «Его стихов пленительная сладость // Пройдет веков завистливую даль...» – определяет пафос статьи. Критик формулирует его лаконично и четко: «...очертить в общей картине характер его литературной деятельности и значение, какое имеет она в истории нашей словесности и образования» [18. С. 2]. Поистине в его статье реализуется замечательный афоризм поэта: «Жизнь и Поэзия одно». Но Никитенко расширяет пространство этого взаимодействия. Постоянно подчеркивая высоту «идеального синтетического воззрения», «сближения действительности идеальной и действительности вещественной» через «синтезис», он говорит о синтезе национального и общечеловеческого, «своего» и «чужого» в поэзии Жуковского. Раскрывая природу этого синтеза, автор статьи показывает, как в имени Жуковского «заключается целый период нашей словесности», как «он первый из наших писателей идею чистой красоты сделал господствующею в своих творениях, первый был поэтом в прямом художественном смысле этого слова, понял глубоко эстетическое значение литературы и возбудил к ней всеобщее значение», «он дал нашей лирике поэтический смысл, а это очень важно; ибо лирика в каждой литературе есть пульс, которым означает движение ее жизненных сил» [18. С. 1, 4, 17]. Главное значение статьи Никитенко заключается в том, что он свои критические афоризмы материализовал через глубочайший анализ слова Жуковского. В этом отношении его статья является развитием основных идей и образов статьи самого Жуковского «О поэте и современном его значении. Письмо к Н.В. Гоголю» (1848), в центре которой – интерпретация выражения Пушкина: «Слова поэта суть уже дела его» (об этом см.: [19]). Мысли критика о природе слова Жуковского не потеряли своей актуальности и сегодня. Достаточно лишь процитировать одно его высказывание:

Жуковский обладал тем победительным могуществом слова, которое каждую выражаемую мысль не только делает доступною нашему сознанию, но вносит ее в самые сокровенные отправления сердца, мчит ее, так сказать, с собою по жилам и нервам всего существа нашего. Поэтому естественно, что из каких бы отдаленных человеческих источников Жуковский не почерпал идеи и образы, они тотчас становились собственностью всей нашей литературы, стремившейся быть образованною, человечественною [18. С. 12].

Идея нравственного влияния Жуковского на отечественную общественную жизнь и литературу обретает свое развитие и конкретизацию через по-

стоянно возникающую историко-литературную параллель Жуковский – Пушкин. Одним словом, статья Никитенко не превратилась в некролог о Жуковском. Она всем своим содержанием и пафосом была устремлена в будущее, навстречу юбилейным статьям 1883 г., монографии А.Н. Веселовского, критическим выступлениям поэтов Серебряного века.

Дневниковые записи Никитенко после написания и публикации статьи, относящиеся к 1855–1857 гг., отражают его участие в особом комитете «для рассмотрения посмертных сочинений Жуковского», написание «предисловия к дополнительному изданию сочинений Жуковского», участие в обсуждении «проекта памятника, который собираются воздвигнуть на могиле Жуковского» и открытии этого памятника, в «похоронах вдовы Жуковского» [2. Т. 1. С. 423, 439, 443, 450, 466]. В 1867 г. он «видел сына поэта Жуковского, молодого человека, весьма приличной наружности», с которым «поговорил об его знаменитом отце» [Там же. Т. 3. С. 103]. Так на протяжении почти полувека развивалась история личных и творческих отношений В.А. Жуковского и А.В. Никитенко.

Литература

1. Жиликова Э.М. Письма В.А. Жуковского к А.В. Никитенко // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2011. № 4 (16). С. 82–92.
2. Никитенко А.В. Дневник: в 3 т. Серия литературных мемуаров / подгот. текста, вст. ст. и примеч. И.Я. Айзенштока. [Л.]: Гос. изд-во худож. лит., 1955–1956.
3. Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1–3. Томск, 1978–1988.
4. Колосова Г.И. Собрание книг А.В. Никитенко в фондах НБ ТГУ // Книга в России XVII – начала XIX в.: Проблема создания и распространения : сб. науч. тр. Л., 1989. С. 27–33.
5. Колосова Г.И. Библиотека профессора, историка литературы А.В. Никитенко: подходы и методы исследования // Проблемы литературных жанров: материалы X междунар. науч. конф., посвященной 400-летию г. Томска, 15–17 октября 2001 г. Ч. 1. Томск, 2002. С. 21–26.
6. Гончарова Н.В. А.В. Никитенко как теоретик русской словесности (по материалам библиотеки профессора) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 390. С. 5–10.
7. Гончарова Н.В. Уроки А.И. Галича в становлении литературно-эстетических взглядов А.В. Никитенко // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 394. С. 15–20.
8. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 1999–2012. Т. 1–10, 12–14.
9. Янушкевич А.С. Феномен калокагии в русской словесной культуре 1790–1830-х гг. Ст. 1 // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. № 3 (35). 2015. С. 189–201.
10. Бродский И. Форма времени: стихотворения, эссе, пьесы: в 2 т. Минск, 1992.
11. Янушкевич А.С. Слово и образ в лирике В.А. Жуковского 1815–1824 гг. // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск, 2007. Вып. 10. С. 207–219.
12. Северные цветы на 1832 год / Изд. подгот. Л.Г. Фризман. М., 1980 (Литературные памятники).
13. Русский архив. 1883. Кн. 1. С. 347–348.
14. Журнал Министерства народного просвещения. 1836. Ч. 9. № 1 (Январь). С. 180–192.
15. Лебедева О., Янушкевич А. Сикстинская Мадонна Рафаэля в русской словесной культуре XIX века: житетворческий экфразис // Paralleli: studi di letteratura e cultura russa. Per Antonella d'Amelia a cura di Cristiano Diddi e Daniela Rizzi. Salerno, 2014. P. 93–122.
16. Никитенко А.В. Рафаэлева Сикстинская Мадонна // Русский вестник. 1857. Т. 11. С. 586–597.
17. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 6. С. 267–334.
18. Никитенко А.В. Василий Андреевич Жуковский, со стороны его поэтического характера и деятельности. СПб., 1853. 36 с.

19. А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 1. С. 35–36; Т. 2. С. 470–471.

V.A. ZHUKOVSKY AND A.V. NIKITENKO: THE HISTORY OF PERSONAL AND CREATIVE RELATIONSHIP

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 108–121.

DOI: 10.17223/19986645/39/9

Goncharova Natalia V., Yanushkevich Aleksandr S., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: Nauchka@mail.ru / asyanush50@yandex.ru

Keywords: idealism, Russian literature, inscriptions, A.S. Pushkin, image-symbol, kalokagathia.

The article presents personal and creative relationship between Zhukovsky and Nikitenko as a specific semiosphere based on the history of their lifetime meetings and creative cooperation. Using the material of two private libraries as well as their correspondence and diaries, we follow the steady interest of critic and literary historian A.V. Nikitenko to the personality and works of V.A. Zhukovsky, the first Russian romanticist. Nikitenko's library still has six editions of Zhukovsky and an illustrated album, two of them with inscriptions which testify to the friendly relations of the great Russian poet and the professor of literature. The diary entries show that three plots acquire a special life-creating value: joint activity on the perpetuation of the memory of A.S. Pushkin, Zhukovsky's assistance in the liberation from serfdom of Nikitenko's brother and mother, and Nikitenko's active participation in the publication of the posthumous works of the great Russian poet and friend.

In his critique of *Stikhotvoreniya V. Zhukovskogo* [V. Zhukovsky's Poems] (1836), Nikitenko appreciates the value of Zhukovsky's poetry for the Russian public and artistic consciousness. The critic consistently develops the idea of a new direction in poetry that shows the "wealth of the national language", and marks the contribution of the first Russian romanticist to the development of the prose style, drawing the reader's attention to the essays "Rafaeleva madonna" [Raphael's Madonna], "Puteshestviye po Saksonskoy Shveytsarii" [A Journey through Saxon Switzerland] "Otryvki pisem iz Shveytsarii" [Excerpts of letters from Switzerland].

The main pathos of the whole creative biography of Zhukovsky and Nikitenko is a consistent statement of idealism as a philosophy of modern spiritual life and verbal culture. Zhukovsky sharply raised the problem of the inextricable connection of the good, morality and beauty in Russian aesthetics and criticism. In his poems of 1814–1824, which can rightly be called aesthetic manifestos, the poet consistently introduces the anthropology and ontology of kalokagathia philosophy in the space of beauty. Through the image-symbol "spirit of pure beauty" Zhukovsky creates a special type of symbolic thinking; the image receives the status of aesthetic citizenship in the essay "Rafaeleva madonna" [Raphael's Madonna] and reflects the state of the propagation of the soul. For Nikitenko the concept-image of the soul is the psychological basis of idealism, but in his critical and aesthetic quest he tries to see "ordinary and natural forms".

After Zhukovsky's death, Nikitenko wrote the article "Vasily Zhukovsky, On His Poetic Nature and Activities" (1853), in which he talks about the synthesis of the national and the universal in the poet's works. The idea of Zhukovsky's moral influence on Russian social life and literature develops and specifies through the constantly emerging historical and literary parallel Zhukovsky – Pushkin.

Nikitenko's idealism was not an escape from reality, from the spirit of the time and social and philosophical trends, it is an organic part of his "historical criticism" system as a stage of the problem of relation of art to reality.

References

1. Zhilyakova, E.M. (2011) V. Zhukovsky's letters to A. Nikitenko. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (16). pp. 82–92. (In Russian).
2. Nikitenko, A.V. (1955–1956) *Dnevnik: v 3 t.* [Diary: in 3 vols]. [Leningrad]: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury.
3. Kanunova, F.Z. et al. (eds) (1978–1988) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo v Tomske* [V.A. Zhukovsky's Library in Tomsk]. Vols 1–3. Tomsk: Tomsk State University.

4. Goncharova, N.V. (2015) A.V. Nikitenko as a theorist of Russian literature (on the materials of Professor's library). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 390. pp. 5–10. (In Russian).
5. Goncharova, N.V. (2015) Lessons of A.I. Galich in the formation of literary and aesthetic views of A. Nikitenko. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 394. pp. 15–20. (In Russian).
6. Zhukovsky, V.A. (1999–2012) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vols I–X, XII–XIV. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
7. Yanushkevich, A.S. (2015) The kalokagathia phenomenon in the Russian verbal culture of 1790–1830s. Article 1. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 3 (35). pp. 189–201.
8. Brodsky, I. (1992) *Forma vremeni: stikhotvoreniya, esse, p'esy: v 2 t.* [Time Form: poems, essays, plays: in 2 vols]. Minsk: Eridan.
9. Yanushkevich, A.S. (2007) Slovo i obraz v lirike V.A. Zhukovskogo 1815–1824 gg. [Word and image in the lyrics of V.A. Zhukovsky of 1815–1824]. *Aktual'nye problemy leksikologii i slovoobrazovaniya*. X. pp. 207–219.
10. Frizman, L.G. (ed.) (1980) *Severnye tsvety na 1832 god* [Northern Flowers in the year 1832]. Moscow: Literaturnye pamyatniki.
11. *Russkiy arkhiv*. (1883). 1. pp. 347–348.
12. *Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya*. (1836). IX: 1 (January). pp. 180–192.
13. Lebedeva, O. & Yanushkevich, A. (2014) Sikstinskaya Madonna Rafaelya v russkoy slovesnoy kul'ture XIX veka: zhiznetvorcheskiy ekfrazis [Sistine Madonna by Raphael in the Russian verbal culture of the 19th century: life-creating ekphrasis]. In: d'Amelia, A. *Paralleli: studi di letteratura e cultura russa*. Salerno.
14. Nikitenko, A.V. (1857) Rafaelova Sikstinskaya Madonna [Raphael's Sistine Madonna]. *Russkiy vestnik*. XI. pp. 586–597.
15. Belinsky, V.G. (1955) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 6. Moscow: USSR AS.
16. Nikitenko, A.V. (1853) *Vasilij Andreevich Zhukovskiy, so storony ego poeticheskogo kharaktera i deyatel'nosti* [Vasily Zhukovsky, On His Poetic Nature and Activities]. St. Petersburg.
17. Grigorenko, V.V. et al. (eds) (1974) *A.S. Pushkin v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 t.* [A.S. Pushkin in the memoirs of contemporaries: in 2 vols]. Vols 1–2. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

УДК 82:82-6:811.16

DOI: 10.17223/19986645/39/10

Э.М. Жиликова

А.П. ЕЛАГИНА И ЧЕШСКИЕ СЛАВИСТЫ

В статье впервые рассматривается событие из истории чешско-русских отношений – встреча и знакомство с чешскими славистами А.П. Елагиной, связанной с литературным и научным миром русской интеллигенции первой половины XIX в.

В портретах чешских славистов, созданных в письме Елагиной Жуковскому, ученые характеризуются со стороны их нравственных качеств, подробно описываются их быт, занятия. Письмо проникнуто уважением и энтузиазмом Елагиной, обусловленными гуманностью, демократизмом автора и пониманием значимости деятельности чешских славистов для развития отечественной культуры, образования и науки.

Ключевые слова: чешско-русские культурные связи, А.П. Елагина, В.А. Жуковский, М.П. Погодин, Ф. Палацкий, В. Ганка, П. Шафарик.

В истории чешско-русских отношений есть малоизвестная страница, связанная с пребыванием А.П. Елагиной в Праге в 1835 г. Свои впечатления от встречи с тремя выдающимися чешскими славистами – Вацлавом Ганкой (Václav Hanka, 1791–1861), Франтишеком Палацким (František Palacký, 1798–1876) и Павлом Шафариком (Pavel Jozef Šafárik, 1795–1861) – Елагина подробно описала в письме В.А. Жуковскому от 7 октября (нового стиля) 1835 г. Письмо интересно в нескольких аспектах, и прежде всего тем, что показывает, насколько проблема славянских связей была актуальной для русского общества середины XIX в.

Важна личность А.П. Елагиной (1789–1877) – одной из представительниц просвещенной русской дворянской интеллигенции, принимавшей активное участие в развитии философской, общественной и эстетической мысли общества. Племянница В.А. Жуковского, мать выдающихся деятелей русской культуры – философа и фольклориста (Ивана и Петра Киреевских), историков (Николая и Василия Елагиных), хозяйка знаменитого московского салона («привольной республики у Красных ворот»), в котором в 1840-е гг. собирались славянофилы и западники (в том числе Грановский и Герцен, Хомяков и Константин Аксаков), Елагина была хорошо знакома с их историософскими концепциями путей развития России. Собственная позиция Елагиной в решении славянского вопроса отличалась диалектичностью. Елагина не разделяла славянофильского противопоставления России и Запада, и вместе с тем многое в позиции славянофилов поддерживала. Это касалось прежде всего вопроса о самостоятельном и значимом содержании русской культуры и истории как части большого славянского мира в контексте единой европейской жизни.

Повышенное внимание к проблемам славянской культуры и высокая оценка трудов чешских ученых во многом были актуализированы обстоятельствами личной жизни Елагиной – ее горячим участием в делах славяно-

фильски настроенных детей, оказавшихся в гуще общественного и художественно-эстетического движения. В письмах 1835 г., отправленных Жуковскому еще до поездки в Европу (с целью поправить здоровье), она сообщает поэту о событиях вокруг нового московского журнала, о судьбе Ивана Киреевского и о подготовке к изданию русских песен, собранных Петром Киреевским. Елагина пишет: «...издатели здешнего Московского Журнала поручили мне повергнуть их к стопам вашим. <...> Благословите его каким-нибудь даром святой вашей Музы» [1. С. 399]. Речь идет о «Московском наблюдателе», органе формировавшегося славянофильства, в котором главными сотрудниками были А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, В.Ф. Одоевский. В письме от 21 февраля 1835 г. Елагина сообщает Жуковскому о неудачно складывавшейся служебной карьере Петра Киреевского в Архиве Иностранной коллегии и о его успешной деятельности по сбору и подготовке к изданию народных «стихов»: «Он издает собрание песен, какого ни в одной земле еще не существовало, около 800 одних легенд, т. е. *стихов* по ихнему» [1. С. 401].

Елагина находилась в гуще энтузиастов, занимавшихся собиранием песен или поддерживавших это начинание. В предисловии к изданию «Русских народных стихов» (1848) Петр Киреевский перечислил в благодарственном списке их имена, среди которых в первую очередь была названа многочисленная семья Языковых и А.С. Пушкин, который «еще в самом почти начале ...предприятия доставил... замечательную тетрадь песен, собранных в Псковской губернии» [2. С. 426]. Среди перечисленных «собираателей» названа плеяда молодых ученых, писателей журналистов, входивших в дом Киреевских-Елагиных на правах друзей: Н.В. Гоголь, историк Дмитрий Александрович Валугев (1820–1845), физик Василий Матвеевич Рожалин, поэт, историк, фольклорист этнограф, будущий ректор Киевского университета Михаил Александрович Максимович (1804–1870).

То есть проблема изучения русского народного творчества, языка и поэтики, этнографии и, естественно, славянских связей была актуальной для русской науки и культуры, и это объясняет внимание Елагиной к деятелям славянской культуры в европейских странах, в частности в Чехии и Словакии.

В списке Петра Киреевского среди перечисленных подвижников и собираателей «народных стихов» значится имя М.П. Погодина, с которым Елагину связывали давние дружеские отношения и по просьбе которого в 1835 г. она оказалась в Праге. Погодин в 1830-е гг. был известен как один из ведущих ученых по вопросам славянской истории, а также как переводчик и организатор чешско-русских научных связей. До 1835 г. Погодин встречался с чешскими славистами, организовал перевод трудов чешских ученых, издание их и пропаганду среди русских читателей, Именно Погодин способствовал установлению связей между русской и чешской интеллигенцией.

Так, в библиотеке В.А. Жуковского, человека из ближайшего круга Елагиной, сохранились книги, связанные с переводческой и издательской деятельностью Погодина («О происхождении Руси» (1825) [3. Описание № 293]; О жилищах древнейших россос и критический разбор оных» (1826) [3. Описание № 294], и книги чешских славистов: Йозефа Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители» (1825) [3. Описание № 120] в переводе

с немецкого и с предисловием М.П. Погодина; «Славянские древности» Шафарика (1837), «Краледворская рукопись» Ганки в издательском конволюте на чешском и немецком языках (1819). [3. Описание № 2642], а также в переводе Николая Берга (1846) [3. Описание № 59].

Елагина, общаясь с учеными и писателями, интересовавшимися проблемами духовного самоопределения русского народа, его историей и культурой как части великого славянского мира, была подготовлена к встрече с чешскими славистами и, как об этом свидетельствует письмо, проявила большой интерес к их жизни и деятельности.

Прибыв по просьбе Погодина в Прагу, чтобы ухаживать за его заболевшей женой на время поездки Погодина по Европе, Елагина была рекомендована чешским ученым, по всей видимости, М.П. Погодиным, который, по его собственным словам, «оставил ее <жену> на руках доброго Шафарикова семейства, в ожидании любезной Авдотьи Петровны Елагиной» [4. С. 320].

Первым в письме Елагиной характеризуется Франтишек Палацкий: «Тут познакомилась я с Палацким, умным, образованным человеком, который видел вас в Лейпциге и которому вы оставили живое впечатление. Он пишет Богемскую историю; судя по глубоким его сведениям, трудолюбию и красноречивому разговору, – вероятно, отличную» [1. С. 407–408].

Письмо Елагиной добавляет новые детали в освещение вопроса о знакомстве Палацкого с Жуковским и об отношении к этому событию Елагиной. Л.С. Кишкин в статье «Знакомство и переписка Франтишека Палацкого с В.А. Жуковским» в 1976 г. опубликовал два письма, хранящиеся в РО Музея чешской литературы (Прага) и ОР ИРЛИ (СПб.): письмо Палацкого к Жуковскому и ответное, датируемые 1828 и 1829 гг. Автор статьи относит их встречу «к концу 20-х годов прошлого века, когда молодой Палацкий активно участвовал не только в научной и общественно-политической жизни Чехии (как это было позже), но и литературной» [5. С. 83]. В дневнике от 28 августа 1827 г. Жуковский упоминает о своем визите к Василию Ивановичу Фрейгангу: «27(8) <...> Обедал у Фрейганга» [6. С. 292]. В 1827 г. Фрейганг был генеральным консулом в Саксонском королевстве. Эта запись соответствует началу письма Палацкого к Жуковскому: «Когда год назад я имел счастье лично познакомиться с вашим высокородием в Лейпциге у господина генерального консула фон Фрейганга <...>» (Кишкин 1976: 292).

В опубликованных письмах речь идет о посланных Палацким экземплярах «Журнала Чешского музея», основанного и редактируемого им, и ответная благодарность русского поэта. Комментируя письмо Жуковского, Л.С. Кишкин замечает: «Трудно представить себе, чтобы, знакомясь с чешским журналом («основным репрезентантом <...> чешской культуры эпохи национального Возрождения»), Жуковский ни с кем не делился своими впечатлениями о прочитанном. А ведь в конце 20-х – начале 30-х годов он встречался со многими видными представителями литературного Петербурга (Пушкин, Гоголь, Вяземский и др.)» [6. С. 86]. Исследователь совершенно прав в своих предположениях, когда речь идет о Пушкине и Гоголе, подтверждаемых их связями с Шафариком и Ганкой. Елагина же попадает в список «и др.<угих>», тем самым подтверждая мысль о масштабности интереса в русском обществе к проблемам славянства. Встречаясь и беседуя с Палацким

о Жуковском и передавая русскому поэту слова признательности чешского ученого, Елагина выполняет миссию живого посредника. Напоминая о встрече двух выдающихся деятелей русской и чешской литературы и сообщая о творческих планах Палацкого, она способствует сохранению и укреплению связей со славянскими культурами.

В портретах чешских славистов, созданных в письме Елагиной к Жуковскому, отсутствует наукообразие, отмечаются не только их достижения – ученые характеризуются со стороны нравственных качеств. Иначе, чем о Палацком, Елагина пишет о В. Ганке. Она называет его «самолюбивым Славянином, чванящимся Владим<ирским> крестом выше всего, что имеется истинного» [1. С. 408].

Причина столь нелюбезного отзыва неясна. Ганка был признан в России, удостоен в 1820 г. серебряной медали Российской академии, по предложению А.С. Шишкова, прежде всего как «издатель древних чешских песнопений, помещенных в известиях Российской академии под названием «Краледворская рукопись» [7. С. 310]. В отношении Елагиной к Ганке, возможно, определенную роль сыграли впечатления от тяжелого материального положения «протестанта Шафарика», которого не принимали на службу в чешские университеты, и бесконечные отсрочки поездки Челаковского и Шафарика на службу в Россию, в которых они винили Ганку. В любом случае, в своей сдержанно-критической настроенности Елагина расходится со многими русскими деятелями, посещавшими Прагу и встречавшимися там с Ганкой. Так, Н.П. Барсуков, описывая визит к Ганке в этом же 1835 г. Погодина, отмечает доброжелательность чешского ученого: «По приезде в заветный для него (Погодина) город, – пишет Барсуков, – он (Погодин) прежде всего посетил Национальный музей, где принял его Ганка как нельзя приветливее и радушнее, познакомил со всеми учеными драгоценностями библиотеки, осыпал воспоминаниями о Добровском, пересказал его книги и рукописи, подвел к его портрету, преподнесенному ему при жизни а *Slavicarum litterarum cultoribus*, посадил на его простой дубовый стул, подарил несколько его вещей» [4. С. 313]¹.

Совсем другим тоном, полным глубокой симпатии и уважения, проникнуто описание Елагиной Шафарика – его личности, быта, научных занятий. Елагина восхищается «милым, исполненным *Божественного вдохновения* ученым и трудолюбивым разыскателем древности народов Слав<янских> и языков». «На будущий год, продолжает Елагина, – выйдет из печати его книга о происхождении Слав<янских> народов, которая, говорят, положит незыблемую основу всем историям, не исключая России. – Труды его неимо-

¹ О доброжелательности и гостеприимстве Ганки как энтузиаста славянского дружества будут позже писать русские ученые, встречавшиеся с ним в Праге. В статье «Воспоминания о В.В. Ганке», написанной в 1861 г. по следам сообщения о смерти ученого, В.В. Срезневский великой заслугой Ганки называет его «участие в нравственном оживлении Чешского народа» и «чистую любовь к Славянству вообще» [8. С. 9]. А.Н. Пыпин, описывая свое посещение Праги во время заграничного путешествия 1855–1859 гг., замечает о В. Ганке: «Множество русских, бывших в Праге, с удовольствием вспомнят любезное гостеприимство чешского ученого; его обширные знакомства, его готовность сообщить указания, материалы, книги много способствовали к установлению сношений между славянскими учеными, облегчили многие труды и скрепляли взаимность между новыми славянскими литературами, что очень важно для их общего блага» [9. С. 165].

верны; а вся жизнь высоко поэтическая. Он так беден, что с женой, матерью и 4-мя детьми живет 1000 гул<ьденами>, собираемыми для него *неназывающимися* друзьями, но порядок бедных его комнаток, ясность души и светлый ум не позволяют и заметить в чем-нибудь недостатка» [1. С. 408]. Характер оценки Шафарика выдает демократическую настроенность Елагиной, ее глубокое сочувствие материально нуждающемуся ученому и понимание значимости деятельности чешского слависта для развития отечественной культуры, образования и науки. Елагина сообщает Жуковскому о готовящейся книге, экземпляр которой появится в библиотеке поэта: «Славянские древности. Перевод с чешского И. Бодянского. Издано М. Погодиным. Часть историческая. Том 1, книга 1-ая. М., тип. университета, 1837» [3. Описание № 441].

Впечатления Елагиной от встречи с Шафариком в 1835 г. совпадают с оценками Александра Титова¹ и М.П. Погодина, посетивших Прагу в том же году. Погодин писал о Шафарике: «Тесная работная комната, установлена полка с книгами: посредине стол, покрытый бумагами. После две еще меньшие комнатки для семейства, которое составляют: жена, словенка родом из Венгрии, теща и четверо детей. Ход из комнаты мимо кухни. Весь доход его от литературных трудов простирается не свыше двух тысяч рублей. Здесь-то живет и с такими-то малыми средствами действует великий муж, один из первых представителей миллионного народа, пекущийся о судьбе его на будущие времена, без его ведома, не только без благодарности, без славы, признаваемый вполне, может быть, десятию-двадцатью человеками во всей Европе, работающий до упаду от утра до вечера над самыми тяжелыми, изнурительными сочинениями, кои никто почти не покупает, не читает, не знает» [4. С. 313–314]. В это время Шафарик оканчивал свои «Славянские древности». По замечанию Погодина, «этого сочинения не доставало в Европейской литературе: немецкие писатели, занимаясь всеми языками на свете, живыми и мертвыми, Европейским и Санскритским, имеют до сих пор какое-то непонятное отвращение от Славянского и печатают об этом всемирном народе так, что читать стыдно за них. Они никак не могут вразумиться, что общая История не может быть без Славянской» [4. С. 316].

Общий вывод из впечатлений о Шафарике Елагиной сделан в более лаконичной форме, но он чрезвычайно важен и характерен. Она заключает: «Если бы у нас была кафедра Слав<янских> Языков, Универ<ситет> наш должен бы гордиться таким человеком» [1. С. 408].

¹ А.П. Титов, брат В.П. Титова, сообщал К.С. Сербиновичу в письме от 28 октября (нового стиля) 1835 г. из Вены: «Пражские ученые – славный народ, патриархальное поколение. Ей ей, хорошо бы посылать из нашей молодежи, посмотреть на их смиренную, но терпеливую и плодотворную деятельность. Сокол между ними Шафарик; живет в бедности, ибо как протестант не может занимать должности при Университете в Праге, жена, трое детей. Несмотря на все, он трудолюбив, копит материалы для трудов истинно колоссальных; ближайшим из них явится в будущем году первобытная История Славян вообще, от древнейших времен до введения между ними Христианства. <...> Если б удалось года хоть на два, на три, привлечь его в Московский, или хоть Петербургский Университет, для преподавания Славянских наречий, – какое бы сокровище. <...> Палацкий, издатель оценки Чешских Летописцев и Историков, занят, по поручению Богемских чинов, сочинением полной Истории Богемского Королевства <...> Ганка, хранитель народного музея в Праге, только что кончил новое издание Краледворской рукописи и краткую Чешскую грамматику» [10. С. XVI–XVII].

Это высказывание носит не просто эмоциональный характер. Елагина заинтересована в развитии университетского образования, в котором важное место должно занимать преподавание и изучение славянских языков. Тем более что в 1836 г. поступит в Московский университет ее сын Василий Алексеевич Елагин, будущий историк. Образование он продолжит в Европе, в том числе в Праге у Шафарика¹. Перу В.А. Елагина принадлежит труд «Об истории Чехии», написанный в 1847 г. Эта книга числится в составе библиотеки Жуковского [3. Описание № 131).

Письмо Елагиной дает основание предположить возможность личного знакомства Петра Киреевского с чешскими славистами, и в первую очередь с Шафариком. В письме от 10 сентября 1835 г. Владимир Титов, который путешествовал вместе с Петром Киреевским, писал М.П. Погодину, надеясь встретить его в Праге по пути из Франценсбада: «И город и жители, особливо ученые Славянские, крайне меня занимают. Для чего не пишешь ни слова о Ганке? Что за отношения? Во всяком случае спасибо за то, что предупредил о нас Шафарика». К этому письму приписал строчку П.В. Киреевский: «Усердно вам кланяется и надеется скоро увидеть» [4. С. 320).

Но Погодин покинул Прагу раньше их приезда – и эту миссию на себя взяла Авдотья Петровна. После поездки в Германию Петр Киреевский и Титов провели в Праге целую неделю. Об этом пишет Елагина: «В Праге я провела две недели, одну для Погодиной, а на другую приехали мои юноши: Петр и Вл<адимир> Титов, и мы вместе рыскали повсюду» (Переписка 2009: 408).

Уточняется и время пребывания Петра Киреевского и Владимира Титова в Праге: это неделя, на которую падает «день Св<ятого> Вячесла», т.е. 28 сентября 1835 г., когда на площади перед Собором, куда, как пишет Елагина, «половина Богемии стекалась», у нее «из кармана, который был даже не в верхнем платье, вытащили все деньги и все кредитивы, в одном портфеле хранящиеся». Но это уже другая история, получившая продолжение в последующей переписке Елагиной и Жуковского.

Имя Шафарика вновь появится в письме Елагиной к Жуковскому от 6 августа 1838 г. Упоминание имени великого чешского слависта вызвано предполагаемым посещением Жуковским Праги и проникнуто глубоким уважением и теплотой воспоминаний о встрече 1835 года: «Видели ли нашего доброго Шафарика, истинного славянина, преданного России, трудящегося до изнеможения и с семьей почти умирающего от нужды? – Я для него и для вас радуюсь проезду вашему через Прагу. Появление ваше там должно быть лучом счастья ему» [1. С. 446].

¹ В письме к О.М. Бодянскому от 22 октября 1843 г. Шафарик сообщает: «Г. Елагин здесь, здоров и весел» [11. С. 161]. 22 ноября 1844 г. в письме О.М. Бодянскому просьбу прислать ему две книги («Остромирово Евангелие» в издании А.Х. Востокова и «Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов» Н.А. Лукьяновича) Шафарик сопровождает замечанием, свидетельствующим о дружеских отношениях его с молодыми русскими учеными: «Приятели Елагин, Валуев, Панов и проч. сами напрашивались помочь мне по части книг. Я бы их теперь попросил, чтобы они на деле доказали своё энергично и пламенно обещанное расположение. Поговорите с ними, сделайте, что можно» [11. С. 168].

Таким образом, письмо о посещении А.П. Елагиной Праги в сентябре 1835 г. представляет интересную страницу из истории чешско-русских отношений. Оно дополняет реальными фактами картину большого интереса и самого пристального внимания русской интеллигенции к проблемам славянской культуры и истории, в частности Чехии в эпоху ее национального возрождения.

Литература

1. Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1814–1852 / сост. Э.М. Жиякова. М.: Знак. 2009. 720 с.
2. Калугин В.И. «Своенородности подвижник просвещенный...» // Собрание народных песен П.В. Киреевского. Тула: Приок. кн. изд-во, 1986. С. 417–433.
3. Библиотека В.А. Жуковского. (Описание) / сост. В.В. Лобанов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. 415 с.
4. Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 4. СПб., 1891. 524 с.
5. Кишкин Л.С. Знакомство и переписка Франтишека Палацкого с В.А. Жуковским // Советское славяноведение. 1976. № 2. С. 83–86.
6. Жуковский В.А. Собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры 2004. . Т. 13. 607 с.
7. Сухомлинов М.И. О сношениях В.В. Ганки с Российской Академией и о вызове его в Россию // Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. СПб., 1876. С. 309–318.
8. Срезневский И.И. Воспоминание о В.В. Ганке. СПб., 1861. 55 с.
9. Пыпин А.Н. Два месяца в Праге // Пыпин А.Н. Мои заметки. М., 1910. С. 149–312.
10. Францев В.А. Очерки по истории чешского Возрождения. Русско-чешские ученые связи конца XVIII и первой половины XIX ст. Варшава, 1902. № 3. 400 с.
11. Письма П.И. Шафарика к О.М. Бодянскому (1838–1857) с приложением писем П.И. Шафарика к В.И. Григоровичу (1852–1856). М., 1895. 233 с.

A.P. ELAGINA AND CZECH SLAVISTS

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 122–129.

DOI: 10.17223/19986645/39/10

Zhilyakova Emma M., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: emmaluk@yandex.ru

Keywords: Czech-Russian cultural relations, A.P. Elagina, V.A. Zhukovsky, M.P. Pogodin, F. Palacky, V. Hanka, P. Safarik.

The paper first examines an event from the history of Czech-Russian relations: the meeting and acquaintance of A.P. Elagina, connected with the literary and academic world of the Russian intelligentsia of the first half of the 19th century, with Czech Slavists in 1835.

A.P. Elagina described her impressions of the meeting with V. Hanka, F. Palacky and P. Safarik in detail in a letter to V.A. Zhukovsky on October 7. 1835.

Niece of V.A. Zhukovsky, mother of the outstanding figures of Russian culture, a philosopher and a folklorist (Ivan and Pyotr Kireevsky), historians (Nikolay and Vasilii Elagin), owner of the famous Moscow salon that hosted Slavophiles and Westerners (including Granovsky, Herzen) in the 1840s, Elagina (1789–1877) was well acquainted with Czech Slavists' historiosophical concepts of the development of Russia. Elagina's own position consisted in a dialectical approach to solving the Slavic question. Elagina did not share the Slavophile opposition of Russia and the West, yet she supported much in the position of the Slavophiles. This applied primarily to the issue of an independent and meaningful content of Russian history and culture as part of the Slavic world in the single context of European life.

Increased attention to the problems of Slavic history and high appreciation of the works of Czech scholars were largely due to the personal circumstances of Elagina: her active involvement in the affairs of the Slavophile-minded children caught in the midst of the social, artistic and aesthetic move-

ment. In her letters in 1835, she tells Zhukovsky about the fate of Ivan Kireevsky and *Moskovsky zhurnal*, on preparations for the publication of the Russian songs collected by Pyotr Kireevsky.

An important factor in the acquaintance and history of relations with the Czech Slavists was the long-standing friendship of Elagina with M.P. Pogodin, a scholar on Slavic history, translator and organizer of the Czech-Russian academic ties, and with Zhukovsky, who corresponded with F. Palacky in 1829.

The portraits of Czech Slavists Elagina creates in her letter to Zhukovsky lack scientism, they are interesting due to the "human" approach: scholars are characterized by their moral qualities, by their way of life, activities. The letter is full of respect and enthusiasm of Elagina, which is a result of the author's humanity, democracy and understanding of the importance of the activities of the Czech Slavists for the development of national culture, education and science.

References

1. Zhilyakova, E.M. (2009) *Perepiska V.A. Zhukovskogo i A.P. Elaginoy. 1814–1852* [Correspondence of V.A. Zhukovsky and A.P. Elagina. 1814–1852]. Moscow: Znak.
2. Kalugin, V.I. (1986) "Svoenarodnosti podvizhnik prosveshchenny..." ["Enlightened promoter of his ethnos..."]. In: Kireevsky, P.V. *Sobranie narodnykh pesen P.V. Kireevskogo* [Collection of folk songs of P.V. Kireevsky]. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel'stvo.
3. Lobanov, V.V. (1981) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo. (Opisanie)* [V.A. Zhukovsky's Library. (Description)]. Tomsk: Tomsk State University.
4. Barsukov, N.P. (1891) *Zhizn' i trudy M.P. Pogodina* [Life and works of M.P. Pogodin]. Vol. 4. St. Petersburg: Tipografiya M.M. Stasyulevicha.
5. Kishkin, L.S. (1976) Znakomstvo i perepiska Frantisheka Palatskogo s V.A. Zhukovskim [Meeting and correspondence of F. Palacky with V.A. Zhukovsky]. *Sovetskoe slavyanovedenie*. 2. pp. 83–86.
6. Zhukovsky, V.A. (2004) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 13. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
7. Sukhomlinov, M.I. (1876) O snosheniyakh V.V. Ganki s Rossiyskoyu Akademiei i o vyzove ego v Rossiiu [On relations of V.V. Hanka with the Russian Academy and his invitation to Russia]. In: *Bratskaya pomoch' postradavshim semeystvam Bosnii i Gertsegoviny* [Brotherly help to the affected families in Bosnia and Herzegovina]. St. Petersburg: Izd-vo Peterburgskogo otдела slavyanskogo komiteta.
8. Sreznevskiy, I.I. (1861) *Vospominanie o V.V. Ganke* [The memory of V.V. Hanka]. St. Petersburg: tipografiya Imperatorskoy akademii nauk.
9. Pypin, A.N. (1910) Dva mesyatsa v Prage [Two months in Prague]. In: Pypin, A.N. *Moi zametki* [My notes]. Moscow: Izdanie L.E. Bukhgeym.
10. Frantsev, V.A. (1902) Ocherki po istorii cheshskogo Vozrozhdeniya [Essays on the History of the Czech Renaissance]. *Russko-cheshskie uchenye svyazi kontsa XVIII i pervoy poloviny XIX st.* [Russian-Czech academic ties in the end of the 18th and the first half of the 19th centuries]. 3. Warsaw: Tipografiya Varshavskogo Uchebnogo Okruga, Krakovskoe Predmest'e.
11. Safarik, P. (1895) *Pis'ma P.Y. Shafarika k O.M. Bodyanskomu (1838–1857) s prilozheniem pisem P.Y. Shafarika k V.I. Grigorovichu (1852–1856)* [Letters of P. Safarik to O.M. Bodyansky (1838–1857) with letters of P. Safarik to V.I. Grigorovich (1852–1856)]. Moscow: Universitetskaya tipografiya.

УДК 82-14

DOI: 10.17223/19986645/39/11

Ю.В. Пасько

**«ВСЕЛЕННАЯ ВНУТРИ НАС»: «ГАМЛЕТ» Б. ПАСТЕРНАКА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФИЛОСОФИИ НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА**

В статье проводится анализ стихотворения Б. Пастернака «Гамлет» при помощи некоторых ключевых понятий и мотивов философии немецкого романтизма, таких как театр, ночь, мировая душа, микрокосм и макрокосм. Автор также обращается к понятиям хронотопа и полифонии М. Бахтина и вопросам интертекстуальности, учитывая влияние немецких поэтов-романтиков на творчество Б. Пастернака. Ключевые слова: хронотоп, философия немецкого романтизма, театр, метафора, макрокосм и микрокосм, интертекстуальность.

Wir träumen von Reisen durch das Weltall – Ist
denn das Weltall nicht in uns?

Novalis

Стихотворение «Гамлет» было написано Б. Пастернаком в 1946 г. и входит в цикл стихотворений Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго», являясь одним из центральных текстов не только упомянутого цикла, но и всего творчества поэта. Идея прочитать это стихотворение, «вооружившись» категориями философии немецкого романтизма, не случайна. Известно, что Пастернак испытывал на себе достаточно сильное влияние немецкоязычной культуры, свидетельством этому являются его переводы стихов Рильке, черновики его собственных произведений, в которых прослеживаются мотивы немецкой романтики («История одной контроктавы»). В его опубликованных произведениях также можно заметить цитаты и реминисценции из Н. Ленау, Г. Гейне, Э.Т.А. Гофмана; важную роль в его творчестве играет И. В. фон Гете – его персонажи фигурируют, к примеру, в стихотворении «Марбург», а одним из главных переводов в жизни Пастернака является перевод «Фауста», ставший классическим. Карен Эванс-Ромэйн доказывает на основе тщательного интертекстуального анализа, что в произведениях Пастернака присутствует рецепция творчества Новалиса, одного из главных философов и идеологов немецкого романтизма [1]. Среди упоминаемых в исследованиях лирики Пастернака претекстов фигурирует также и Гёльдерлин, еще одна важная фигура в истории немецкого романтизма [2]. Однако целью данного исследования является не интертекстуальный анализ «Гамлета», хотя понятия интертекстуальности избежать не удастся, но делается попытка привлечь в качестве инструментария категории и основы философии мировоззрения немецкого романтизма и использовать этот инструментарий как матрицу для анализа текста.

Приведем стихотворение целиком:

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
[З. С. 646]

Обратимся к организации времени и пространства в тексте стихотворения. Особенности пространственно-временной структуры задает первое четверостишие:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

Уже в самом начале Пастернак соединяет три временных пласта: прошлое («в далеком отголоске»), настоящее («прислонясь к дверному косяку») и будущее («что случится на моем веку»), при этом «далекий отголосок» может также относиться к будущему. Все три временных пласта соединены в одном предложении, в одной точке, этой точкой является сам лирический герой, что подчеркивается глагольными формами настоящего времени и обращенностью этих форм к нему: «ловлю», «случится», «прислонясь». Как мы видим, здесь присутствует хронотоп порога, «проникнутый высокой эмоционально-ценностной интенсивностью», являясь хронотопом «кризиса и жизненного перелома», о котором пишет М.М. Бахтин в своей работе «Формы времени и хронотопа в романе»: «Самое слово «порог» уже в речевой жизни (наряду с реальным значением) получило метафорическое значение и сочеталось с моментом перелома в жизни, кризиса, меняющего жизнь решения (или нерешительности, боязни переступить порог). В литературе хронотоп порога всегда метафоричен и символичен, иногда в открытой, но чаще в имплицитной форме» [4. С. 397]. Стихотворение начинается с шага за порог, из этого шага, переступания через некую границу и возникает стихотворение.

В следующем четверостишии Пастернак задает пространственные координаты своего текста:

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Если по отношению к первому четверостишию мы говорили о хронотопе порога, то здесь уместно дополнить классификацию хронотопом взгляда: именно взгляд, направленный вверх и одновременно в свой внутренний мир, открывает путь дальнейшей рефлексии лирического героя, напоминая о кантовском «звездное небо надо мной и нравственный закон во мне»¹.

Метафора, определяющая, очерчивающая пространство стихотворения: «На меня наставлен сумрак ночи/Тысячью биноклей на оси» не поддается однозначному толкованию. Этот образ может быть понят как темнота зрительного зала в театре, нарушаемая бликами стекол биноклей, что согласуется с самой первой строчкой текста «Гул затих. Я вышел на подмостки». Лирический герой – актер, играющий пьесу Шекспира, что следует уже из названия стихотворения. Однако есть еще одна возможность интерпретации этой метафоры: «тысяча биноклей на оси» может быть метафорическим обозначением звезд и звездного неба над головой лирического героя. Находится лирический герой на самом деле на сцене театра или воспринимает окружающий его мир как театр? Неоднозначность этой метафоры создает некую нечеткость, размытость границ пространства, что в свою очередь делает пространство всего текста открытым.

«Театральность» данной метафоры-загадки открывает интересное измерение для понимания всего стихотворения, поскольку становится в таком случае развернутым парафразом шекспировского высказывания «Весь мир – театр и люди в нем актеры». Концепция театра и фигура английского драматурга играют немаловажную роль в мировоззрении немецких романтиков. Ф. Шиллер при написании драмы «Валленштайн» видит в качестве литературного и драматического ориентира именно Шекспира, а немецкий писатель и мыслитель Жан Поль Рихтер называет Шекспира и Гомера литературным созвездием близнецов [5. С. 32], ставя их тем самым на одну ступень. Исследовательница Моника Шмитц-Эманс отмечает, что сравнение жизни с драмой можно найти еще в Античности, во времена Средневековья и барокко земля предстает как сцена, на которой человек играет в своего рода мировой драме, а ее режиссером выступает Бог. Причем в эпоху барокко происходящее на сцене трактуется как иллюзия, а по ту сторону кулис находится правда, истоком и вместилищем которой является Бог. Однако романтики отрицают наличие «потустороннего» мира за кулисами, пространства за сценой или вне сцены не существует, а место божественного автора, режиссера и зрителя пустует, поэтому авторство переходит непосредственно к человеку. «Я» играет самое себя и растворяется в этой игре» [6. С. 62]. «Театральность», т.е. иллюзорность происходящего в мире связана с такими понятиями, как Sein и Schein, т.е. реальность и видимость, то, что есть, и то, что кажется существующим. Реальности как таковой нет, она отражается в бесконечных гранях видимости, их постоянной игре, как в калейдоскопе. Именно в таком контексте уместна метафора театра, суть которого заключается в игре,

¹ О значении взгляда, направленного на окружающий мир и на себя, см. M. Schmitz-Emans „Einführung in die Romantik“ [6. С. 124].

в создании несуществующего мира, который становится на время спектакля единственной реальностью, в которой живут актеры и в которую погружается зритель. Итак, театр – пространство вопросов, действительность и видимость действительности одновременно. Что реально? Что есть жизнь? Кто режиссер? Интересно, что Пастернак именно в контексте театральной метафоры вводит обращение к Богу в том же самом втором четверостишии «Гамлета»:

Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Если романтики постулируют отсутствие фигуры божественного режиссера и ставят на его место случай, то Пастернак отвечает на это в духе Средневековья или барокко: именно Бог является режиссером драмы и в его власти изменить происходящее, ход спектакля:

Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Говоря о необычной пространственно-временной организации текста стихотворения, необходимо внести некоторые уточнения. При прочтении пастернаковского «Гамлета» одним из ключевых является вопрос «Кто говорит? От чьего лица ведется речь?». Однозначный ответ на него сложно найти. Название стихотворения наводит на мысль, что «повествование» ведется от лица Гамлета, героя одноименной пьесы Шекспира. Метафора о «тысяче биноклей на оси» наводит на мысль о некоем театральном пространстве, и в сознании возникает образ актера, выходящего на подмостки и играющего роль Гамлета в спектакле. Обращение к Богу с просьбой «Чашу эту мимо пронеси» рисует образ Христа во время его молитвы в Гефсиманском саду. Если же принять во внимание тот факт, что «Гамлет» – это стихотворение Юрия Живаго из цикла стихов к роману «Доктор Живаго», то перед нами отчасти и Юрий Живаго, и сам Борис Пастернак как поэт и писатель. Образ лирического героя с каждой строчкой становится всё сложнее, многослойнее, полифоничнее, в нем слышна «множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных, голосов [...] ... множественность равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события» [7. С. 8–9]. Благодаря образам Христа и Гамлета, которые имплицитно и эксплицитно присутствуют в тексте, контуры времен и пространств делаются более четкими, эти образы становятся их метонимиями: в одной точке, а именно в лирическом герое, в его космосе сходятся и существуют одновременно то пространство, в котором он находится в данный момент (либо театр, либо весь

мир или одновременно театр и весь мир), пространство Датского королевства и пространство Гефсиманского сада. Таким образом, в тексте присутствуют начало нашей эры, когда жил и проповедовал Иисус Христос, время Гамлета и время Шекспира, и настоящее, тот момент, когда открылись и были преодолены все временные и пространственные границы и прошлое стало наравне с настоящим.

Преодоление границ можно назвать одной из важнейших идей философии немецкого романтизма, оно касалось времени, пространства, не в последнюю очередь и литературных жанров. Раскрытие темы преодоления границ было бы неполным без упоминания преодоления текстуальных границ и феномена интертекстуальности. О богатстве и насыщенности интертекстуальной составляющей текстов Б. Пастернака писали и Н. Фатеева [8] и А. Жолковский [2], и уже упомянутая К. Эванс-Ромэйн [1], подвергая тщательному анализу разные произведения поэта. Нам бы хотелось обратить внимание в контексте нашего исследования на метонимическую природу интертекстуальных элементов в стихотворении «Гамлет». Интертекстуальными элементами выступает имя персонажа (Гамлет), цитата из Нового Завета и реминисценции, позволяющие читать стихотворение как возможность парافраза знаменитого высказывания Шекспира о мире и о театре. Каждый интертекстуальный элемент выполняет в этом тексте метонимическую функцию, о которой писала Р. Лахманн в работе «Gedächtnis und Literatur: Intertextualität in der russischen Moderne» [9], представляя в исходном тексте претексты. Разные формы интертекстуальных элементов и повествование, ведущееся в тексте от первого лица, актуализуют в сознании читателя определенные образы, которые, в свою очередь, становятся метонимиями разных исторических эпох. Таким образом, интертекстуальные элементы или в данном случае интертекстуальные метонимии представляют не только разные тексты, персонажей и жанры, но и разные временные пласты, что и способствует преодолению границ и глобальной контекстуализации стихотворения.

Здесь необходимо остановиться на таком важном топосе немецкого романтизма, как ночь. Хронологически романтизм следует за эпохой Просвещения, известно, что чаще всего сложно установить четкие границы смены культурных эпох и направлений, однако с уверенностью можно утверждать, что философия немецкого романтизма обусловлена ответом, реакцией на основные постулаты философии Просвещения. Уже само слово «просвещение», как и немецкое «Aufklärung» («klar», ясный, светлый), раскрывает основную идею этой культурной эпохи – нести свет, пролить свет на непонятные, «темные» явления или понятия, что способен сделать разум, рассудок. Романтики же в начале XIX в. проявляют серьезный интерес к «темной» стороне вещей, тому, что уходит от света. Таким образом, противопоставление света и темноты, дня и ночи становится одним из ключевых мотивов литературных произведений, выражающим сомнение в исключительном авторитете ratio, в его неоспоримом превосходстве над emotio. Для обращения к мотиву ночи, темноты, по мнению Монике Шмитц-Еманс, существуют гораздо более глубокие и многозначные причины: «...zum einen scheinen sich ahnungsweise neue Dimensionen der Welt zu erschließen, vertiefende Formen des Wissens über die Natur zu gewinnen zu lassen – zum anderen aber wird zunehmend fragwürdiger, in-

wiefern sich in das Dunkel des Nichtgewussten Licht bringen lässt. Nicht nur das Selbstvertrauen des aufklärerischen Erkenntnisoptimismus, der sich zutraute, die Welt erschöpfend zu durchschauen, zu erklären und in Begriffen zu rekonstruieren, ist gebrochen, sondern auch das cartesianische Zutrauen in die mögliche Transparenz des Subjektes für sich selbst. Grundlegende begriffliche Ordnungsmuster kollabieren. So relativieren sich etwa die Oppositionen von Identität und Nichtidentität, von Nähe und Ferne (oft erscheint das räumlich und zeitlich Nächste als das Fernste, und umgekehrt; die Lehre vom Magnetismus etwa unterstellt die Möglichkeit einer Fern-Steuerung des Ichs), von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Traum und Wirklichkeit, Lebendigem und Totem, Verständigkeit und Wahnsinn, Wahrheit und Irrtum. Dabei geht von der dunklen Seite der Welt und des Ichs eine große Faszination aus. In Träumen und visionären Ahnungen scheint sich ein neues Leben zu erschließen, in dem die Zerrissenheit und Disparatheit der Tageswelt aufgehoben sind und das Ich sich mit der Natur vereinigt erfährt» [6. S. 63].

Действие «Гамлета» также происходит вечером или ночью, и это время становится для лирического героя стихотворения с точки зрения философии абсолютно «романтическим» временем, временным пространством, в котором стираются все границы (что показывает и неоднозначность метафоры «тысяча биноклей на оси»), как временные, так и пространственные, это время поэтического откровения, единения с окружающим миром. Кроме того, наряду с темой отца ночь является некоей осью, которая объединяет временные пласты текста: ночью молится Христос в Гефсиманском саду, вечером шекспировский Гамлет показывает срежиссированную им постановку, сюжетом которой становится убийство его отца, вечером происходит и действие стихотворения.

В контексте немецкого романтизма возникает еще одна очень важная тема для Б. Пастернака – это тема микрокосма и макрокосма, их взаимосвязи, взаимодействия, тема, которую можно обозначить как одну из центральных для литературы и философии немецкого романтизма. Одной из ее основных идей можно считать идею единства всего мира, которая, по мнению немецкого исследователя Д. Кремера, восходит к постулату немецкой натурфилософии конца XVIII – начала XIX в. о существовании в прошлом некоего абсолюта, который материализовался в природе и истории, тем самым разделившись, нарушив изначальное единство. К истории отношение неоднозначно, поскольку, с одной стороны, в истории происходит разделение абсолютного начала, а с другой стороны, история на более высокой ступени рефлексии может быть медиумом восстановления единства. Неоспоримым средством (медиумом) восстановления идеи абсолюта и всемирного единства во всех его проявлениях романтики считают искусство, об этом пишут философ Шеллинг, теолог Шлейермахер, эту же мысль во многих вариациях транслируют Шлегель, Новалис и Гёльдерлин в своих произведениях.

Необходимо отметить, что философия Шеллинга оказала значительное влияние на мировоззрение романтиков, в особенности его идея о мировой душе (Weltseele), к которой философ пришел, развивая мысль о единстве духа и природы, утверждая впоследствии, что универсальное понятие природы охватывает единство духа и материи, человека и Вселенной. Понятие природы, сформулированное Шеллингом, включает в себя как предметы (ее объек-

ты) (*natura naturata*), так и ее творческую, созидательную энергию (*natura naturans*). Природа является своего рода архивом всего сотворенного и связана к тому же и с процессами истории культуры [10. С. 59–63].

Такая трактовка природы и связь микрокосма и макрокосма побуждает романтиков искать аналогии, связи между предметами и явлениями, не всегда кажущиеся очевидными на первый взгляд. Именно к этой идее мировой души, скрытого единства всех явлений восходит стремление Пастернака показать в своих произведениях «волшебный мир всеобщих соответствий». Эти всеобщие соответствия мы видим и в стихотворении «Гамлет»: мир смотрит на лирического героя глазами-биноклями звезд, в одной точке времени могут соединяться несколько эпох, в одном человеке живут Христос, Гамлет, Шекспир, поэт, актер и простой человек, размыты границы между вымышленными персонажами и реальными людьми.

Но эта размытость не является хаосом или некоей путаницей, сама структура текста показывает гармоничное сосуществование разных сфер – это и есть то самое вселенское единство, которое стремились найти романтики, в частности Новалис, одна из ключевых фигур в истории немецкого романтизма. Квинтэссенцией этих размышлений можно считать следующий отрывок из размышлений Новалиса: «*Wir träumen von Reisen durch das Weltall – Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht – Nach Innen geht der geheimnißvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten – die Vergangenheit und Zukunft*» [11. С. 417–419]. Наш внутренний мир, наша душа – это Вселенная, которую необходимо постичь и в которой заключено абсолютно всё, путь к постижению Вселенной ведет в глубины собственного внутреннего мира. Стихотворение «Гамлет» – это текст, который и показывает путь внутрь себя, «*Weg nach Innen*». Еще раз подчеркнем, что этот путь начинается со взгляда на звездное небо мира-театра, является наряду с шагом лирического героя на подмостки отправной точкой «*Weg nach Innen*».

Но не только лирический герой смотрит на звезды, на него, в свою очередь, направлен взгляд Вселенной «тысячью биноклей на оси», поэтому можно утверждать, что мир точно так же смотрит на героя, как и он на него, этот обоюдный взгляд свидетельствует об общении, происходящем между Вселенной и человеком, что усиливает тему единства микрокосма и макрокосма. Звездное небо является неотъемлемой частью поэтического пространства Б. Пастернака, оно ему очень близко, и он находится с ним в постоянном диалоге, носящем часто экзистенциальный характер.

О Новалисе необходимо сказать отдельно, поскольку можно утверждать, что он оказал сильное влияние на поэзию Серебряного века, и это влияние связано не только с творчеством Пастернака. К. Эванс-Ромэйн отмечает в своем исследовании многочисленные факторы, которые могли способствовать серьезному интересу Пастернака к этому поэту. В начале XX в. идеи Йенского периода романтизма, в частности Новалиса, были словно разлиты в воздухе. Обусловлено это было не в последнюю очередь вниманием младосимволистов к творчеству именно Новалиса. Достоверно известно, что у А. Блока в библиотеке был экземпляр романа «Генрих фон Офтердинген», Вячеслав Иванов переводил довольно много стихов Новалиса, некоторые его

переводы были опубликованы в 1910 г. в журнале «Аполлон», к тому же в 1909, 1914 и 1920 гг. он читал в Москве лекции по творчеству Новалиса, иллюстрируя их своими переводами. Сергей Бобров, поэт и член литературных обществ «Лирика» и «Центрифуга», многократно цитировал Новалиса в своих стихах и переводил его. Особенным в рецепции Новалиса в России является 1914 г.: литератор Григорий Петников публикует отдельные переводы Фрагментов Новалиса, выходит в свет перевод романа «Генрих фот Офтердинген», подготовленный Зинаидой Венгеровой и Василием Гиппиусом. В этом же году Виктор Жирмунский выпускает в Санкт-Петербурге книгу «Немецкий романтизм и современная мистика», центральной темой которой являются параллели между ранним романтизмом и русским символизмом и которая, по словам исследовательницы, активно обсуждалась в литературных кругах того времени. В это время как раз и происходило становление раннего Пастернака, на эти годы приходятся его первые стихотворные опыты, которые поддерживались и его собственным интересом к философии немецкого романтизма (Ф. Шлегель, Жан Поль Рихтер) [1. С. 43–46].

К. Эванс-Ромэйн отмечает, что диалог с Новалисом – а обращение к творчеству предшественников можно по праву считать диалогом, разговором – прошел через всё творчество Пастернака, от ранних поэтических набросков до «Доктора Живаго».

Есть еще один аспект, на который необходимо обратить внимание в рамках темы единства микрокосма и макрокосма, единства лирического героя и окружающего мира. В последнем четверостишии звучат фразы «Я один. Все тонет в фарисействе». Снова возникает вопрос «Чьи это слова?». Это голос Христа из Гефсиманского сада? Голос Гамлета? Голос лирического героя или самого поэта? Однозначная интерпретация здесь вряд ли возможна. Эти фразы могут принадлежать как отдельно взятому персонажу, так и всем одновременно. Поэтому можно сделать вывод, что во вселенском единстве макрокосма и микрокосма есть место и одиночеству. Одновременно возможно и другое толкование: Пастернак более склонен к ощущению экзистенциального одиночества человека и поэта, а не мирового единства всего и вся.

Итак, мы проанализировали стихотворение Б. Пастернака «Гамлет», опираясь на некоторые ключевые понятия и мотивы философии немецкого романтизма. Чему способствовал этот анализ? Во-первых, он помог увидеть интертекстуальную насыщенность текста, но не на синтагматическом уровне, уровне цитат, а парадигматическом – уровне размышлений автора над различными темами, комплексами вопросов, его связью с мировой культурой и определением своего места в ткани этой культуры. Во-вторых, текст стихотворения вновь позволил убедиться, как важны были для поэта философия и мировоззрение немецких романтиков на протяжении всей его жизни. Театральная метафорика, метонимичность интертекстуальных элементов, необычная организация временно-пространственной структуры текста стихотворения и преодоление всех границ внутри себя и как следствие преодоление границ во Вселенной, переживаемое в одно мгновение, показывают отношение автора к историческому времени, что снова возвращает нас к контексту эпохи немецкого романтизма, поскольку время – это одна из ключевых проблем, которая интересовала в то время как ученых, так и художников.

Самое главное заключается в том, что, несмотря на всю сложность и многоуровневость содержания, стихотворение представляет собой невероятно простой по структуре, архитектурно четкий текст, модель Вселенной, в которой гармонично сосуществуют разные культурные коды, модель поэтического универсума Б. Пастернака.

Литература

1. *Evans-Romaine K.* Boris Pasternak and the Tradition of German Romanticism. München, 1997.
2. *Жолковский, А.К.* Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. М., 2011.
3. *Пастернак Б.Л.* Доктор Живаго. СПб., 2004.
4. *Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 234–408.
5. *Jean Paul.* Vorschule der Ästhetik. München, 1963.
6. *Schmitz-Emans M.* Einführung in die Literatur der Romantik. Darmstadt, 2009.
7. *Бахтин М.М.* Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929.
8. *Фатеева Н.А.* Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. М., 2007.
9. *Lachmann R.* Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne. Frankfurt am Main, 1990.
10. *Kremer D.* Romantik. Stuttgart, 2007.
11. *Novalis.* Vermischte Bemerkungen. Stuttgart, 1981.

GERMAN ROMANTIC PHILOSOPHY

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 130–139.

DOI: 10.17223/19986645/39/11

Pasko Yulia V., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: juliapasko@inbox.ru

Keywords: chronotope, philosophy of German romanticism, theatre, metaphor, macrocosm and microcosm, intertextuality.

The article is devoted to the analysis of Boris Pasternak's "Hamlet" with the help of some of the key concepts of the philosophy and motives of German romanticism, such as the theater, the night, the world soul, the microcosm and the macrocosm. The author also refers to the concepts of Mikhail Bakhtin's chronotope and polyphony and to the concept of intertextuality, referring to the influence of German romantic poets on Boris Pasternak's work. The poem "Hamlet" was written by Boris Pasternak in 1946 and is part of a cycle of Yuri Zhivago's poems from the novel *Doctor Zhivago*, being one of the central texts not only in this cycle but also in the whole work of the poet. The idea to read a poem "armed with" categories of the philosophy of German romanticism is not accidental. It is known that Pasternak felt a strong influence of German-speaking culture; his translations of poems by Rilke, drafts of his own works are evidence of this fact. In his published works, we can also see quotes and reminiscences of N. Lenau, H. Heine, E. T. A. Hoffmann; Goethe plays a very important role in his work.

Such an analysis of the poem, relying on some of the key concepts of the philosophy and motives of German romanticism, allows seeing some interesting aspects. First, it helps to explore the intertextual richness of the text, not only on the syntagmatic level, the level of citations, but also on the paradigmatic level, the level of the author's reflections on various topics, a range of issues, his attitude to the culture and the determination of his own place in the world of this culture. Secondly, the text of the poem shows again the importance of the German romantic philosophy for Pasternak's work. The theatrical metaphor, the metonymical intertextual elements, an unusual organization of the time-spatial structure of the text, the overcoming of all boundaries within the narrator and the overcoming of borders in the universe as a result, experienced in a certain moment, show the author's attitude to the historical time, which brings us back again to the context of German romanticism, because time is one of the key issues that interested scientists and artists of the epoch. The most important thing is that despite the complexity and multi-layered content of the poem, it is incredibly simple in its structure; it is a

clear text architectural model of the universe in which different cultural codes harmoniously coexist, the model of the poetic universe of Boris Pasternak.

References

1. Evans-Romaine, K. (1997) *Boris Pasternak and the Tradition of German Romanticism*. München.
2. Zholkovskiy, A.K. (2011) *Poetika Pasternaka: Invarianty, struktury, interteksty* [Pasternak's Poetics: Invariants, structure, intertext]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
3. Pasternak, B.L. (2004) *Doktor Zhivago* [Doctor Zhivago]. St. Petersburg: Zvezda.
4. Bakhtin, M.M. (1975) *Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoy poetike* [Time forms and chronotope in the novel. Essays on historical poetics]. In: Bakhtin, M.M. *Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let* [Questions of literature and aesthetics. Studies over the years]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
5. Jean Paul. (1963) *Vorschule der Ästhetik*. München.
6. Schmitz-Emans, M. (2009) *Einführung in die Literatur der Romantik*. Darmstadt.
7. Bakhtin, M.M. (1929) *Problemy tvorchestva Dostoevskogo* [Problems of Dostoevsky's works]. Leningrad: Priboy.
8. Fateeva, N.A. (2007) *Intertekst v mire tekstov: Kontrapunkt intertekstual'nosti* [Intertext in the text world: Counterpoint of intertextuality]. Moscow: KomKniga.
9. Lachmann, R. (1990) *Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne*. Frankfurt.
10. Kremer, D. (2007) *Romantik*. Stuttgart.
11. Novalis. (1981) *Vermischte Bemerkungen*. Stuttgart.

УДК 82-09

DOI: 10.17223/19986645/39/12

С.А. Стринюк

ОТРАЖЕНИЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОМАНАХ ГРЭМА СВИФТА «ВОДОЗЕМЬЕ» И «ПОСЛЕДНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ»

Статья посвящена анализу двух романов Г. Свифта, в которых одной из центральных тем является кризис познания. Эпистемологический кризис, спровоцированный катастрофическими событиями XX в., разрушившими объяснительные схемы как индивидуального, так и коллективного сознания, в полной мере отразился в английской литературе. В романе «Водоземье» кризис познания показан на метафизическом уровне, тогда как в «Последних распоряжениях» в качестве основной эпистемологической модели выступает солипсизм.

Ключевые слова: Грэм Свифт, «Водоземье», «Последние распоряжения», эпистемологический кризис.

Имя писателя Грэма Свифта (род. 1949) уже хорошо известно отечественному читателю; на русский язык переведены несколько его рассказов, романы «Waterland» (1983, «Водоземье», пер. В.Ю. Михайлина, 1999), «Last Orders» (1996, «Последние распоряжения», пер. В. Бабкова, 1998). «The Light of Day» (2003, «Свет дня» пер. Л. Мотылева 2005). Его творчество оценено престижными премиями и наградами, в том числе Букеровской премией, которой был удостоен роман «Последние распоряжения» в 1996 г. Романы Свифта весьма типичны для современной английской литературы, поскольку в них заострены проблемы истории, времени и осмысления человеком своего места в исторической перспективе.

Во второй половине XX в. Великобритания оказалась на переломном этапе: серьезные изменения в общественной и политической жизни, которые принесли распад Британской империи и утрата статуса великой державы, и катастрофические последствия двух мировых войн заставили общественное сознание вырабатывать новые ценностные ориентиры; одновременно началось переосмысление отношения к прошлому. Смена идеологических парадигм всегда вызывает в обществе серьезный кризис доверия к былым авторитетам, разрушает привычные объяснительные схемы; прибежище здравого смысла – стереотипные модели мышления – перестают предоставлять утешительные объяснения общественным катаклизмам. Индивидуальное сознание практически не способно осознать причины социальных катастроф и постичь закономерности исторического развития и исторических процессов. Масштаб событий, потрясавших XX в., несопоставим с личным опытом индивидуума, что привело к вполне объяснимому отрицанию познаваемости этих событий и, как следствие, отказу от знания, уходу от травмирующей реальности и травмирующего исторического опыта.

Исследование онтологического статуса прошлого является центральным для многих английских романов конца XX столетия, несмотря на их тематические, жанровые и иные различия. Их объединяет попытка ответить на вопросы: что мы знаем о прошлом? Как мы получаем это знание? Какие источники знания мы безоговорочно признаем как авторитетные? Устойчивую тенденцию «историзации и философствования» европейской прозы конца XX в. в целом, вызванную синдромом «fin de siecle», отмечают многие критики. На наш взгляд, она проявляется в насущной потребности осмыслить накопившийся сложный индивидуальный и коллективный опыт, выйти на метафизический уровень обобщения исторического опыта, определить вектор дальнейшего движения человека.

Литература конца XX в. оказалась в эпицентре эпистемологического кризиса, возникшего в 70-е гг. в исторической науке и спровоцированного недоверием к традиционным способам получения исторического знания. Тотальный скептицизм по отношению к историографическим источникам серьезно отразился на литературе, что выразилось в появлении произведений, проблематика которых отвечает злободневным вопросам достоверности исторического знания. Вопросы ценности познания и сомнения в гуманности *Homo sapiens*, его способности мыслить аналитически и извлекать уроки из исторического опыта, художественно по-разному поднимают А. Картер, Дж. Барнс, П. Акرويد, П. Кэри, Э. Байет и многие другие писатели этого периода.

Антропология XX в. утвердила господство тех либеральных идей, которые акцентируют безусловную важность человеческой индивидуальности, что подняло ценность человеческой жизни до не виданных ранее высот. С другой стороны, в XX в. начинается активное исследование повседневности как научной философской проблемы. Все эти факторы вкупе с другими объективными процессами, происходящими в собственно литературном развитии, приводят к тому, что персональная человеческая история мифологизируется, оттесняя всеобщую историю на второй план и приобретая гипертрофированно ценный характер, а исследование личности в различных ее аспектах и проявлениях (и прежде всего в лингвистическом, философском и историческом) в английском романе 80–90-х гг. XX в. выходит на первый план.

Мы полагаем, что система взглядов Свифта на исторический процесс близка к постмодернистской концепции исторического развития, что в наиболее общем значении влечет за собой критическое отношение к привычным способам получения информации, сомнение в достоверности получаемого знания, переосмысление уверенности в абсолютной прозрачности истории, ее познаваемости, линейном движении и причинно-следственной связи событий.

В конце XX в. мы, судя по всему, стали свидетелями усвоения постмодернистского мышления в широких пластах искусства: произошла, по Х. Кюнгу, «смена парадигмы», т.е. такое «изменение основной модели мировосприятия, ориентируясь на которую люди осознают самих себя, общество, мир, Бога» [1. С. 223]. П. Нотт в книге «Переделявая Америку: ценностная революция» (1993) отмечает, что с середины XX в. происходит разрушение

веры в безоговорочное благо прогресса: «Сейчас человечество приходит к осознанию того, что уровень развития технологии сильно опережает уровень развития социальных и межличностных отношений, несмотря на все новшества в этой области. Мы уже не отождествляем технический прогресс с социальным; более того, оказывается, что технический прогресс способен даже стать причиной социального регресса» [2. С. 238]. В чем ученые видят причины подобной смены парадигмы?

Немецкий философ М. Мюллер, полагая, что 1968 г., год массовых студенческих волнений, является датой рождения постмодернизма как интеллектуального движения, основой произошедшего считает «утрату смысла». Ф. Лиотар указывает на тотальное недоверие к «метанарративам» – «объяснительным системам», организующим буржуазное общество. Эта концепция базируется на представлениях о вербальной форме организации знания как специальных дискурсах-повествованиях. Основными организующими принципами философской мысли Нового времени Лиотар называет «великие истории», т.е. главные идеи человечества: гегелевскую диалектику духа, эмансипацию личности, идею прогресса, просветительское представление о знании как о средстве установления всеобщего счастья и т.д. [3]. Недоверие к метанарративам, по Лиотару, есть, несомненно, продукт развития науки: но прогресс, в свою очередь, его предполагает.

На современном этапе развития исторической науки очевиден сдвиг в понимании сущности истории и моделей исторического движения. Суть этого смещения заключается в изменении взгляда на исторический процесс как упорядоченное движение во времени, причем совершенно неважно, о каком типе движения идет речь: современные теоретики философии истории отрицают как циклическое движение (судя по всему, бесконечно длящееся), так и движение, имеющее конечной целью достижение стабильного состояния упорядоченности и благополучия.

Кризис историографического знания обусловлен проникновением в историческую науку постмодернистских идей относительно сомнительности человеческой уверенности в силе Разума. Д. Харлан обозначил эту утрату веры в объективное свойство истории быть познанной *эпистемологическим кризисом*: «Объектом атаки постмодернистов стали принципы получения информации об исторической реальности. Они утверждают, что между свершившимся событием и рассказом историка об этом событии стоит огромная дистанция, в ходе преодоления которой происходит такое искажение прошлого, что об адекватном его отражении вообще нельзя говорить» [4. С. 67]. Таким образом, предмет исследования отделяется от воспринимающего сознания непреодолимой преградой дискурса, язык превращается в главный смыслообразующий фактор (история как представленное в дискурсе информационное поле, к примеру, в работах Х. Уайта, одного из наиболее авторитетных теоретиков постмодернизма) [5].

Всплеск интереса к истории в 60–70-х гг. XX в. и сближение литературы и истории, порожденное представлениями постмодернистов о близости истории и литературы как повествовательных структур, в какой-то мере определили и возникновение романов, изображающих человека в непрерывном историческом процессе, человека, осознающего себя в потоке времени, т.е.

художественное исследование категории времени и исторического процесса становится центральным в проблематике романов не только Г. Свифта, но и П. Акройда, С. Рушди, Дж. Барнса и многих других английских писателей.

Однако при всей сходности проблематики и поднимаемых авторами философских вопросов художественному миру Свифта присущ, на наш взгляд, иной способ художественного воплощения этой проблематики. Иными словами, постмодернизм как художественный язык Свифту чужд, скорее, ему близко постмодернистское восприятие истории, постмодернистское недоверие к историческому знанию, линейной хронологии. В этой связи справедливо привести верное замечание М. Брэдбери о несовпадении ракурса, тематического интереса Г. Свифта и П. Акройда. По мнению Брэдбери, Акройда меньше привлекает тема личности и истории, нежели тема современного писателя и другого текста и автора [6. С. 434]. В первом романе «Великий Лондонский пожар» (*The Great Fire of London*, 1982) Акройд активно использует структуры и образы «Крошки Доррит» Ч. Диккенса, а не факты реального пожара 1666 г. На эту особенность прозы Свифта указывает в своем исследовании Дэвид Малькольм [7]

А. Ли, вслед за Л. Хатчеон, главной чертой постмодернистского романа называет принципиально отличное от классического исторического романа XIX в. отношение к истории не только как реально существовавшему миру, но и как к тексту, созданному и записанному конкретным, пусть и не всегда известным автором, и несущему на себе отпечаток его образованности, идеологических пристрастий и т.д. Подобное отношение к истории влияет и на структуру повествования, которая в реалистическом романе по преимуществу организована как линейная связь между причиной и следствием, от чего в первую очередь отказывается постмодернистский роман [8]. В данном случае правомерно указать и на такую особенность современной литературы, как нелинейное разворачивание повествования: познающее, воспринимающее сознание читателя также вовлекается, с одной стороны, в процесс познания, но, с другой – доверие к полученному знанию сразу подрывается самим повествователем, подвергаящим сомнению собственные слова.

XX в. серьезно изменил взгляд на историю и литературу. Лингвистические философские концепции заставляют по-новому взглянуть на проблему интерпретации исторического факта и достоверность исторического знания, получаемого путем истолкования историографического источника. Сомнение в объективности исторического знания и признание сходности методов исторического исследования и художественного творчества сближают в глазах исследователей исторический и литературный дискурсы. В работе «*The Fictions of Factual Representation*» Х. Уайт [9] исследует эту проблему с точки зрения историка и подчеркивает, что, кроме передачи исторических фактов историк использует некоторые литературные приемы с тем, чтобы успешно воздействовать на читателя. В романах Свифта влияние структуралистских и постструктуралистских историографических концепций достаточно сильно; создавая эпическое полотно романа «Водоземье», автор искусно перемежает исторические факты вымыслом, создавая новую волшебную реальность – Фены.

Философское осмысление проблемы знания и влияния знания на человеческую жизнь находит воплощение практически во всех романах Свифта: именно порождение скорби видит в «распрекрасном предмете истории» директор школы Льюис; герои Свифта часто разрываются между желанием знать правду и естественным инстинктом человека избегать неприятной истины. В «Водоземье» желание брата главного героя – Дика – узнать, кто же отец ребенка его возлюбленной, приводит его к суициду: задавая вопрос, человек должен быть уверен, что он хочет услышать: правду или ложь, и если все-таки – правду, сможет ли он с ней справиться.

Бессмысленность уверенности человека в знании демонстрирует растерянность главных героев «Водоземья» Тома и Мэри от неожиданных поступков Дика: «Откуда ты знаешь?» – «Потому что я знаю Дика». – Я посмотрел на нее. – «Это я знаю Дика». – «Значит плохо знаешь». – «Я, наверное, вообще ничего не знаю» [10. С. 70]. Свифт полагает, что окончательного ответа на исторические вопросы не существует и за бесконечными «Почему? – Почему? – Почему?» тянется нескончаемая цепочка новых вопросов: «До каких глубин нам нужно будет добратся? Когда мы удостоверимся, что нашли Объяснение и успокоимся (отдавая себе отчет, что это не окончательное объяснение)? <...> А может, было бы лучше (в экстремальных ситуациях так иногда и выходит – тому свидетельством давнишние ответы отца на вопросы о войне), если б мы могли развить в себе дар амнезии? Но этот дар беспамятства, не выпустит ли он нас из ловчей ямы вопроса почему, да сразу и в тюрьму идиотии?» [10. С. 125]. Таким образом, устами Тома Свифт признает родовым свойство человека искать объяснение, рассказывать свою историю и наделяет его правом истолковывать события, т.е. творить историю по своему усмотрению: «...уверяюсь в том все больше и больше. История: счастливый колодец смыслов. События склонны избегать привязки к смыслам. Но мы-то ищем именно смыслы. Еще одно определение человека: животное, которое взыскует смысла – хотя и знает...» [10. С. 159].

В тексте романа релятивистская установка определяет многозначность трактовки событий жизни персонажей. Вот, к примеру, как герои романа воспринимают смерть приятеля Тома Крика – Фредди: инспектор полиции фиксирует несчастный случай, тогда как для Мэри очевидным является, что умственно неполноценный старший брат Тома Дик убил Фредди. Том хотел бы верить, что отчет полицейских, не заметивших следов насильственной смерти Фредди, может действительно снять с него вину, но Мэри разрушает это трусливое объяснение Тома. Еще более явно склонность героев менять свои убеждения проявляется в истории с установлением отцовства: Том не уверен, что Мэри не скрывает от него правду, насколько далеко зашли ее уроки любви с Диком, соответственно, большой загадкой является, чей же был ребенок Мэри. Подобная неоднозначность оценок событий пронизывает весь роман.

Единственное объяснение, которое предлагает сомневающимся в целесообразности изучения истории ученикам учитель Крик, – их собственная потребность в знании: «...вы же сами себе ответили, вашим собственным «Почему?». Ваша потребность найти объяснение и есть объяснение. Разве поиск причин уже не есть – с необходимостью – исторический процесс, по-

сколько он всегда вынужден обращаться от того, что пришло потом, к тому, что было раньше? ...Еще одно определение: Человек есть животное, взыскующее объяснений, животное, которое спрашивает Почему?» [10. С. 123].

Надо заметить, что осмысление массовой литературой XX в. повседневности на философском уровне – достижение XX в., которое обусловлено кризисом классического рационализма; этот кризис «...сделал насущной задачу восстановления всей многоаспектной картины производства субъективности. Повседневное человеческое существование – ее неотъемлемая деталь, и в этих условиях неизбежным становится «сдвиг смысла» – особое значение приобретают такие детали картины, которые находились ранее в глубокой тени» [11. С. 3]. Автор исследования повседневности Д.Н. Круглов полагает, что причины универсализации повседневности кроются в интенсификации коммуникативных процессов и доступности материальных благ: «...повседневность ныне... становится «всемирной»; экстраординарные события теряют свою исключительность и «оповседневниваются»» [11. С. 3].

В романе Б. Бейнбридж «Мастер Джорджи» (B. Bainbridge. Master George; 1998), к примеру, предметом исследования становятся странности человеческих привязанностей, а события Крымской войны 1853–1856 гг., являющиеся историческим фоном произведения, не только уходят на второй план, но и ни в коей мере не определяют мотивы поступков героев. Психологический надлом практически не обусловлен внешними обстоятельствами, например тяжелыми бытовыми условиями в прифронтовой полосе и смертельной опасностью, подстерегающей героев на каждом шагу.

Роман «Последние распоряжения» как бы «сжимает» историческое пространство героя, ограничивая его протяженностью существования двух поколений семьи. Повествование представляет собой рассказ о дне похорон мясника Джека Доддса его друзьями и приемным сыном, т.е. это всего один день из жизни героев. Но получается так, что постепенно мы узнаем о жизни каждого из друзей, и из их рассказов, как из кусочков мозаики, складывается портрет самого Джека. По ходу развертывания действия мы узнаем о сложных и противоречивых чувствах близких людей по отношению друг к другу, о бедах и страданиях, потерях и разочарованиях.

Если «Водоземье» по степени охвата, широте художественного материала представляет собой метафизическую картину мира, то «Последние распоряжения» – это, прежде всего, метафизика частной жизни, мир человека, увиденный изнутри, во всей его многомерной сложности, протяженности во времени.

Роман «Последние распоряжения», на наш взгляд, отражает важный переломный момент в творчестве Свифта. От многословной описательности «Водоземья» Свифт пришел к ясной лаконичности «Последних распоряжений», от декларирования идеи обыденности истории – к «бытованию» истории, от «человека в истории» – к «истории в человеке».

Как и в других романах Свифта, в «Последних распоряжениях» много внимания автор уделяет решению проблемы познания. Сама странная просьба Джека – развеять его прах в Маргейте, заставляет героев романа много рассуждать о жизни, они вспоминают события, связывавшие их на протяжении долгих лет, размышляют о месте этих событий в их судьбах, иногда со-

мневаются в правильности интерпретации этих событий. По мнению Д. Ли, [12], обращаясь к тематике познаваемости истории Свифт следует модернистской традиции: герои Свифта осознают свои ограниченные знания об объективной реальности, но все попытки расширить это знание еще больше расшатывают их непрочное положение в мире.

Не менее важным оказывается для героев выдержать исповедальный характер общения с обреченным человеком, особую откровенность, с одной стороны, не позволяющую сбиться на фальшь, а с другой – «святую ложь», оберегающую умирающего от груза ненужного знания. Один из друзей главного героя – Рэй, приходя в больницу к Джеку, мучительно решает, нужно ли сказать о своих отношениях с его женой Эми: «То, чего ты не знаешь, не может причинить тебе боль, и лишние разговоры только бередают душу, но когда человек умирает, это другое дело: ведь скоро у меня даже выбора не останется, сказать ему что-нибудь или ничего не сказать» [13. С. 115], но так и не решается сказать об Эми, а про выигрыш на скачках, с тем, чтобы Джек был спокоен за будущее Эми, – просто не успевает.

Вик, случайно заставший Рэя и Эми во время свидания, не упускает возможности понаблюдать за ними, но долгие годы помалкивает о том, что он видел. У людей, много лет живущих бок о бок, всегда накапливается масса секретов, о которых все предпочитают молчать. В отношении семейных и прочих тайн и двусмысленностей герои Свифта всегда занимают простую и ясную позицию: «не знаешь – не болит». Об этом говорит Эми, когда наконец понимает, что Джек всю свою жизнь пытается забыть свою умственно неполноценную дочь, сделать так, будто ее вовсе нет. Для Эми оказывается важным, узнает ли ее дочь, что отец умер и что ее мать, Эми, перестанет к ней приезжать. Рэй, выиграв на скачках, понимает, что если он не отдаст деньги Эми, а поедет, наконец, в Австралию к дочери, Джек этого никогда не узнает, но, пожалуй, самым знаменательным моментом является спор в машине по дороге в Маргейт о том, узнает ли Джек, выполнена его просьба развеять его прах в Маргейте или нет.

Солипсизм как способ самозащиты от жизненных трудностей и невзгод в романах Свифта проявляется на уровне логики здравого смысла. Герои как будто отгораживают себя от того, что может причинить им боль, но нарушение этого блаженного равновесия является толчком для мучительного осмысления произошедшего, а с этого, по Свифту, и начинаются человек и его история. К примеру, в романе Свифта «Волан» (1982, иначе его название переводится как «Челнок») ключевым художественным приемом, на котором держится сюжет, вся образная система произведения и, что самое важное, идейное содержание, является мотив знания-незнания и невыносимого бремени знания.

Н.Б. Маньковская [14] полагает, что солипсизм стал одной из главных черт английского постмодернизма в целом. Исследователь полагает, что появление ряда автобиографических произведений, в которых традиционное самопознание и самосознание получили солипсистскую окраску, в определенной мере повлияло на самоопределение постмодернизма по отношению к литературной традиции.

Солипсизм в литературе возник не вчера, Д. Хьюитт отмечает проявления солипсизма еще в имперсонифицированном романе (*impersonal novel*) В. Вулф и М. Пруста, А. Роб-Грийе и других авторов XX в. По мнению английского исследователя, сложность и скорость изменения современного общества приводят к тому, что человек вынужден доверять только своему опыту [15], а личный опыт и логика здравого смысла (в чем проявляется «бытование философии») подсказывают героям Свифта, что то, чего не знаешь, будто и не существует.

Находясь около умирающего Джека, Эми оказывается перед дилеммой: нужно ли сообщить Джеку о ее романе с Рэем, но решает не говорить, потому что Джек так и не произнес заветных слов: «Передай Джун, что я ее люблю». Эми рассудила, что промолчать будет справедливо: «И я думаю: тогда и я не упомяну о Рэе. Не скажу о нем ни слова. Хотя это и для меня последний шанс, время настало, у смертного одра, – теперь или никогда. Он не заговорит о Джун, поэтому и я не заговорю о Рэе. Все честно. Чего ты не знаешь, то тебя не мучит» [11. С. 291]. Отказом от свиданий с Джун Джек защищает себя от постоянного напоминания о больной дочери. Примечательно, что его приемный сын отказывается следовать традиции семейного бизнеса, что является для Свифта типичным приемом показать прерывающееся существование семьи во времени, как будто кровное родство автоматически обеспечивает родство душевное и духовное, и родной сын Джека, если бы он существовал, обязательно бы продолжил семейное дело. С подобным приемом мы сталкиваемся и в рассказе Свифта «Сын».

Философские и историографические концепции, так или иначе воплощенные в романах Свифта, отражают уже ставшие едва ли не традиционными для литературы XX в. идеи принципиальной непознаваемости истории, ее непроницаемости для взгляда исследователя. Вольность в истолковании смысла истории, «хождение» исторического процесса кругами, постоянное возвращение к уже имевшему место историческому опыту воплощено автором не только на проблемно-тематическом, но и на структурно-композиционном, повествовательном и жанровом уровнях. Сложная организация романов Свифта, ретроспективное повествование, смещение пространственно-временных пластов, «сплав» жанровых структур – эти элементы позволяют автору воплотить свои представления о принципиальной непознаваемости истории.

В творчестве Свифта сложно переплетены взгляды как современных (в том числе и постмодернистских) историософских идей, викторианских концепций одного из наиболее интересных историков XIX в. – Т. Карлейля. Примечательно, что уже в его трудах обнаруживается критическое отношение к рационалистическому причинно-следственному восприятию исторического опыта, что позднее вылилось в тотальное недоверие к историческому знанию вообще.

Таким образом, рассмотрев философско-исторические воззрения Г. Свифта, художественно реализованные им в романах, мы приходим к выводу, что в различных произведениях идейное содержание призвано отразить взгляды автора на исторический процесс, проблему знания как проблему по-

знаваемости прошлого как в философском, так и в бытовом аспекте, на уровне философии «здорового смысла».

Литература

1. Кюнз Х. Религия на переломе эпох // Иностран. лит. 1990. № 11. С. 223–229.
2. Хомм П. Переделывая Америку: ценностная революция // Иностран. лит. 1996. № 5. С. 238–245.
3. Люотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алтейя, 1998. 160 с.
4. Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature // *American Historical Review*. 1989. Vol. 94. 881 p.
5. White H. The Fictions of Factual Representation // *The Literature of Fact* / Ed. by A. Fletcher. New York: Columbia University Press, 1976. 432 p.
6. Bradbury M. The Modern British Novel. London: Penguin Books, 1994. 515 p.
7. Malcolm D. Understanding Graham Swift University of South Carolina Press, 2003. 238 p.
8. Lee A. Realism and the Power. London; New York: Routledge, 1990. 154 p.
9. «The Fictions of Factual Representation», *The Literature of Fact: Selected Papers from the English Institute* / ed. by A. Fletcher. New York: Columbia University Press, 1976. P. 21–44.
10. Свифт Г. Водоземье. Н. Новгород: Perspective Publications, 1999. 382 с.
11. Круглов Д.Н. Повседневность как предмет философской рефлексии: автореф. дис. ... канд. филос. наук. СПб., 1996. 20 с.
12. Lea D. Graham Swift (Contemporary British Novelists MUP) Manchester University Press; 1 ed. 2005. 240 p.
13. Свифт Г. Последние распоряжения. М.: Независимая газета, 2002. 320 с.
14. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алтейя, 2000. 352 с.
15. Hewitt D. The approach to fiction: Good and bad reading of novels. Bristol, 1972. 198 p.

EPISTEMOLOGICAL CRISIS IN GRAHAM SWIFT'S NOVELS *WATERLAND* AND *LAST ORDERS*

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 140–149.

DOI: 10.17223/19986645/39/12

Strinyuk Svetlana A., Perm Branch of the Higher School of Economics (Perm, Russian Federation).

E-mail: strinuk@mail.ru

Keywords: Graham Swift, *Waterland*, *Last Orders*, epistemological crisis

The article focuses on exploring forms of representation of distrust in history and disbelief in learning the past in Graham Swift's novels. Philosophical and historical concepts are central to both books, both examine the ways of getting knowledge but are very different in scale.

English literature of the end of the 20th century represents rationality crisis caused by social cataclysms, wars and destruction of the 20th century. Chaos and unstable reality, unapprehensiveness of the world, narratives about this world's history are topics typical of Graham Swift's writing. Shift of ideological paradigms caused by changes in social systems and destruction of explanatory schemes brought discredit to historical narratives of the end of the millenium. Literature of the end of the 20th century in general pays special attention to these topics, but for Graham Swift's writing they are most significant.

Epistemological crisis of contemporary history resulted in distrust in traditional historiography and traditional historical sources; it gave rise to a very special type of literary writing, represented by novels of A. Carter, J. Barnes, P. Ackroyd, A. Byatt, etc. They wrote about living in crisis, history, both public and private, and explored existential questions in their novels. Personal history was mythologized in the 20th century; private history is at the forefront of writers' interest: they shifted from epic social pictures to the existential framework of living. Graham Swift is known to be obsessive about exploring history and ways people get knowledge.

Historical process in Graham Swift's novels is always nonlinear; it is not determined by direct cause-effect relation. History in his writing is not characterized by a gradual advance; progress as a form of social development is typically negated. "Knowing" as a problem of learning the past on both

philosophical and common sense levels is central to all Swift's novels but is of particular interest in *Waterland* and *Last Orders*. It is the way Swift interprets learning the past that distinguishes *Waterland* and *Last Orders*. *Waterland* represents a metaphysical picture of the world history, regional and natural history and family life of several generations, while the space of *Last Orders* is narrowed to a funeral day of one of the characters giving a fine example of "everyday life" philosophy.

It is supposed that Graham Swift's novels epitomize a postmodern view on the historical process: he is critical to the very idea of having reliable knowledge about the past; he rethinks the idea that history might "be learnt" at all, his characters distrust the knowledge they get.

References

1. Kyung, H. (1990) *Religiya na perelome epoch* [Religion at the turn of epochs]. *Inostrannaya literatura*. 11. pp. 223–229.
2. Nott, P. (1996) *Peredelyvaya Ameriku; tsennostnaya revolyutsiya* [Recasting America; revolution of values]. *Inostrannaya literatura*. 5. pp. 238–245.
3. Lyotard, J.-F. (1998) *Sostoyanie postmoderna* [Postmodern condition]. Translated from French by N.A. Shmatko. Moscow: Institut eksperimental'noy sotsiologii; St. Petersburg: Aleteyya.
4. Harlan, D. (1989) Intellectual History and the Return of Literature. *American Historical Review*. 94.
5. White, H. (1976) The Fictions of Factual Representation. In: Fletcher, A. (ed.) *The Literature of Fact*. New York: Columbia University Press.
6. Bradbury, M. (1994) *The Modern British Novel*. London: Penguin Books.
7. Malcolm, D. (2003) *Understanding Graham Swift*. University of South Carolina Press.
8. Lee, A. (1990) *Realism and the Power*. London, New York: Routledge.
9. Fletcher, A. (ed.) (1976) *The Fictions of Factual Representation, The Literature of Fact*. Selected Papers from the English Institute. New York: Columbia University Press.
10. Swift, G. (1999) *Vodozem'e* [Waterland]. Translated from English. N. Novgorod: Perspective Publications.
11. Kruglov, D.N. (1996) *Povsednevnost' kak predmet filosofskiy refleksii* [Daily life as an object of philosophical reflection]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. St. Petersburg.
12. Lea, D. (2005) *Graham Swift*. 1 ed. Manchester University Press.
13. Swift, G. (2002) *Poslednie rasporyazheniya* [Last Orders]. Translated from English. Moscow: Nezavisimaya gazeta.
14. Man'kovskaya, N.B. (2000) *Estetika postmodernizma* [Postmodern aesthetics]. St. Petersburg: Aleteyya.
15. Hewitt, D. (1972) *The approach to fiction: Good and bad reading of novels*. Bristol.

УДК 82.09

DOI: 10.17223/19986645/39/13

О.Н. Турышева

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЛИТЕРАТУРНОЙ НАУКЕ

Статья посвящена вопросу о формировании прагматического подхода в современном литературоведении. Литературоведческая прагматика рассматривается как самостоятельное направление, включающее в себя междисциплинарную рефлексию о литературе как коммуникативном феномене и чтении как коммуникативном событии. Выделяются четыре области, образующие прагматическое направление в литературной науке. Это феноменология чтения, исследования литературного поведения, история чтения и прагматика повествования.

Ключевые слова: прагматический подход в литературоведении, феноменология чтения, литературное поведение, история чтения, прагматика повествования.

Прагматика в качестве самостоятельной филологической области, как известно, первоначально оформилась в языкознании. В рамках этого подхода начиная с 60–70-х гг. XX в. язык стал рассматриваться в аспекте его употребления, т.е. не с точки зрения того, как он устроен, а с точки зрения того, каким образом он функционирует, обеспечивая взаимодействие между инициатором речи и его адресатом. Параллельно с выделением прагматики как лингвистической дисциплины происходит и постепенное формирование прагматического направления в науке о литературе, сфокусированного на вопросах читательской «апроприации» (Р. Шартье) литературы. Специфическим предметом литературоведческой прагматики является художественная коммуникация – как закодированная в самом тексте в определенной системе приемов и фигур, так и осуществленная в практике реального чтения.

По выражению Т. Венедиктовой, изучение взаимоотношений между литературным текстом и его адресатом образовало «едва ли не самую натоптанную из дорог современной гуманитарной мысли» [1. С. 469]. Однако в качестве отдельного направления литературоведческая прагматика до сих пор описана не была. Также до сих пор не стала предметом описания и история ее формирования. Между тем на данный момент прагматику художественной коммуникации составляет объемная и междисциплинарная рефлексия. По меньшей мере, ее образуют такие области, как 1) феноменология чтения; 2) совокупность исследований, предметом которых является литературное опосредование поведения; 3) история художественной рецепции; 4) прагматическая теория повествования. Кратко остановимся на каждой области – с тем, чтобы в исторической перспективе осветить спектр идей, выдвинутых в данной сфере.

Феноменология художественного восприятия. Активное формирование этой парадигмы начинается в западноевропейской гуманитарной мысли с 60-х гг. XX в. – параллельно с формированием концепции «смерти автора», получившей теоретическое оформление в знаменитых работах Р. Барта («Смерть автора», 1968) и М. Фуко («Что такое автор?»),

1969). Имея своим следствием отказ от трактовки текста как носителя готового смысла, данная концепция, как известно, ознаменовала обращение гуманитарной науки к фигуре читателя, который стал рассматриваться как смыслополагающий субъект и оттого – как непосредственный участник «свершения произведения». Наиболее важные концепции данного направления литературной прагматики – это философская герменевтика Г.Г. Гадамера, немецкая рецептивная эстетика (В. Изер, Г.Р. Яусс), семиотическая теория интерпретативного сотрудничества (У. Эко).

Смыслообразующая деятельность читателя в рамках феноменологии чтения рассматривается в двух аспектах:

- а) как деятельность, направленная на образование семантики текста;
- б) как деятельность, направленная на образование семантики экзистенциального плана.

Если в рамках первого аспекта в качестве объекта смыслообразования рассматривается текст, то в рамках второго – собственная ситуация читателя, ее смысловое содержание. В акте восприятия эти составляющие (понимание текста и понимание себя) – в силу интенциональности читательского сознания – теснейшим образом взаимосвязаны. Однако рецептивистика дифференцирует их в качестве различных предметов теоретической рефлексии. Последовательно обозначим теоретические варианты рефлексии о деятельности читателя в обоих аспектах.

Первый аспект подразумевает описание деятельности читателя как направленной на образование семантики текста. Данная проблематика, будучи введена в теоретический контекст Г.-Г. Гадамером, связана с исследованием того, **что** происходит с литературным произведением в процессе его рецепции, **что** представляет собой *работа читателя над текстом*.

Систематическую разработку вопросы данного блока получают начиная с деятельности Р. Ингардена и Констанцкой школы. Ингарден, напомним, описывает деятельность читателя как *конкретизацию* словесного материала, в акте которой тот заполняет места семантической неопределенности индивидуальными смыслами и так преодолевает «схематичность» художественного произведения [2].

Представители немецкой рецептивной эстетики В. Изер и Г.Р. Яусс описывают конкретизацию как *осуществление* читателем «стратегии текста» – той программы восприятия, которую содержит в себе текстовая структура. Данное качество текста трактуется как система предписаний читателю, следование которым должно обеспечить успешную художественную коммуникацию.

Проблематизация данного механизма художественной рецепции начиная с 60-х гг. XX в. была предпринята целым рядом исследователей, в частности У. Эко. В работах «Открытое произведение» и «Роль читателя» чтение также рассматривается как процесс реализации читателем той рецептивной модели, которая задана самим текстом. Это основные теории, в рамках которых рецепция была описана в качестве события художественной коммуникации.

Обозначим теоретические варианты описания второго аспекта смыслообразования. В этом случае речь идет уже не о том, **что** в акте рецепции происходит с произведением, а о том, **что** в акте рецепции происходит с самим ре-

ципиентом – в результате той «работы текста» (воспользуемся формулой П. Рикера), которую он (текст) осуществляет в отношении читателя. В рамках решения этого вопроса акцентируется другой вид активности произведения, нежели тот, о котором шла речь выше: не тот, соответственно которому произведение непосредственно участвует в акте собственной интерпретации, предписывая читателю стратегию развертывания своего собственного смыслового потенциала, а тот, соответственно которому произведение активно участвует в формировании самого читателя, сотворении его субъективности, его самосознания – рефлексивной способности осмыслить и оценивать свои поступки. В этом плане чтение рассматривается не как реакция читателя на исходящее от текста требование его целенаправленной «расшифровки», а как реакция читателя на исходящее от текста «требование моральной рефлексии» [3. С. 81].

Вектор теоретической рефлексии такого рода также был задан Г.-Г. Гадамером. Немецкий философ непосредственно связал проблематику чтения с проблемой формирования субъектом собственной идентичности. Описывая механизм понимания, Гадамер обозначил его как «узнавание», в частности подразумевая среди других форм «узнавания» и узнавание читателем в произведении «идеального» облика самого себя. По Гадамеру, «в опыте искусства можно достичь встречи с собой»: эстетический опыт представляет собой «тесную взаимосвязь между опытом понимания и опытом самоузнавания».

Гадамеровская идея самоформирования субъекта получила свое развитие в целой совокупности концепций, нацеленных на выявление того воздействия, которое текст оказывает на читателя, и получивших общее наименование теории читательского отклика¹. Ряд представителей данного направления рецептивной науки феномен обусловленности самосознания чтением обозначают с помощью понятия «идентификация», подразумевающего отождествление читателем себя с персонажем литературного произведения.

В то же время процесс чтения вовсе не ограничивается идентификацией читателя с миром прочитанного. Так, В. Изер в работе «Процесс чтения: феноменологический подход» (1972), отслеживая ту сложную совокупность ментальных актов, посредством которых осуществляется художественная коммуникация, отмечает, что чтение – «творческий процесс, значительно более сложный, чем простое восприятие» и идентификационное погружение в мир книги. В связи с этим его следует описывать как акт взаимодействия воображения читателя с текстом. Воображение осуществляет свою работу посредством *антиципации* (предугадывания возможного хода событий), *ретроспекции* и, наконец, *формирования «целостного образа» текста* через придание ему последовательности и логичности, в результате чего текст раскрывается для сознания читателя «как живое событие». Этот процесс «создания гештальта литературного текста» и «возникающее при этом впечатление жизнеподобия» всегда сопровождаются «вовлечением читателя в его «действительность», которую «он сам [читатель] и создает». Изер называет этот процесс «*формированием иллюзий*» [4. С. 220–221].

¹ «Что происходит с нами, когда мы читаем текст» – именно так сформулировал главную проблему теории читательского отклика В. Изер [Изер, 1999].

В объяснении Изера, «формирование иллюзий», в частности, происходит в результате «вписывания» читателем своих собственных представлений в участки смысловой неопределенности (так называемые «пустые места» текста).

Сам процесс формирования иллюзий в акте чтения Изер уподобляет процессу *приобретения жизненного опыта*, механизмы которого «запускает» художественный текст. В связи с этим Изер отказывается описывать процесс чтения только в понятиях идентификации читателя с миром прочитанного: по Изеру, в процессе чтения происходит не идентификация, а «*искусственный передел личности читателя*», идентификация же является не результатом чтения, а одним из механизмов, обеспечивающих «усвоение чужого опыта». Так, «выстраивание читателем художественного смысла» неотделимо от процесса самосозидания: оно открывает для читателя возможность «сформулировать себя самого» и найти новые основания для собственной жизненной практики. «Литература дает шанс через формирование несформированного [автором в тексте] сформулировать нас самих», – пишет В. Изер в работе «*Der Lesevorgang*» [5. S. 275].

К вопросу о том, что представляет собой «работа текста» в процессе читательского самосозидания, в ряде своих сочинений обращается Поль Рикер. В рамках его концепции деятельность читателя по формированию собственной идентичности всегда опосредована «символическими ресурсами культуры» и, в частности, повествовательными текстами. «Понимать себя означает понимать себя перед текстом», – пишет П. Рикер, развивая теорию «повествовательной идентичности» в работе с одноименным названием [6. С. 87]. Согласно данной теории человек обретает самопонимание только в результате взаимодействия с повествовательными текстами: или посредством их активного понимания (если речь идет о читателе), или посредством их создания, посредством изобретения повествовательных интриг (если речь идет об авторе нарратива). Причем в целевом плане повествовательная деятельность определяется Рикером именно как деятельность, направленная на самопонимание того субъекта, который ее производит. Цель любых форм повествовательной деятельности (письмо, рассказ, чтение), по Рикеру, всегда одна – стремление ее субъекта (автора, рассказчика или читателя) понять самого себя.

Тот аспект теории Рикера, который непосредственно касается деятельности читателя, в качестве главного предлагает тезис о том, что в акте чтения «я» субъекта становится для него доступным, так как текст «поставляет» читателю «указания, как приблизиться к себе самому». В целом эти указания нацелены либо на обеспечение идентификации читателя с героем, либо на дистанцирование читателя от последнего. В результате читатель вырабатывает новую жизненную позицию и по-новому строит свою реальную практику. Так литература, пишет Рикер, «*рефигурирует*» жизненный опыт читателя (а не только *моделирует* процесс усвоения чужого опыта, как писал Изер). Еще одно отличие теории Рикера от теории читательского отклика образует акцентирование того, что самопонимание – это не просто «эффект», результат, «продукт» чтения, а его непосредственная цель.

Следующее направление в исследовании прагматического модуса существования литературы составляет теория литературного поведения. В данном случае чтение рассматривается не с точки зрения события смыслообразования (как акт понимания себя самого или смысла читаемого), а с точки зрения использования читателем его результатов. Эта проблематика составляет фокус целого ряда исследований семиотического, психологического, феноменологического и социологического плана. Их непосредственным предметом является, по выражению немецкого литературоведа Германа Майера, «das zitathafte Leben» («жизнь, ориентированная на цитирование»). Имеется в виду феномен реального поведения, заимствующего модели и тактики, описанные в литературе. Этот ракурс в исследовании чтения был задан уже в рамках немецкой рецептивной эстетики: Изер называл читателя актером, а Яусс писал о том, что опыт, полученный в чтении, может освободить читателя «от предрассудков и принуждений его повседневной жизненной практики»: он «предвосхищает неосуществленную возможность, расширяет ограниченное игровое пространство общественного поведения благодаря новым желаниям, претензиям, целям и открывает тем самым путь для будущего опыта» [3. С. 80].

В российском литературоведении акцентированное исследование литературоцентричного поведения было предпринято в рамках семиотического подхода, и прежде всего в научном творчестве Ю.М. Лотмана, под пером которого феномен культурно закодированного поведения и получил свое наименование – «литературное поведение». Анализируя широкое распространение подобного явления в русской культуре XVIII в., первой половины XIX в. (до 40–60-х гг.) и начала XX в., Лотман отмечает, что для этих эпох был характерен «взгляд на поведение как на некий текст» [7. С. 262], сознательно выстраиваемый по законам определенного сюжета. Подобное – эстетическое – отношение к собственной биографии непосредственно обусловило восприятие литературы как «области моделей и программ жизненного поведения» [7. С. 270] и превращение повествовательных сюжетов в образцы жизнестроительства.

Акцентуация значимости семиотического подхода в отношении человеческого поведения в конце XX в. была предпринята в рамках такого направления американского литературоведения, как новый историзм, одной из знаменитых концепций которого является концепция текстуальности жизни. Содержание данной концепции касается самых разнообразных форм взаимоотношений между литературой и реальностью, в том числе форм преобразования художественного текста в жизнь. В последнем случае речь идет о том, что читатель часто осуществляет в своей практике те смыслы, которые были развернуты в тексте, и тем меняет свое поведение и свою реальность. В рамках этой концепции индивидуальная жизнь трактуется как реализация литературного нарратива. Ст. Гринблатт, один из основоположников новоисторической теории, этот аспект как особый случай «самоформирования личности» исследует на материале культуры Ренессанса. В эту эпоху «усилилось сознание того, что формирование личности – это управляемый, искусственный процесс», что «человеческая жизнь заполнена искусственно сформированным опытом» [8. С. 34, 38]. Причем именно литература, по Ст. Гринблатт

ту, дает ту совокупность моделей, которую человек использует и для интерпретации собственной жизни, и для формирования собственного опыта.

История чтения – еще один ракурс исследования чтения как прагматического модуса бытия литературы.

Анализ культурно-исторических типов художественного восприятия впервые был предпринят одним из лидеров немецкой рецептивной эстетики Г.Р. Яуссом. В работе «Эстетический опыт и литературная герменевтика» [9] обоснование историчности понимания поддерживается выделением пяти исторических типов художественной рецепции. По сути, это *исторические типы самоопределения читателя по отношению к художественному действию*. Если для раннего периода развития словесности было свойственно дистанцирование читателя от изображенного в литературе действия и героя (это ассоциативный и адмиративный, в терминологии Яусса, типы), то начиная с литературы предромантизма отношения между читателем и героем выстраиваются по-другому. Яусс выделил симпатический и катарсический типы рецепции как свойственные для восприятия литературы XIX в. (романтизма и классического реализма), в соответствии с которыми читатель соответственно или примеряет образ героя к себе, или идентифицирует себя с ним. Впрочем, в литературе модернизма доминанта рецепции вновь предполагает дистанцирование читателя от героя, что позволяет Яуссу обозначить модернистский тип рецепции как «иронический».

Особый ракурс в исследовании истории взаимоотношений человека с литературой отличает работу В. Изера «Изменение функций литературы» (1986), в которой рассматривается *специфическое для каждой культурной эпохи представление о функциях литературы*. В реконструкции Изера, доминирующая в культуре традиционализма идея искусства как подобия жизни в эпоху романтизма сменилась противоположным взглядом, в соответствии с которым искусство моделирует другую реальность, не имеющую ничего общего с реальностью действительной. В этом случае литература выступает как «апокалипсис природы», – напоминает Изер тезис Т. Карлейля. Сменившая романтическую концепцию реалистическая трактовка литературы как художественного аналога социального бытия сменяется модернистским взглядом на литературу как модус преодоления жизни и сокровенный источник знания о ней («источник всех цитат»). Эпоха «заката метанарраций» отказала литературе в репрезентативности, разоблачив художественные технологии создания «референциальной иллюзии», и связала ценностную функцию литературы с другим ее качеством. Это качество – способность литературы «удовлетворять антропологические потребности человека», а именно потребности в понимании и интерпретации мира и привнесении в жизнь смысла. В рамках постмодернизма, пишет В. Изер, ценностный статус литературы связывается читателем с тем, что она «моделирует процесс ориентации в мире, реагируя на вечную изменчивость бытия и человека» [10. С. 39].

Чтение как исторически изменчивая форма общения человека с письменным текстом в качестве отдельного предмета было актуализировано также в рамках истории чтения – науки, формирование которой приходится на 80–90-е гг. XX в. По мысли основоположника данного научного направления французского историка Роже Шартье, «облик» рецептивной деятельности

детерминирован тем «порядком чтения», который в рамках каждой эпохи имеет свой особенный характер. Он складывается на почве специфических для каждой эпохи представлений о значении книги и сложившейся модели читательского взаимодействия с ней, непосредственно связанной с материальными параметрами самого носителя текста (свиток, кодекс или экран) [11].

Феномен художественной коммуникации является предметом еще одной области в спектре интересующих нас исследований. Это прагматика повествования. В рамках этого направления неклассической нарратологии изучаются коммуникативные параметры нарратива, те его аспекты, благодаря которым осуществляется формирование смыслов и их делегирование читателю. В отечественном литературоведении данная проблематика восходит к бахтинской концепции событийности, которая, напомним, трактуется им в единстве своих референтной и коммуникативной сторон, т.е. единстве события, о котором рассказано в произведении, и события самого рассказывания. Последнее, по М.М. Бахтину, всегда обладает определенной адресной направленностью, что определяет и структуру самого текста.

Коммуникативный статус повествования, его заинтересованность в определенности читательской реакции выразительно были постулированы в деятельности немецкой рецептивной эстетики. В первую очередь – в выдвинутой В. Изером категории имплицитного читателя, получившей в последующей нарратологической рефлексии разнотерминологические обозначения («потенциальный» читатель, «воображаемый» читатель, «образцовый» читатель, «виртуальный» читатель и т.д.). Представление о том, что текст моделирует «нужную» ему рецептивную реакцию в сложной совокупности художественных средств и стратегий, привело к разработке целой системы внутритекстовых инстанций, отвечающих за осуществление процесса художественной коммуникации. Среди них, помимо имплицитного читателя, выделяются фигуры имплицитного автора, а также фиктивного автора (нарратора) и фиктивного читателя (нарратора).

Следует отметить, что в рамках выделения категории читателя в качестве повествовательной инстанции в современном литературоведении происходит все большее соприкосновение нарративной и рецептивной проблематики. Сближение этих сфер обусловлено самим вектором исследования повествования как коммуникативного акта. Об этом свидетельствуют работы таких современных нарратологов, как В. Шмид, В. Тюпа, И. Силантьев [12, 13, 14] и др. Подобное сближение может рассматриваться как выразительное свидетельство того, что на почве взаимодействия теории повествования и эстетики художественного восприятия и происходит оформление самостоятельного – прагматического – подхода в исследовании художественных феноменов. В совокупности с вышеобозначенными областями исследования коммуникативной природы литературы, прагматика повествования непосредственно вписывается в поле широкого прагматического направления в литературоведении, включающего в себя интерес не только к рецептивному измерению нарратива, но и к характеру его функционирования в культурно-историческом контексте.

В целом следует отметить, что литературоведческая прагматика складывается на почве объединенного интереса двух исследовательских перспектив. Первая перспектива связана с исследованием статуса литературного произведения в сознании и реальной житетворческой практике реципиента. В данном случае научная рефлексия направлена на разные аспекты использования читателем того опыта (познавательного, эстетического, рефлексивного, поведенческого), который стал следствием рецепции. Поэтому в рамках этой перспективы первостепенным предметом изучения являются затекстовые результаты эстетической коммуникации, находящие свое выражение в деятельности читателя по расшифровке смыслов текста или по их «апроприации» (Р. Шартье).

Вторую перспективу образует интерес к тому, как в самой текстовой структуре закодирована его связь с потенциальным читателем, благодаря каким аспектам художественной организации формируется интенциональная направленность текста и как в связи с этим осуществляется его воздействие на адресата. То есть в данном случае изучается процессуальность чтения в аспекте его внутритекстового воплощения. В совокупности усилия этих двух исследовательских перспектив можно объединить в единое направление – в силу общности их опоры на идею коммуникативной ориентированности литературного текста.

Литература

1. Венедиктова Т.Д. Актуальная метафорика чтения: (попытка описания) // Новое лит. обозрение. 2007. № 5. С. 468–478.
2. Ингарден Р. Схематичность художественного произведения / пер. с пол. // Ингарден Р. Очерки по философии литературы. Благовещенск, 1999. С. 40–71.
3. Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения / пер. с нем. // Новое лит. обозрение. 1995. № 2. С. 34–84.
4. Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория: антология / сост., пер. и примеч. И.В. Кабановой. М., 2004. С. 201–224.
5. Iser W. Der Leservorgang // Rezeptionsästhetik: Theorie und Praxis. München, 1993. S. 253–276.
6. Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью / пер. с фр. М., 1995. С. 3–18.
7. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры, 1992. С. 248–268.
8. Гринблатт С. Формирование «Я» в эпоху Ренессанса: От Мора до Шекспира / пер. с англ. Г. Дашевского // Нов. лит. обозрение. 1999. № 35. С. 34–77.
9. Jauss H. R. Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. Bd. 1. Versuche im Feld der ästhetischen Erfahrung. München, 1977. 238 s.
10. Изер В. Изменение функций литературы // Современная литературная теория: антология / сост., пер. и примеч. И.В. Кабановой. М., 2004б. С. 22–45.
11. Шартье Р. Письменная культура и общество. М.: Новое изд-во, 2006.
12. Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.
13. Тюпа В.И. Этос нарративной интриги // Вестн. РГГУ. Сер. История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 2. С. 9–19.
14. Силантьев И.В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004.

A PRAGMATIC APPROACH IN LITERARY SCIENCE

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 150–159.

DOI: 10.17223/19986645/39/13

Turyshcheva Olga N., Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: ol-tur3@yandex.ru

Keywords: pragmatic approach in literary science, reading phenomenology, literary behavior, history of reading, narration pragmatics.

The article is devoted to the question of a pragmatic approach formation in modern literary criticism. Literary pragmatics is considered as an independent direction including a multidisciplinary reflection on literature as a communicative phenomenon and reading as a communicative event. Four areas forming the pragmatic direction in literary science are allocated. They are phenomenology of reading, research of literary behavior, history of reading and narration pragmatics. Within the description of each of the areas the emphasis is placed on works of its founders.

In the development of the phenomenological thought of reading, the philosophical hermeneutics of G.G. Gadamer, German receptive esthetics (W. Iser, H.R. Jauss), the semiotic theory of interpretive cooperation of U. Eco, the theory of narrative identity of P. Ricoeur are most important for the formation of the literary pragmatics of the direction.

The development of the theory of literary behavior primarily includes reflection on Yu.M. Lotman's and S. Greenblatt's concepts. Both of them postulate studying of reading from the point of view of the reader's use of its results.

History of reading is one of the newest aspects of research of reading as a pragmatic mode of the life of literature. This direction formed from the historical perspective of the receptive and esthetic school. The main content of the concept of R. Chartier, the founder of this direction in the French historical science, is also described.

One more area of studying the functioning of fiction is the pragmatics of narration which developed within non-classical narratology. Within this direction communicative parameters of a narrative are studied. In Russian literary criticism, this perspective goes back to Bakhtin's concept of eventness. It is noted that when the category of the reader is identified as a narrative instance, modern literary criticism sees an increasing contact of the narrative and receptive perspectives, which is proved by the development of narratology, both Russian and foreign.

A conclusion that literary pragmatics develops because of the integrated interest of two research prospects is drawn. The first prospect is connected with the research of the status of a literary work in consciousness and real life-creating practice of the recipient. The second prospect is formed by the interest in how the text structure codes its connection with the potential reader, what aspects of the artistic structure form the intentional orientation of the text, and how it impacts the addressee. In total it is possible to combine efforts of these two research prospects in a uniform direction, for they both are supported by the idea of the communicative orientation of a literary text.

References

1. Venediktova, T.D. (2007) Aktual'naya metaforika chteniya: (popytka opisaniya) [Current metaphor of reading: (an attempt to describe)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 5. pp. 468–478.
2. Ingarden, R. (1999) Skhematichnost' khudozhestvennogo proizvedeniya [The schematic character of an artwork]. In: Ingarden, R. *Ocherki po filosofii literatury* [Essays on the Philosophy of Literature]. Translated from Polish. Blagoveshchensk: BGK im. I.A. Boduena de Kurtene.
3. Jauss, J.-R. (1995) Istoriya literatury kak provokatsiya literaturovedeniya [The history of literature as a literary criticism provocation]. Translated from German. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 2. pp. 34–84.
4. Iser, W. (2004a) Protsess chteniya: fenomenologicheskiy podkhod [The reading process: a phenomenological approach]. Translated from German. In: Kabanova, I.V. (ed.) *Sovremennaya literaturnaya teoriya. Antologiya* [Modern literary theory. Anthology]. Moscow: Flinta: Nauka.
5. Iser, W. (1993) Der Leservorgang. In: Warning, R. (ed.) *Rezeptionsasthetik: Theorie und Praxis*. München.
6. Ricoeur, P. (1995) Germenevtika i metod sotsial'nykh nauk [Hermeneutics and the Method of Social Sciences]. In: Ricoeur, P. *Germenevtika. Etika. Politika. Moskovskie lektzii i interv'yū* [Hermeneutics. Ethics. Politics. Moscow lectures and interviews]. Translated from French. Moscow: Academia.

7. Lotman, Yu.M. (1992) *Poetika bytovogo povedeniya v russkoy kul'ture XVIII veka* [The poetics of everyday behavior in Russian culture of the 18th century]. In: Lotman, Yu.M. *Izbrannye stat'i v trekh tomakh* [Selected articles in three vols]. Vol. 1. Tallinn: Aleksandra.
8. Greenblatt, S. (1999) Formirovanie "Ya" v epokhu Renessansa: Ot Mora do Shekspira [Formation of "I" in the Renaissance: From More to Shakespeare]. Translated from English by G. Dashevskiy. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 35. pp. 34–77.
9. Jauss, H.R. (1977) *Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik*. Vol. 1. München.
10. Iser, W. (2004b) *Izmenenie funktsiy literatury* [Change of literature functions]. Translated from German. In: Kabanova, I.V. (ed.) *Sovremennaya literaturnaya teoriya. Antologiya* [Modern literary theory. Anthology]. Moscow: Flinta: Nauka.
11. Chartier, R. (2006) *Pis'mennaya kul'tura i obshchestvo* [Written Culture and Society]. Moscow: Novoe izdatel'stvo.
12. Shmid, V. (2003) *Narratologiya* [Narratology]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
13. Tyupa, V.I. (2015) Etos narrativnoy intrigi [Ethos of the narrative intrigue]. *Vestnik RGGU. Seriya "Istoriya. Filologiya. Kul'turologiya. Vostokovedenie"*. 2. pp. 9–19.
14. Silant'ev, I.V. (2004) *Poetika motiva* [Poetics of the motif]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

УДК 821.111(73)

DOI: 10.17223/19986645/39/14

Е.С. Хованская

**ПРОЦЕСС ПРОБУЖДЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РОМАНА
ДЖУЛИИ ОЦУКА «КОГДА ИМПЕРАТОР БЫЛ БОГОМ»**

В статье исследуются формы проявления этнического сознания, особенности взаимодействия «своего» и «чужого» в романе американо-японской писательницы Дж. Оцука «Когда император был богом» (2012). Выявляется специфика повествовательной стратегии, своеобразие развития двух разновекторных психологических сюжетов: второго рождения героев, обретших этническую идентичность, и её утраты, а также двух разнонаправленных мифологических сюжетов – моделирование «своего» мира и признание мифологизированного образа «чужого» как своего.

Ключевые слова: Дж. Оцука, этническое сознание, идентичность, повествовательная стратегия, субъективная реальность, психологический сюжет, мифологический сюжет.

Проблема этнического сознания человека, живущего в поликультурной среде, является сегодня одной из наиболее актуальных. Исследователи утверждают, что «современный период развития является временем своеобразного этнокультурного ренессанса» [1]. Различные аспекты данной проблематики рассматриваются этнологами, психологами, социологами, философами, культурологами, филологами (см.: [1–10]). Специалисты подчеркивают, что «гены» (кровное родство) сами по себе не формируют ни этническое сознание, ни этническое самосознание. Оно определяется не биологическим фактором происхождения от родителей, относящихся к данному этносу, а социально-психологическим фактором – тем, что индивиды *думают* о своем происхождении» [4]. И то и другое проявляется «в виде осознания индивидом своей принадлежности к определенной этнической культуре, представлений об исторической судьбе, месте и роли этнонациональной группы в общей системе человечества» [8].

В научной литературе нет четкой дифференциации понятий «этническое сознание» и «этническое самосознание». Вслед за В.П. Левкович мы будем исходить из понимания этнического сознания как комплекса взглядов, идей, представлений, объективизирующихся в языке этнической группы, в системе народных обычаев и традиций, в преданиях, легендах, мифах, предполагающих наличие других этнических групп, отношение к ним данного этноса. Оно связано со способностью выделять себя (мы) из окружающих и противопоставлять себя им (они). Этническое самосознание, которое развивается в рамках этнического сознания, есть самоотражение этноса, его представление о себе как об особой реальности (см.: [5]). По мнению исследователей, в жизнедеятельности этнической группы этническое сознание и самосознание «выступают как целое, как одна из форм отражения

этносом своего единства и отличия от других этнических общностей. Поэтому расчленение этнического сознания и самосознания возможно лишь в абстракции как методический прием, необходимый для более детального изучения» [5]. Нас преимущественно интересуют различные аспекты этнического сознания, но при необходимости мы также будем использовать термин «этническая идентичность» как синонимичный понятию «этническое самосознание».

В литературе США процессы этнического сознания и самосознания имеют свои особенности, связанные с тем, что американская нация является нацией иммигрантов. По свидетельству историков, с 1820 по 1987 г. в США приехало 54 миллиона человек разных национальностей. «На протяжении длительного периода в национальном развитии США явно преобладала интегрирующая тенденция, которая в начале XX века американскими специалистами была отражена в ассимиляционной парадигме "плавильный котел"» [11]. Однако интеграция не исключает периодического обострения этнических проблем. Так, во время Второй мировой войны после нападения японской армии на Пёрл Харбор все живущие в США японцы, в том числе и являвшиеся гражданами этой страны, были официально признаны врагами. Отчуждение части американской нации не могло не вызвать реакции, выраженной в конфронтационной формуле «мы – они». Враждебность со стороны национального большинства неизбежно способствовала активизации этнического сознания и самосознания японцев.

Предметом анализа в нашей работе являются формы выражения данного процесса в романе современной американско-японской писательницы Джулии Оцуки «Когда император был богом» (2012). Это единственное переведенное на русский язык произведение, посвященное проблеме интернирования японских американцев. Российская критика пока лишь краткими аннотациями на страницах некоторых изданий отметила факт открытия нового литературного имени и новой для российского читателя темы.

В интервью газете «Известия» Дж. Оцука призналась, что в основе книги – история семьи её матери, которая в феврале 1942 г. после объявления приказа Рузвельта №19, как и тысячи других людей японской национальности, была отправлена в концлагерь. Одновременно писательница заметила, что это и её «история тоже, правда, немного отстраненная. <...> первый роман всегда имеет дело с подавленными семейными чувствами» [12]. Дж. Оцука принадлежит третьему поколению японских иммигрантов, для которых английский язык и американская культура стали родными, они привыкли сознавать себя частью американской нации¹. Возвращаясь к вопросу о том, что побудило её написать роман о лагере, писательница отметила: «...это история, которую нужно рассказать, тем более что это имело место здесь, в Америке, в то время, когда мы боремся за демократию и свободу за рубежом» [13]. Местоимение «мы» в этом высказывании подтверждает тот факт, что Дж. Оцука воспринимает себя частью

¹ По свидетельству специалистов, «современные нации – это, главным образом, “языковые нации”, состоящие из людей, говорящих на одном языке. Вместе с языковой “оболочкой” осваивается и её смысловая “начинка” – культурные традиции, принятые в культуре ценностные установки, идеалы, нормы мышления и поведения etc.» [4].

американского «мы». Тем не менее «подавленные семейные чувства», о которых она говорит, одновременно являются следствием осознания ею своей принадлежности к определенной этнической общности, что предполагает обособление от других этносов.

По наблюдению психолога А.А. Бучек, «в результате этнического самоопределения происходит поиск и определение личностью своего места и роли в мире, что <...> упорядочивает не только внешнюю реальность, но и субъективную реальность личности» [2]. Цель данной работы – выявить, как процесс этнического самоопределения и корректировки «субъективной реальности личности» проявляется в особенностях художественной структуры романа Дж. Оцука «Когда император был богом».

Ученые утверждают, что национальная идентичность коренится в архетипах мышления нации (см. в частности: [Молодяков В.Э., 1996 и др.]). Неудивительно, что название произведения Дж. Оцука, дающее ключ к его интерпретации, заостряет внимание на архетипических образах. Основной свод японских мифов «Кодзики» «утверждает статус императоров как прямых потомков богов – создателей Японских островов» [14. С. 31]. В композиции романа «Когда император был богом» воплощается идея космогонического мифа о крушении мира и о его новом воссоздании из хаоса. В структуре сюжета произведения выделяются несколько ключевых мотивов: прощания с жизнью, нисхождения в ад, воскрешения. Идея цикличности (жизни – смерти – воскрешения) заложена и в названиях большинства глав, и в их последовательности: «Приказ об эвакуации № 19» (нарушение целостности мира, переход от жизни к смерти), «Поезд» (путь в мир мертвых), «Когда император был богом» (осознание этнической идентичности в кризисной ситуации), «Возвращение» (новый этап жизни).

Мифологический подтекст романа «Когда император был богом» неразрывно связан с психологическим сюжетом. Раскрытие внутренних процессов, происходящих в сознании героев, ищущих свое место в мире, подчинена и авторская повествовательная стратегия, которую отличает субъектная неоднородность. Хотя роман в основном написан от третьего лица, хотя стиль повествования кажется нейтральным, мировосприятие повествователя соотносится с мировосприятием четырех главных героев, каждый из которых выражает свое видение событий. В тексте помимо «повествовательного Я» выделяются несколько «повествуемых Я» (терминология В. Шмида), т.е. в каждой главе точка зрения нарратора дополняется позицией «другого»: вначале это точка зрения женщины, затем ее дочери, сына и в конце – ее мужа, который возвращается из другого лагеря для военных преступников. Кругозор каждого из них выражает индивидуальные ценностные ориентиры и одновременно демонстрирует различные формы репрезентации «японскости» и «американскости», их взаимодействие друг с другом. В целом такая повествовательная форма призвана показать изменения, которые происходят в «повествуемом» Я. Изменившиеся обстоятельства активизируют культурную и историческую память героев. Драматизм бытия, конфликт «своего» и «чужого» в сознании персонажей определяют внутренний диалогизм повествования. При этом содержание понятий «свой» и «чужой» у каждого из субъектов познания проявляется по-разному. Общим для всех героев является то, что

они привыкли сознать себя частью американского мира. Драматизм отношений возникает тогда, когда этот мир вдруг отторгает их. Вынужденная маргинальность положения способствует пробуждению этнического самосознания героев.

Закономерно, что в первой главе повествование передает точку зрения матери, поскольку она является хранительницей дома, с ней связано представление о целостности мира. Но именно женщина читает приказ №19, следуя которому ей предстоит разорить собственный дом.

Вначале, когда целостность привычного бытия еще сохраняется, точка зрения героини проявляется с помощью ряда деталей, акцентирующих внимание на ее феминности и социальном статусе. Отправляясь за покупками, она надела белые шелковые перчатки и красное платье, которое, как заметил владелец магазина Джой Лайди, ей очень шло. Маршрут ее движения свидетельствует о том, что эта японская семья живет в центре города, их социальное положение прочно, они не чувствуют себя маргиналами. Но не даром в числе деталей, характеризующих внешний облик героини, выделяются её новые очки. В данном контексте они воспринимаются как знак нового видения. Внезапно наводнившие город листовки с приказом №19 обозначают конец прежней жизни. Неудивительно, что с этого момента изменяется восприятие героиней всего происходящего. Уже в сцене разговора с владельцем хозяйственного магазина обращает на себя внимание характерная психологическая подробность: женщина впервые назвала Джойя Ланди по имени. До этого «такая фамильярность казалась ей странной. Даже неприличной» [15. С. 154]. Тем не менее эта сцена свидетельствует, что вначале граница между «мы» и «они» размыта, конфронтация отсутствует.

Основное действие начинается в тот момент, когда из-за враждебности американского окружения конфликт обостряется. После того как был арестован глава семейства, «мать развела в саду костер и сожгла все письма из Кагосимы. Семейные фотографии и три шелковых кимоно, которые девятнадцать лет назад привезла из Японии. Пластинки с записями японских опер. Разорвала на клочки флаг с восходящим солнцем. Разбила вдребезги чайный сервиз, тарелки имари и вставленный в рамку портрет дяди мальчика, который когда-то был генералом армии императора. Расколола старинные счета и бросила в костер» [15. С. 217]. Обратим внимание на знаки препинания в приведенном фрагменте: автор использует точки там, где, кажется, могли бы быть запятые, фиксирующие последовательность однородных действий. Как утверждает лингвист П.Я. Черных, слово «запятая» – это результат субстантивации глагола «запятаясь», что означает «зацепиться, задеть» [16. С. 341], т.е. это связующий знак, а героиня Дж. Оцука переживает драму разрыва связей. Точка помогает сделать тонкие смысловые выделения, она несет эмоционально-оценочную функцию, призвана передать ту боль, которую испытывает героиня, когда ей приходится разорвать все связи с национальным миром и фактически остаться без лица. Точки, подобно нотным знакам, передают внутренний ритм. Обозначаемая ими продолжительность пауз между действиями отражает психологическую напряженность состояния героини и одновременно создает визуальный

рисунок этих действий. Эмоциональные паузы предполагают психологический подтекст: за каждой уничтоженной вещью – память, индивидуальная, семейная, национальная. Героиня чрезвычайно сдержанна в выражении своих чувств, её точка зрения выражена только с помощью характерного синтаксиса и лексики. Каждая фраза содержит эмоционально окрашенные глаголы и наречия: «разорвала на клочки», «разбила вдребезги», «расколола», «бросила в костер».

Примечательно, что уже «на следующий день, отправляя детей в школу, мать впервые положила в их коробки для завтрака сэндвичи с джемом и арахисовым маслом. «Больше никаких роллов», – сказала она. – А если кто поинтересуется вашей национальностью, отвечайте, что вы китайцы» [15. С. 218].

Приказ №19 вынуждает японцев покинуть свои дома. Интернирование в сознании героини ассоциативно связано со смертью. Это позволяет все ее действия интерпретировать как подготовку к ней. В частности, убийство домашнего любимца – старого Белого Пса воспринимается как своеобразное жертвоприношение, но в особой трансформированной форме. Семья лишается защиты и надежды и отправляется в неизвестность без проводника. Осознание рубежности происходящего выражается и через ряд вещных деталей: собираясь в дорогу, мать отложила в сторону вещи, воспринимающиеся в данном контексте как знаки американской культуры – фигурку индейца, бейсбольную перчатку, комиксы и книги об американских птицах.

Путь в лагерь представлен в романе как путь в мир мертвых. Об этом свидетельствует характерная символика: одиноко круживший над поездом черный ворон, черные лошади, как бы сопровождающие его. Характерно и само расположение лагеря – на дне высохшего соляного озера, что рождает ассоциацию с адом¹.

Во второй главе происходящее представлено глазами девочки, которая провела «в Калифорнии все свою неполную жизнь» [15. С. 171]. Она не знает родного языка, в поезде, который везет их в лагерь, девочка читает журнал «Нэшнлджеографик»... Когда к ней с каким-то вопросом обращается пожилой японец, девочка не понимает его. В его ответной реплике «Вот, значит, как!» выражено не просто осознание границы, разделяющей два мира – японский и американский, но и осознание произошедшего разрыва связи между поколениями внутри японского мира. На данном этапе процесс осознания происходящего – прерогатива взрослых. Дети принадлежат поликультурному американскому миру. Когда после ареста отца мать приказала им называть себя китайцами, девочка ответила:

– А я королева Испании [15. С. 218].

Дети готовы надеть на себя любую чужую «маску», даже если к представителям этой национальности они относятся с презрением. Так, еще до отправки в лагерь какой-то парень остановил мальчика на улице и спросил: «Ты китаеза или япошка?» – И он ответил «Китаеза» [15. С. 219].

¹ О символическом подтексте романа см. подробнее в нашей статье «Мифологический подтекст в романе Дж. Оцуки «Когда император был богом» [17].

О том, что дети не задумываются о своем японском происхождении, свидетельствует и то, что мальчик, мечтая о возвращении отца, представлял его в облики ковбоя, «в <...> сапогах и шляпе», гарцующим «на красивом жеребце по имени Белый Иней» [15. С. 225]. Детей удивляет, что в поезде, а затем и в лагере их окружают только желтые лица с раскосыми глазами. Это вновь подтверждает, что сами они пока не соотносят себя со своим этносом. Примечательно, что, играя в лагере в войну, они кричат: «Смерть нацистам!» и «Смерть япошкам!» [15. С. 197].

По справедливому утверждению А.А. Бучек, этническое самосознание является результатом индивидуального опыта личности, предполагающего «не пассивное усвоение некоторых норм и требований определенного этноса, а творческое преобразование внутри личности» [2]. В лагере для японских американцев начинается новая жизнь, что объясняет актуализацию мифологического мотива инициации, прохождения через испытания. «Преобразование внутри личности» сопровождается обретением новых социальных ролей. Так, «человек, который драил в столовой кастрюли и сковородки, прежде был менеджером по продажам в одной из импортно-экспортных компаний Сан-Франциско. Уборщице прежде принадлежал небольшой детский сад» [15. С. 199].

Оторванность от привычной жизни, вынужденная замкнутость существования в исключительно японской среде неизбежно пробуждают потребность в осознании героями своей этнической идентичности. Для детей это обретение нового знания о своем – японском – мире, для взрослых – реконструкция культурной и исторической памяти. Главная героиня вспоминает время, проведенное в родительском доме, воображает себя маленькой девочкой. И только тогда ее взгляд оживляется, на лице появляется улыбка, которую дети давно не видели. Она рассказывает им о Японии, ее традициях, восстанавливая таким образом связь поколений.

В главе, организованной точкой зрения мальчика, особенно наглядно проявляется связь внутренних преобразований с начальным опытом мифотворчества. Герой ощущает себя как бы вне времени, ему кажется, что за пределами проволочной изгороди «всегда шесть часов вечера. Может вечера среды, а, может, четверга. И люди там всегда собираются обедать» [15. С. 209]. Реминисценция к произведению Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» – след культурной памяти, обозначающий связь с покинутым американским миром, но одновременно через «чужое слово» обнаруживает себя и японская культурная прапамять, сохранившаяся на подсознательном уровне. Таким образом, настоящее становится звеном накопленных культурных смыслов.

Мальчик, не знающий японского языка, как заклинание, повторяет имя императора, хотя в лагере оно было под запретом. Это имя «слетало с его губ само собой» [15. С. 196]. Он видит императора и в своих снах. Вместо окружающей лагерь пустыни ему представляется море. «А у самого горизонта виднеются силуэты трех кораблей. <...> Сам император прислал их за мальчиком» [15. С. 196]. Ему также часто снилась красивая деревянная дверь. «Это была очень маленькая дверь – размером с подушку или с том энциклопедии. За этой маленькой красивой дверью была другая дверь, а за ней – портрет императора, на который не позволялось смотреть никому.

Потому что особа императора была священной. Потому что он был богом» [15. С. 216].

Так проясняется смысл названия романа «Когда император был богом» – восстановление утраченных связей, приобщение к опыту этноса. Процесс осознания своего бытия в мире, сопровождающийся накоплением этнического опыта, продолжается и после возвращения героев из лагеря. Им предстояло заново восстанавливать и обживать покинутый дом, который обретает для них новую ценность. Символична находка фигурки Будды, которую мать обнаруживает, когда приводит в порядок сад. Они «счистили грязь с его толстого живота и огромной круглой головы и увидели, что он по-прежнему смеется» [15. С. 265]. Смеющийся Будда – один из семи японских богов счастья, богатства, веселья и благополучия (см.: [14]).

И все же время, проведенное в лагере, наложило на героев свой отпечаток. Характерно, что первую ночь они провели в той комнате своего дома, которая больше всего напоминала их лагерную каморку – длинную и узкую. И разместились в ней так, как спали в бараке. При этом они легли спать в своей лучшей одежде. «Нельзя, чтобы нас убили в пижамах», – пояснила мать. В этой реплике выражена характерная особенность психологии японцев – *енгуо* – представление о том, как вести себя в неловких ситуациях, чтобы избежать позора и соблудности «лицо» [18. С. 124]. Здесь эта ситуация усугубляется конфронтацией «они»/«мы». Находясь в лагере, дети мечтали, что после возвращения в родной город «телефон будет разрываться от звонков. (“Наконец-то вы вернулись! Мы вас так ждали!”<...> “Какое счастье, что вы снова с нами! Нам вас так не хватало!”)» [15. С. 266]. В реальности им пришлось столкнуться с комплексами массового сознания, порожденными этноцентризмом, когда все чужое воспринимается как опасное. Подобно тому, как при интернировании японцев никто из американских соседей не вышел попрощаться с ними, так и после их возвращения в город «они делали вид, что не замечают» японцев и отворачивались от них при встрече. Мать объяснила такое поведение соседей страхом перед «чужими», ставшими врагами.

Встреча с враждебностью приводит к тому, что и сами японцы вынуждены принять навязанную им роль. Дети вновь, как это было, когда они только оказались в лагере, пугаются «своего лица». Чужой страх порождает свой, новый. Вместе с тем после всего пережитого в их самооценке и мировосприятии происходят существенные изменения:

«Мы смотрели на себя в зеркало, и то, что мы там видели, нам очень не нравилось: черные волосы, желтая кожа, раскосые глаза. Отвратительные лица врагов.

Мы чувствовали свою вину. Но ведь мы совершенно ни при чем. И все же мы японцы. Не надо об этом думать. Мы представители вражеской нации. Теперь мы свободны. Никто нас ни в чем не обвиняет. Нам никогда не будут доверять. И с этим ничего нельзя сделать» [15. С. 260].

В этом внутреннем монологе проявляется внутренняя борьба двух Я, происходящая в сознании героев. С одной стороны, на них оказывают влияние стереотипы массового сознания, заставляющие их видеть не свое отражение, а «отвратительное лицо врага», испытывать «чувство вины»,

вызванное принадлежностью к «вражеской нации». Для детей по-прежнему важно сознавать себя органической частью американского социума, они готовы не только говорить, но и мыслить на его «языке». Выпадение из мира, который прежде они воспринимали как «свой», переживается ими болезненно. С другой стороны, в пользу обретения этнической идентичности свидетельствует признание того, что они «японцы», что они «совершенно ни при чем» и что они «свободны».

Постепенно «жизнь вошла в прежнюю колею», откровенная враждебность со стороны национального большинства, казалось бы, исчезла. Если вначале после возвращения в свой дом герои запирали не только двери, но и окна и «ждали, когда тишину разорвет выстрел или стук в дверь», то через год они уже спали с открытыми окнами. Но обоюдная подозрительность осталась. Об этом, в частности, свидетельствует микросюжет об исчезнувшем из сада за время отсутствия героев кусте роз. Дети искали его повсюду. Им казалось, что они видят его перед домом каждого из соседей. Но даже когда это не подтверждалось, они «всегда верили, что где-то, в саду позади чужого дома, красуется <...> куст, сплошь усыпанный чудесными красными розами» [15. С. 278].

Недоверие друг к другу заставило обе стороны выработать свои «средства защиты». И американцы и японцы старались соблюдать правила приличия и делать вид, что ничего не произошло. Японцам еще перед освобождением из лагеря была прочитана специальная лекция «Как вести себя после возвращения»: «Разговаривать только по-английски. Не собирайтесь на улице больше чем по трое. <...> Старайтесь не привлекать к себе внимания» [15. С. 262].

Установка не привлекать к себе внимание не только соответствовала конкретной политической ситуации, требовавшей от японцев стать как бы невидимыми для американцев, но и выражала характерную черту японской ментальности, определяющую их поведение вне этой ситуации, – «эмоциональная закрытость», или *gaman*, – подчеркнутая сдержанность в проявлении чувств, эмоций, способность скрывать свой внутренний мир под непроницаемой маской вежливости [18. С. 125].

Последнее объясняет значимость в структуре сюжета романа мотива маски, связанного с оппозицией «своё»/«чужое». Но этот мотив по отношению к разным героям романа проявляет себя по-разному. Для вернувшихся из лагеря женщины и её детей это вынужденное, но вполне осознанное поведение: им пришлось надеть «маску», чтобы сохранить лицо. Отец семейства, напротив, пройдя через испытания, пережил трагедию утраты своего Я. В заключительной главе с характерным названием «Признание» он принимает точку зрения американцев, видящих в японцах врагов. Заключительная глава строится в форме я-повествования, но личное местоимение «я» в данном случае выражает коллективное «мы». Причем это мы в данном случае – знак обезличенности. Речь героя состоит из гетеростереотипов, выражающих представление об этнопсихологическом облике другого народа и имеющих резко негативный характер:

«Будь по-вашему, сказал я. Запираться бесполезно. Я во всём признаюсь. Вы совершенно правы. Вы всегда правы. Все это сделал я. Я отравлял ваши

резервуары с питьевой водой. <...> Я сообщал врагу, где расположены ваши аэродромы. <...> Шпионил за соседями. Шпионил за вами ...» [10. С. 279].

Заключительная глава представляет длинный перечень всех «преступлений», которые герой якобы совершил против американского народа. Замещение своего Я чужим выражается в акте высказывания, в котором уже не остается места для субъективного начала, говорящего – все замещается голосом враждебного массового сознания:

«Я косоглазый снайпер, сидящий на дереве в вашем саду. Я диверсант, притаившийся в зарослях. Я чужестранец, бродящий у ваших ворот. Я предатель, проникший в ваш дом. Я ваш слуга. Я ваш повар. Я ваш садовник. Я тихо жил здесь, рядом с вами, и в течение многих лет терпеливо ждал, когда Тоджо 17 подаст мне сигнал к действию. <...> Вот и все. Больше мне нечего сообщить. Теперь я могу идти?» [10. С. 282].

«Ложное слово» героя становится свидетельством его духовного опустошения, омертвения. Даже после освобождения из лагеря он не смог вернуться в мир живых. Это замечают даже дети:

«Наш отец, тот отец, которого мы помнили, отец, которого мы видели во сне почти каждую ночь, был красивым и сильным. Он высоко держал голову, двигался быстро и уверенно. Любил рисовать. Петь. Смеяться» [10. С. 272].

Человек, который теперь был рядом с ними, был совершенно другим. Это подчеркивается цепочкой отрицательных конструкций:

«Он не рисовал и не пел. <...> Он не читал нам вслух. <...> Не устраивал на стене представлений театра теней, переплетая пальцы самым причудливым образом. Он не клеил нам змеев и не делал ходулей. <...> Он ничего не рассказал нам о том, как провел все эти годы» [10. С. 272].

Когда дети, вернувшись из школы, рассказывали, по его же просьбе, что «новенького» у них произошло, он делал вид, что внимательно их слушает, но «думал о чём-то другом». Вечером он укладывался спать рано и «часто видел один и тот же сон: прошло уже пять минут после комендантского часа, а он еще не вернулся за проволочную изгородь. <...> Всякий раз он просыпался с криком:

– Я опоздал!» [10. С. 277].

Таким образом, в романе Джулии Оцука «Когда император был богом» прослеживаются два разноречивых психологических сюжета. В одном из них, связанном с судьбами матери и детей, автор акцентирует внимание на возрождении и одновременно на втором рождении героев в результате пробуждения этнического самосознания, тогда как в сюжетной линии отца, напротив, акцентируется трагедия обезличивания как результат поглощения «своего» «чужим». Принимая «чужое слово» как свое, герой лишается самостоятельности, совершается подмена собственного восприятия «слышимым», индивидуального – массовым. Этому сопутствуют и два разнонаправленных мифологических сюжета: первый связан с моделированием «своего» мира, второй – с признанием мифологизированного образа «чужого» как своего.

Литература

1. Костина А.В. Национальная и этническая культура: соотношение в глобализирующемся мире // Знание. Понимание. Умение. 2006. №3. С. 128–139.
2. Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в русской и английской литературе. Казань: ТГГПУ, 2009. 611 с.
3. Бучек А.А. Психологические закономерности функционирования этнического самосознания в полиэтнической среде: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. Петропавловск-Камчатский. 2012. 52 с.
4. Гожева О.К. Философско-этнологическая рефлексия феномена этнонационального сознания // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2009. №14. С. 99–104.
5. Левкович В.П. Социально-психологические аспекты этнического сознания // Сов. этнография. 1983. № 4. С. 75–79.
6. Петрова К.А. Этническое самосознание как психологический феномен // Омский научный вестник. 2008. №5(72). С. 146–149.
7. Попова М.К. Национальная идентичность и её отражение в художественном сознании. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. 170 с.
8. Тоидис В.П. Этнонациональное самосознание как феномен культуры. Карачаевск, 1999. С. 32–33.
9. Guciykunst W.B., Ting-Toomey S., Chua E. Culture and interpersonal communication. SAGE Publications, Inc., 1988. 280 p.
10. Kim Y.Y. Communication and cross-cultural adaptation. Multilingual Matters, 1988. 223 p.
11. Черчина З.С. Этничность в США: теория «плавающий котёл» // Американский ежегодник. 1994. Т. 1993. С. 151–161.
12. Джулия Оцука: «Японцы стараются держать свои проблемы при себе» // Известия. 2014. 28 февр. // <http://izvestia.ru/news/566625> (проверено: 12.10.2015).
13. A Conversation with Julie Otsuka, author of *When the Emperor was Divine* // https://www.bookbrowse.com/author_interviews/full/index.cfm/author_number/807/julie-otsuka (проверено: 12.10.2015).
14. Садокова А.Р. Японский фольклор: (В контексте мифолого-религиозных представлений). М.: ИМЛИ РАН, 2001. 256 с.
15. Оцука Д. Когда император был богом. СПб.: ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус». 2013. С. 151–283.
16. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. Т. 1. 3-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1999. 623 с.
17. Хованская Е.С. «Мифологический подтекст в романе Дж. Оцуки «Когда император был богом» // Филология и культура. 2015. № 3. С. 270–273.
18. Harry H.L. Kitano Japanese Americans: The evolution of a Subculture. Prentice Hall, 1989. 231 p.

THE AWAKENING OF ETHNIC CONSCIOUSNESS AND FEATURES OF THE ARTISTIC STRUCTURE OF JULIE OTSUKA'S *WHEN THE EMPEROR WAS DIVINE*

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 160–171.

DOI: 10.17223/19986645/39/14

Khovanskaya Ekaterina S., Kazan Federal (Volga Region) University (Kazan, Russian Federation). E-mail: katja.khovanskaya@gmail.com

Keywords: Julie Otsuka, ethnic consciousness, identity, narrative strategy, subjective reality, psychological plot, mythological plot.

The paper deals with ethnic consciousness manifestations as well with characteristic features of “self” and “non-self” in Julie Otsuka’s novel *When the Emperor Was Divine* (2012). The ethnic consciousness of a person living in a multinational environment is a relevant issue. The author determines the term “ethnic consciousness” as a scope of beliefs, ideas and concepts which manifest themselves in the language of the ethnic group, in its customs and traditions as well as in the legends, myths.

The aim of the paper is to see how the artistic structure of the novel reflects the process of ethnic identification and adjusting of the subjective reality of a person. Julie Otsuka belongs to the third generation of Japanese immigrants who got used to identifying themselves as belonging to the American

nation. In the novel, Julie Otsuka tells the story of her mother thus trying to realize that she belongs to the Japanese ethnic community. However, this fact implies that she has to oppose herself to the other ethnic groups.

The title helps to analyze the novel putting forward the archetypal characters which give rise to the archetypal mentality of the nation. The paper shows that the plot of the novel *When the Emperor Was Divine* is based on the cosmogonical myths about the doomsday which is followed by the rebirth of the world from chaos. The mythological motives: farewell to life, descent to hell, resurrection, are developed in the structure of the novel. The author reveals the cyclic nature of the events. The idea of the cycle (life – death – rebirth) is reflected in the chapter titles. The paper shows that the mythological code of the novel is closely connected with its psychological plot.

The narrative strategy of the novel reveals the processes going on in the characters' minds. The author proves that in the text there is a "narrative I" as well as some kinds of a "narrated I". Each chapter has a narrator's point of view which combines the attitude of "another": the point of view of the woman, then her daughter's, her son's and, finally, her husband's, who returns from an internment prison. The author demonstrates that the mentality of each character, their individual values combine both Japanese and American features in their interaction. This narrative form is used to show all the changes that are developing in the "narrated I".

The paper focuses on two major psychological plot lines of the novel. One of them, connected with the story of mother and her children, emphasizes the moment of the rebirth of the characters. The rebirth resulted from the awakening of the ethnic identification. The other one, connected with the story of father, puts forward the tragedy of depersonalization due to the loss of identity. The psychological lines are paralleled by two corresponding myths. The first describes the creation of the "self" world while the other one presents the acceptance of the "non-self" mentality.

References

1. Kostina, A.V. (2006) Natsional'naya i etnicheskaya kul'tura: sootnoshenie v globaliziruyushchemsya mire [National and ethnic culture: the ratio in the globalized world]. *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 3. pp. 128–139.
2. Breeva, T.N. & Khabibullina, L.F. (2009) *Natsional'nyy mif v russkoy i angliyskoy literature* [National Myth in Russian and English literature]. Kazan: TGGPU.
3. Buchek, A.A. (2012) *Psikhologicheskie zakonomernosti funktsionirovaniya etnicheskogo samosoznaniya v polietnicheskoy srede* [Psychological patterns of ethnic identity functioning in a multiethnic environment]. Abstract of Psychology Dr. Diss. Petropavlovsk-Kamchatsky.
4. Gozheva, O.K. (2009) Filosofsko-etnologicheskaya refleksiya fenomena etnonatsional'nogo soznaniya [Philosophical and ethnological reflection of ethno-national consciousness phenomenon]. *Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovaniy*. 14. pp. 99–104.
5. Levkovich, V.P. (1983) Sotsial'no-psikhologicheskie aspekty etnicheskogo soznaniya [Socio-psychological aspects of ethnic consciousness]. *Sovetskaya etnografiya*. 4. pp. 75–79.
6. Petrova, K.A. (2008) Etnicheskoe samosoznanie kak psikhologicheskiy fenomen [Ethnic self-consciousness as a psychological phenomenon]. *Omskiy nauchnyy vestnik*. 5(72). – pp. 146–149.
7. Popova, M.K. (2004) *Natsional'naya identichnost' i ee otrazhenie v khudozhestvennom soznanii* [National identity and its reflection in the artistic consciousness]. Voronezh: Voronezh State University.
8. Toidis, V.P. (1999) *Etnonatsional'noe samosoznanie kak fenomen kul'tury* [Ethno-national identity as a cultural phenomenon]. Karachayevsk: Karachay-Cherkess State Pedagogical University.
9. Gucykunst, W.B., Ting-Toomey, S. & Chua, E. (1988) *Culture and interpersonal communication*. SAGE Publications, Inc.
10. Kim, Y.Y. (1988) *Communication and cross-cultural adaptation*. Multilingual Matters.
11. Cherchina, Z.S. (1994) Etnichnost' v SShA: teoriya "plavil'nyy kotel" [Ethnicity in the United States: the theory of "melting pot"]. *Amerikanskiy ezhegodnik*. 1993. pp. 151–161.
12. Otsuka, J. (2014) "Yapontsy starayutsya derzhat' svoi problemy pri sebe" ["The Japanese are trying to keep their problems to themselves"]. *Izvestiya*. 28 February. [Online]. Available from: <http://izvestia.ru/news/566625>. (Accessed: 12 October 2015).
13. BookBrowse. (n.d.) *A Conversation with Julie Otsuka, author of When the Emperor was Divine*. [Online]. Available from: https://www.bookbrowse.com/author_interviews/full/index.cfm/author_number/807/julie-otsuka. (Accessed: 12 October 2015).

14. Sadokova, A.R. (2001) *Yaponskiy fol'klor (V kontekste mifologo-religioznykh predstavleniy)* [apanese folklore (in the context of the mythological and religious ideas)]. Moscow: Institute of World Literature, RAS.
15. Otsuka, J. (2013) *Kogda imperator byl bogom* [When the Emperor was Divine]. Translated from English. St. Petersburg: Azbuka-Attikus.
16. Chernykh, P.Ya. (1999) *Istoriko-etimologicheskii slovar' sovremennogo russkogo yazyka: v 2 tomakh* [Historical and etymological dictionary of modern Russian language: in 2 vols]. 3rd ed. Vol. 1. Moscow: Russkiy yazyk.
17. Khovanskaya, E.S. (2015) Implicit Mythology of J. Otsuka's Novel When the Emperor was Divine. *Filologiya i kul'tura – Philology and Culture*. 3. pp. 270–273. (In Russian).
18. Kitano, H.H.L. (1989) *Japanese Americans. The evolution of a Subculture*. Prentice Hall.

РЕЦЕНЗИИ. КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ

DOI 10.17223/19986645/39/15



Рецензия на монографию: Хило Е.С., Никонова Н.Е. Восприятие поэзии С.А. Есенина в Германии (1920–2010 гг.): переводы, издания, критика, литературоведение. – Томск: Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2015. – 230 с.

В монографии решается проблема, связанная с обновлением и расширением источниковедческой базы современного есениноведения, а также исследовательской основы отечественной компаративистики. Введение в научный оборот и аналитическое осмысление материалов переводческой, критической, научно-исследовательской и интермедialной рецепции поэтического творчества С.А. Есенина в Германии 1920–2010-х гг. открывает новые грани творчества поэта, восприятие которого отражает развитие русско-немецких литературных связей в XX–XXI вв.

Для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов, а также филологов, изучающих русскую литературу XX–XXI вв., литературные взаимосвязи и взаимодействия.

Рецензируемая монография посвящена одной из самых активных и репрезентативных из инациональных рецепций поэзии С.А. Есенина – немецкоязычной традиции. Плодотворное сотрудничество доктора филологических наук Н.Е. Никоновой и недавно защитившегося под ее руководством талантливого молодого ученого Е.С. Хило завершилось выходом из печати новаторского и яркого исследования, которое рассматривает разнообразные формы богатой истории переводов, изданий, критики и литературоведения в Германии (1920–2010-х гг.).

Характер рецепции поэзии Есенина в Германии обусловлен «некоторой родственностью» ему первых немецких переводчиков его поэзии, которую ощутили и передали немецкие поэты. Известно, что Есенин ценил немецкую поэзию, проявлял интерес к творчеству И.-В. Гёте, Г. Гейне и И.-П. Гебеля. В письмах и статьях Есенина не раз упоминались имена немецких философов Р. Штейнера, О. Шпенглера, идеи которых отразились в его собственных философских исканиях. В статье «Ключи Марии» (1918) Есенин упоминает И.-В. Гёте и называет И.-П. Гебеля среди художников слова, в которых жила «узловая завязь самой природы». Не случайно критик Н. Осинский в 1925 г. заметил: «Есенин поет как соловей, подчас не хуже, чем пел Генрих Гейне.

<...> Поэт *живые* песни, а под ними, значит, лежит в глубине *живая* почва» [1].

Немецкие переводчики обратились к творчеству Есенина раньше, чем переводчики других европейских стран. Недавно выявленная с помощью нашего французского коллеги Мишеля Никё публикация первых немецких переводов Вальдемара Гартмана (Waldemar Hartmann) маленькой поэмы «Певчий зов» (1917) и стихотворения «Осень» (1914) в составе его статьи «Русская революционная поэзия новейшего поколения» (выявлено и сообщено М. Никё [2]) сделала Германию лидером в освоении творчества великого русского национального поэта. Имя этого переводчика и сделанные им переводы не входили ранее в научный оборот и не были учтены даже в самых полных библиографиях на его родине.

Одним из основных достоинств монографии Е.С. Хило и Н.Е. Никоновой является развитие заложенной известными немецкими славистами Ф. Мирау, Л. Кошуттом и др. немецкой традиции осмысления рецепции поэзии С.А. Есенина, обогащение ее открытиями последних лет, сделанными российскими учеными, а также собственным текстологическим анализом имеющегося материала. Особенно показателен анализ концептов родины и природы в поэзии Есенина.

В работе содержится глубокий профессиональный анализ истории освоения поэзии С.А. Есенина в переводах и в эдиционной практике Германии с особым вниманием к центральным фигурам переводчиков (Э.Й. Бах, К. Дедериус, А. Кристоф, Р. Киш и др.), а также к анализу критики и трудов литературоведов. Материалом исследования, результаты которого представлены в рецензируемом издании, стали 19 статей в литературных журналах и газетах, содержащих переводы лирики и критические заметки о Есенине, 18 сборников переводов поэзии, 9 антологий русской лирики, 16 прецедентов литературоведческого осмысления наследия автора, 2 аудиосборника, 2 поэтических сборника современных немецких поэтов, представляющих итоговый этап восприятия творчества инационального поэта. Системный анализ немецкоязычной рецепции творчества Есенина, впервые предпринятый в работе, восполняет пробел в истории зарубежных связей русской литературы и открывает новые грани творчества поэта.

В немецкой рецепции наследия Есенина авторы монографии выделяют три этапа, в основе которых лежат культурно-исторические изменения в Германии. На первом этапе (1920–1930-е гг.) происходит знакомство с лирикой Есенина, продолжившееся примерно до начала Второй мировой войны. Вторым этапом (конец 1940-х – 1980-е гг.) определен разделением Германии и разными подходами к работе над переводами в ФРГ и ГДР, обусловленными внешними факторами. Наконец, третий этап (1990–2010-е гг.), начало которого связано с объединением Германии, ознаменован новым уровнем рецепции поэтической семантики и стиховой манеры Есенина. В результате эдиционная история переводов поэзии Есенина в Германии оказывается тесно связанной с культурно-исторической ситуацией в стране, а также включенной в общемировой контекст в публикациях с произведениями других зарубежных авторов.

К наиболее ярким и ценным страницам исследования относится сопоставительный анализ ранних переводов 1920-х гг., не теряющий актуальности анализ Д.И. Чижевского «Песни о хлебе», в котором Есенин предстает в качестве выразителя мифопоэтики с учетом универсального общемирового контекста а также анализ двух тематических направлений: биографии Есенина и отдельных поэтических произведений русского автора, выполненные Ф. Мираву. «Высокий интерес к жизнеописанию лирика, – замечают авторы работы, – приходится именно на современный этап осмысления и проявляется прежде всего в сюжетной линии – поддержании биографических мифов о поэте, связанных с его путешествиями по Европе, браком с известной американской танцовщицей, бунтарским поведением» (С. 217).

Современный этап восприятия Есенина характеризуется созданием собственного образа поэта в немецкой культуре. Стихотворения-диалоги П. Целлана и стихотворения-посвящения русскому поэту Г. Весперу и Х. Чеховски, а также произведения композиторов и художников создают разносторонний образ Есенина как выразителя национального характера. В результате сравнительно-сопоставительного анализа, литературоведческого и критического осмысления творчества Есенина в Германии авторы делают убедительные выводы о специфике немецкого резонансного восприятия концептосферы созданного им русского мира.

Прочтению «Инонии» «как сложного, многотекстового произведения, в котором уместаются разные типы утопии (литературная, религиозная, народная социальная, антропологическая)», сделанному в работе З. Глитч (Германия) (Организация утопии в поэме Сергея Есенина «Инония». Висбаден: Харасовитц, 1996), посвящен специальный, подробный и содержательный параграф монографии. Нельзя не согласиться с выводом российских исследователей Е.С. Хило и Н.Е. Никоновой, что З. Глитч открыла новые грани в наследии русского поэта и перспективы для исследователей как российского, так и зарубежного есениноведения. Тем не менее нельзя не учесть, что одним из авторов этой идеи, как оказалось, является первый немецкий переводчик и критик В. Гартман. Чуткий к стилевым доминантам поэзии Есенина, этот переводчик одним из первых выдвинул идею трактовки поэзии Есенина и Клюева революционных лет как утопической.

«Крестьяне Клюев и Есенин, – писал он, – содержат в себе вина более сладкие, пьяны утопией абсолютного освобождения от стесняющих свободу человеческих уз. Но тем не менее крестьянский инстинкт не позволил им безудержно увлечься абстракциями. Крестьянские корни крепко связывают их с теплой землей. <...> Они высоко взметнулись над духовными низинами Горького и Розеггера» (перевод Т. Кудрявцевой [3]). Сравнение с известным австрийским писателем Петером Розеггером (наст. фам. Кеттенфайер) оправдано тем, что он тоже родился в крестьянской семье. В стихах и в прозе использовал народный язык, не избегая диалектных слов. К началу 1900-х гг. стал признанным национальным поэтом, награжден медалями как Австрии, так и Германии, а в 1913 г. был одним из наиболее вероятных претендентов на Нобелевскую премию. Известно, что идея трактовки творчества Есенина 1917–1918 гг. как утопического получила научное обоснование в отечественном и зарубежном есениноведении особенно ярко на примере анализа поэмы

«Инония» лишь на рубеже XX и XXI в. В 1990 г. в России издана работа *Н.В. Кононовой* «Инония» С. Есенина как народно-социальная утопия» [4. С. 43–56], которая вышла раньше работы Глитч и, к сожалению, не упоминается в рецензируемой монографии.

Впервые предпринятый комплексный анализ восприятия творчества С.А. Есенина в Германии 1920–2010-х гг. в рамках целостного монографического исследования существенно уточняет и дополняет источниковедческую базу есениноведения, соотносит творчество поэта с одной из наиболее активных зарубежных традиций восприятия поэзии Есенина и во многом обогащает образ Есенина в истории русской и мировой литературы. Встречающиеся в тексте отдельные опечатки и неточности не могут снизить в целом высокую оценку работы и ее весомый вклад в изучение проблем рецептивной эстетики, компаративистики и имагологии.

В результате проведенного исследования авторы делают справедливый вывод о популярности личности и творчества Есенина в Германии, о признании его национальным и общемировым поэтом и намечают перспективы дальнейших исследований, среди которых изучение прозаического, поэзного и драматического наследия русского автора в немецкоязычном восприятии; немецкий мир в восприятии самого поэта; выявление типологических связей и параллелей с поэтами Германии (среди них особенно выделяются Г. Гейне, И.-В. Гёте, И.-П. Гебель), отражение идей немецких философов в творчестве Есенина.

Многообразие форм изучения поэзии Есенина в Германии, ее лидерство в переводах произведений поэта, в биографических исследованиях его жизни и творчества и «создание беспрецедентных штудий позволяют по праву рассматривать учение о русском лирике в Германии в качестве самостоятельной ветви мирового есениноведения» (с. 217). Справедливо признать, что появление работ по рецептивным практикам других иноязычных культур, позволяющих сравнить характер и формы восприятия творчества Есенина в разных странах, также актуально и востребовано временем.

Литература

1. *Осинский Н.* Литературные заметки // Правда. 1925. 28 июля.
2. *Hartmann W.* Die jüngste russische Revolutionsdichtung // Der neue Merkur. 1920. № 2/3. S. 110–119.
3. *Шубникова-Гусева Н.И.* «Объединяет звуком русской песни...»: Есенин и мировая литература. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 471–474.
4. *Славянская филология. Творчество С.А. Есенина. Традиции и новаторство.* Т. 550. Рига: Латв. ун-т, 1990.

Н.И. Шубникова-Гусева

BOOK REVIEW: HILO, E.S. & NIKONOVA, N.E. (2015) *VOSPRIYATIE POEZII S.A. ESENIINA V GERMANII (1920–2010 GG.): PEREVODY, IZDANIYA, KRITIKA, LITERATUROVEDENIE* [THE PERCEPTION OF S.A. YESENIN'S POETRY IN GERMANY (1920s–2010s): TRANSLATIONS, EDITIONS, CRITICISM, LITERATURE STUDIES]

Tomsk State University Journal of Philology, 2016, 1(39), pp. 172–176.

DOI: 10.17223/19986645/39/15

Shubnikova-Guseva Natalia I., Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: shubnikova-gus@mail.ru

References

1. Osinskiy, N. (1925) Literaturnye zametki [Literary Notes]. *Pravda*. 28 July.
2. Nartmann, W. (1920) Die jüngste russische Revolutionsdichtung. *Der neue Merkur*. 2/3 . pp. 110–119.
3. Shubnikova-Guseva, N.I. (2012) “*Ob*”edinyayet zvukom russkoy pesni...”: *Esenin i mirovaya literatura* [“Combines the sound of Russian songs . . .”: Yesenin and world literature]. Moscow: Russian Academy of Sciences Institute of World Literature.
4. Ivlev, D.D. (ed.) (1990) *Slavyanskaya filologiya. Tvorchestvo S.A. Esenina. Traditsii i novatorstvo* [Slavic Philology. Works of S.A. Yesenin. Tradition and innovation]. Vol. 550. Riga: University of Latvia.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЩЕУЛОВА Ирина Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры журналистики и русской литературы XX века Кемеровского государственного университета.
E-mail: asheulova@mail.ru

ГОНЧАРОВА Наталия Владимировна – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы, гл. библиотекарь отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета.
E-mail: Nauchka@mail.ru

ДАВАА Ундармаа – аспирант кафедры русского языка и литературы Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина (г. Бийск).
E-mail: undaraa_0720@yahoo.com

ЕФАНОВА Лариса Георгиевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.
E-mail: efanova@sibmail.com

ЖИЛЯКОВА Эмма Михайловна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: emmaluk@yandex.ru

КОГУТ Светлана Валерьевна – аспирант кафедры русского языка и литературы Томского политехнического университета.
E-mail: kogut.sv@mail.ru

ЛЕБЕДЕВА Наталья Борисовна – д-р филол. наук, профессор кафедры стилистики и риторики Кемеровского государственного университета.
E-mail: nlebedevab@yandex.ru

ЛУТФУЛЛИНА Гюльнара Фирдависовна – д-р филол. наук, профессор кафедры иностранных языков Казанского государственного энергетического университета.
E-mail: gflutfullina@mail.ru

НОВИКОВА Вера Павловна – канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка и методики обучения английскому языку Челябинского государственного педагогического университета.
E-mail: veranovik@mail.ru

ПАСЬКО Юлия Валерьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры немецкого языка Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).
E-mail: juliapasko@inbox.ru

ПРОКОПОВА Наталья Леонидовна – канд. искусствоведения, д-р культурологии, профессор кафедры культуры и искусства речи, зав. лабораторией теоретических и методологических проблем искусствоведения Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
E-mail: n_prokopova@kemnet.ru

РАБЕНКО Татьяна Геннадьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры стилистики и риторики Кемеровского государственного университета.
E-mail: tat.rabenko@yandex.ru

РЕЗАНОВА Зоя Ивановна – д-р филол. наук, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета; профессор кафедры русского языка и литературы Томского политехнического университета.
E-mail: resso@rambler.ru / resso@mail.tsu.ru

СТРИНЮК Светлана Александровна – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
E-mail: strinuk@mail.ru

ТУРЫШЕВА Ольга Наумовна – д-р филол. наук, профессор кафедры зарубежной литературы Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
E-mail: oltur3@yandex.ru

ХОВАНСКАЯ Екатерина Сергеевна – канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка в социогуманитарной сфере Казанского (Приволжского) федерального университета.
E-mail: katja.khovanskaya@gmail.com

ШКУРОПАЦКАЯ Марина Геннадьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и литературы Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина (г. Бийск).
E-mail: marina-shkuropac@mail.ru

ШУБНИКОВА-ГУСЕВА Наталья Игорьевна – д-р филол. наук, гл. науч. сотр. отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (г. Москва).
E-mail: shubnikova-gus@mail.ru

ЯНУШКЕВИЧ Александр Сергеевич – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: asyanush50@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами переписку по методике написания и оформления научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2016. № 1(39)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Каптур*
Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 24.02. 2016 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.

Печ. л. 11,5; усл. печ. л. 16,1; уч.-изд. л. 15,9.

Тираж 500 экз. Заказ 1573

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru